ВАСИЛЬ МАХНО

КУРЫ НЕ ЛЕТАЮТ

FOLIO

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Василь Махно (род. в 1964 г. в Чорткове на Тернопольщине) – поэт, прозаик, эссеист и переводчик. Его произведения переведены на многие языки. Лауреат нескольких литературных наград, в том числе Фонда Коваливых (2009), Международной поэтической премии «Повеље Мораве» (Сербия, 2013), «Книга года BBC» (2015). С 2000 г. живет в Нью-Йорке и путешествует по всему миру, посещая литературные фестивали. Впечатления от разных стран, встреч с интересными людьми, воспоминания о жизни в Украине в советское и постсоветское время легли в основу новой книги прозы Василя Махно «Куры не летают», написанной на стыке эссеистики и беллетристики. Индия и Австрия, Колумбия и Ирландия, Америка и Украина – разные культуры, религии, ментальности… Но несмотря на то, что автор уже давно живет в Америке, он не забывает о своих корнях, о том, что он украинец. Это проявляется в его любви к природе, в масштабном видении мира, уважительном отношении к другим культурам и народам. Прекрасная лирическая проза, от которой невозможно оторваться…

- Василь Махно
  - ○
  - ○ I
    - ■ Куры не летают
    - ■ Чортков
    - ■ Футбол на пустыре
    - ■ Вруби свою музыку громче,
    - ■ «Vis-À-vis». Rynek GłÓwny, 29
    - ■ Lost in America: история Юджина
    - ■ Боксер
  - ○ II
    - ■ Зеленые собачьи дни
    - ■ Голова слона
    - ■ Если ты не любишь Луи Армстронга?
    - ■ Колесо обозрения
    - ■ Колумбийская зима
    - ■ Сверчки и горлицы
  - ○ III
    - ■ Француз из Чорткова
    - ■ Паунд & Лорка: поэт в пейзаже
    - ■ Венецианский лев
    - ■ Свадебная капуста

- IV
  - Письма и воздух
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

Василь Махно
Куры не летают

© В. И. Махно, 2016
© Н. Ю. Бельченко, Э. А. Хвиловский, А. С. Юхно, перевод на русский язык, 2016
© Л. П. Вировец, художественное оформление, 2016

* * *

I

Куры не летают

Было время, когда базарские холмы казались самыми высокими и самыми зелеными. А Джуринку я носил за пазухой, как найденные в траве перепелиные яйца. И дожди приходили к нам, как на Покрова гости. И снега паслись на берегах Джуринки.

Было время, когда заячья губа Горб-долины, чуткое ухо Той Горы и плавник Заводы вместе с перезвонами ведер о колодезные камни, предвечерним ревом коров с ноздрями, облепленными травой, плотным воздухом, который пах коровьим молоком, – протекали сквозь меня, словно весенняя вода Джуринки сквозь снежные запруды по весне. Я ничего еще не понимал, потому что верил пророчествам деда, будто когда-нибудь мы станем курами, муравьями и рыбами, и наша память будет легка, словно воздух родного дома.

Будет время, когда наши куры станут нести белые яйца жизни и смерти – на рождественскую, расстеленную на полу солому; для наших прозрачных слов.

Нью-Йорк

В марте 2013 года я пытался связаться с незнакомым мне Тони Созанским, который живет на 39-й улице в Манхэттене. По моему предположению, он должен был иметь отношение к Фердинанду Респалдизе, полковнику кавалерии, последнему помещику села Базар.

Нью-Йорк отбивался от весенних ветров, а Тони отбивался от меня. Я всего лишь записал на автоответчик просьбу, чтобы Тони мне ответил. Прошла неделя, и мы с Тони уже разговаривали о семействе Респалдиз, о его отце Эндрю Созанском, проживающем в Оттаве, чей телефон Тони продиктовал мне в конце нашего разговора. Когда очередной дождь заливал улицы Нью-Йорка, я зашел в кафе *Think Coffee* на Четвертой авеню, заказал черный английский чай, отыскал свободное место и, вынув свой лэптоп, начал записывать все известные мне на тот момент подробности.

Все началось с важного для любого европейского закутка 1939 года – времени, когда Респалдиз вышвырнули из их фольварка: парализованного полковника и готовую принять любые вызовы судьбы его супругу Матильду, чьи предки владели базарскими угодьями издавна. Это странное экзотическое слово «Респалдиза» я слышал с раннего детства от прадеда Михаила Кардинала, который не дотянул каких-то полтора года до сотни

своих сморщенных, как кожа, лет. Он всегда возвращался на фольварк, к коням помещика Респалдизы и к самому помещику Респалдизе, с которым, служа тридцать лет старшим конюхом, сошелся, как могут сойтись хозяин и слуга, шляхтич и крестьянин, с соблюдением соответствующего расстояния и этикета.

Городок или местность Респалдиза находится неподалеку от Бильбао. Слово испанское, что свидетельствует об испанских корнях самого Фердинанда. На том базарском пространстве уничтоженный фольварк, как оказалось, не исчез из памяти. К нему возвращались, когда вспоминали о Польше, о 1939 годе, о Мошке Ашкенази, управляющем фольварка. Даже когда на месте уничтоженного барского дома и всех хозяйственных построек поставили колхозные курятники, которые потом тоже пришли в упадок, а фольварк сравнялся с землей. Мне рассказывали, что возле этих курятников находили толстое цветное стекло, – похоже, что это было запаянное в металлические узоры стекло господских витражей. Что-то все же остается, не только слова и память – нечто уходит глубоко в землю. Респалдизу похоронили на местном кладбище возле часовни помещиков Волянских. После войны, в 1946-м, кажется, году, разрушат также и часовню. Вход в нее будет завален. А через некоторое время истлеет деревянный крест на могиле Фердинанда Респалдизы, холмик зарастет, сровняется, и все поглотит земля.

Приблизительно через неделю Эндрю Созанский из Оттавы, Анджей, внук Фердинанда Респалдизы, позвонил мне в Нью-Йорк, когда меня не было дома. А еще через два дня я разговаривал с ним, выясняя мелкие детали его родословной, о его деде, о маме Бланке Респалдизе, объясняя ему, кто я и откуда и почему меня интересует Фердинанд Респалдиза. Я не уверен, что убедил Эндрю, которому сейчас 80 лет. Эндрю не помнил ни одного своего приезда в Базар, но сказал, что у него есть какие-то фотографии фольварка и он даже сам составил свое родовое древо. И обещал, что пришлет мне все это на электронную почту.

Базар. Возвращение

В сентябре 2012 года на «шевроле» брата мы ехали к Базару через Язловец, через городок на семи холмах, похожий на подсвечник. Его склоны с лощинами, с паутиной улиц, с башнями и церквями удерживали когда-то границу между Османской империей и Польским королевством. А при выезде на трассу Бучач – Залещики нас сопровождали полки желтой кукурузы,

заросли посадки и стаи псов, возникавших из зеленых еще кустов и разнотравья.

К Базару мы подъехали со стороны Буряковки, огибая кучи мусора, которые жители села свозят годами, и выродившийся из-за недосмотра сад. А дорожный знак «Базар» обозначал первый рубеж, за которым лишь память могла справиться со словами. Когда «шевроле» поравнялся с зелеными воротами, за которыми двор, где никто не ходит, и хата, в которой никто не живет, мама, приехавшая также с нами, долго открывала ворота, потому что за время ее отсутствия, как это бывает, заржавел замок; тогда замок рванул я, потом еще долго возились с дверным замком, словно дом на нас обиделся и не хотел впускать. В хате напротив кафельной печи – стол, застеленный клеенкой, видно, что мама заменила ее, потому что старая клеенка всегда была с порезами, с бурыми кружочками от горячих кружек, пятнами. Теперь чисто, на подоконниках – цветы в обернутых фольгой горшочках, их так любила бабушка. Как им перезимовать тут одним? Тот же бамбетль[1], расписанный всегда ярко-красной краской, покупаемой в *железной лавке*. Если была хорошая погода, бамбетль выносили во двор, и он сох себе под солнцем. Буфет, сделанный старым Шабатом, с прилаженными косо-криво дверцами, их всегда было неудобно закрывать. Под зеркалом – небольшой, вышитый толстыми цветными нитками, когда-то купленными у Параски Крилевой, которая получала посылки из Америки, – карман для расчесок, а иголки с нитками были воткнуты в вышивку.

Некоторые из этих предметов, нашедших для себя в моей памяти некий удобный закуток, да еще фотоснимок деда, домотканое полотно – эти предметы, от которых не избавились, знакомы мне с детства. Яблони засохли, сливы перевелись вместе с кустами малины и красной смородины, камни на старом погребе поглотило молчание. Зачем-то стоит еще во дворе штабель кирпича, хрупкий и поросший зеленым лишаем, так, словно кто-то станет из него что-нибудь строить. Нет тех хозяев, которые покупали кирпич, и нет тех каменщиков, которые должны были из него что-то возводить.

В мае 2010 года из этой хаты и с этого двора повезли на кладбище 87-летнюю бабушку Анну, и все права на хату, подворье, огород, на эти камни и кирпич с лишаем – перешли к моей маме. Когда жила тут бабушка, цвел по окрестностям табак, рос чеснок и лук, червивые яблоки догнивали в картофельной ботве, а спелые сливы дышали золотым ароматом меда. Джуринка звенела – и рыба, ударяясь плавниками о ее берега, перелетала волны, словно осенние куры проселочную дорогу. И

двор знал, зачем он держит на себе кирпич, и кирпич знал, для чего он предназначен, и картошка знала, когда ей цвести, и табак знал, когда его будут ломать, и хата знала, когда ее станут белить, и железо на крыше знало, когда его начнут красить, и камни знали, когда их будут собирать. И я знал, где и кто меня ждет, потому что не знал еще Нью-Йорка, а Нью-Йорк не знал меня – и как-то мы друг без друга обходились. На огородах люди копали картошку, а из школы возвращались ученики – не много, каких-нибудь четверо ребят в спортивных костюмах.

Почему я так давно не был тут, что даже Джуринка изменила цвет своей воды и глаза мои постарели?

Базар. История

Теперь, когда я перечитал газеты, выходившие во Львове и Тернополе во времена Австрии и Польши, разнообразные свидетельства украинцев, поляков, евреев и турок, просмотрел сотни фотоснимков, кадры хроники разных лет в Ютубе, пришло мне в голову, что история села Базар может быть написана в четырех книгах, словно это четыре времени года – весна, лето, осень и зима, словно четыре Евангелия, в которых сакральность и быт, божественное и человеческое переплетены, прочно связаны. Каждый из выбранных мной повествователей рассказал бы свою историю, по-своему бы определил принадлежность базарских холмов к истории, своим языком выразил бы печали и сетования. Они стояли бы на разных концах села – Павшовском, Криволуцком, Язловецком и Буряковском, – я хотел бы, чтобы они сошлись и услышали друг друга.

Для меня особенно интересной страницей базарского бытования, его своеобразной исторической метафизикой было открытие в столь неровной истории Базара – османского периода, который зафиксирован единственным упоминанием сел и местечек Подолья в турецкой переписи, проведенной для нужд турецкой администрации, находившейся в Каменце-Подольском.

Согласно Бучацкому мирному договору 1672 года, Османская империя в 1672–1683 годах имела в Язловце границу с поляками, и почти одиннадцать лет урядники Мехмеда IV собирали дань, руководствуясь этой подробной переписью имущества и населения, а по базарским холмам гарцевали хорошо вооруженные янычары, оставляя навечно в местном генотипе косой разрез глаз и табачный оттенок кожи. Почему-то в Базаре находилась турецкая таможня и торговые ряды, и это селение называли по-разному: то Митница, то Базар. В составе Османской

империи Базар относился к Чортковской нахии Каменецкого эйлета Подольского пашалыка.

В Базаре жили украинцы, поляки, евреи. Армяне заходили из Язловца – они принадлежали к армянской общине, которая еще со Средних веков поселилась на язловецких холмах. Галицкие евреи держали в Базаре корчмы, арендовали сад и занимались торговлей – они тоже появились тут с распространением Польского королевства на Подолье, а украинцы, частично смешавшись с турками, оставались большинством, всегда обитая на околицах великих империй. После Карловицкого конгресса 1699 года – Базар снова под польской короной. А ликвидация Польши в 1795-м прикрепила Базар к Австрийской империи, хотя некоторое время Восточная Галичина принадлежала также и России. Во времена Австрии – это окраина восточных рубежей, при Польше – тоже окраина.

В «Географическом словаре Польского Королевства и других славянских стран», изданном в Варшаве в 1880 году, опубликована статья о Базаре, в которой сказано, что село расположено за милю от местечка Язловец над рекой Джурин. Всего жителей 875, из них греко-католиков 745, римо-католиков 94, армян 15, израэлитов 21. Земли пахотной 1719, лугов 124, пастбищ 19. Земля плодородная, выращиваются все сорта зерновых, а также табак и кукуруза.

Из всех окрестных сел земли в Базаре наиболее жирные и плодородные, а возвышенности и ложбины равномерно сочетаются между собой, и только восточная часть, где находился помещичий верхний фольварк, возвышается над селом, которое расползлось на четыре стороны и проросло домами также и вдоль Джуринки.

История тут уходила глубоко в землю, становясь то Валахским Гостинцем, то Могилками, то Красной Керницей, то Ставищем. История пронизывала базарское пространство изо всех столетий, со всех возможных концов света и изо всех империй.

Галичина пережила саму себя.

Кардиналы

Михаил Кардинал пришел в Базар из Антоновцев, за ним пришли еще шесть Кардиналов и все женились на местных татарках. Да, эти крестьяне с фамилией из наивысшей церковной иерархии стали базарскими и разделили с местечком все – и его воздух, и его землю.

В 1945 году приехали переселенцы, среди прочих – Юрий

Махно. Они тоже стали воздухом и землей Базара.

История снова переплелась и снова запуталась.

Фердинанд Респалдиза укоренился в кардинальской ветви, поскольку Михаил Кардинал, мой прадед, дважды женатый и отец четверых детей, служил на верхнем фольварке старшим конюхом.

Старший сын моего прадеда – Николай – всегда сопровождал Фердинандову дочку, когда она ездила верхом на коне, а младшая сестра деда, Мария, приходила со своим отцом поиграть. Мой дед Василий запомнил Фердинанда Респалдизу на всю жизнь, после того как пан поймал его в своем саду и сказал об этом моему прадеду. Конечно, Фердинанд не знал, как Михаил вечером вожжами от конской упряжи разъяснил своему сыну Василию, что к чему. В 1939 году старший дедов брат Николай, служивший в Войске Польском в уланах, должен был вернуться домой, а мой дед осенью того же года должен был пойти на военную службу. Но не сложилось. Николай придет домой только в 1947 году, попав в лагерь интернированных военных, а потом освободители переоденут его в советскую военную форму и повезут поездом на Дальний Восток воевать с японцами. Но пока рядовой Николай Кардинал ехал на войну, Япония капитулировала. Однако он еще два года служил в Дальневосточном военном округе.

В 1944 году Василия Кардинала, моего деда, разлучат с его молодой женой и только что родившейся дочерью; завершающаяся война еще нуждалась в нем, но он не стал землей войны. Он вернулся.

Ужи, куры и муравьи

Когда по Джуринке плыли ужи – наступало лето, а я подсматривал за нашими курами, они неслись в кустах; туда можно было пролезть, раздвинув руками колючие стебли малины или шершавые листья смородины, которые прикрывали от меня места, облюбованные нашими безмозглыми курами. Как только из курицы выкатывалось белое яйцо, я просовывал руку под куст и, нащупав его, теплое и перемазанное глиной, с прилипшими к скорлупе перьями, – торжественно нес в дом. Куриные яйца складывались в черную, с высокими стенами жестянку, в которой раз в год выпекали калачи на Пасху и раз в год – калачи на Покрова. Иногда в ней ранней весной теснились только что вылупившиеся цыплята, а в другое время хранили сахар или муку. Свежие яйца бабушка жарила каждое утро с зеленым луком, а более давние носила в лавку, покупая хлеб или спички. Самые

крупные откладывала отдельно – на них подсаживала квочку. Наши куры неслись в хлеву, но были и такие, что кудахтали по кустам, а куницы, которые иногда душили и таскали наших кур, лакомились также и найденными по кустам яйцами.

В малиннике, разросшемся среди крыжовника и смородины, прятались не только куры – прятался также и я, рассматривая муравьев, облюбовавших влажный чернозем. Муравьи постоянно что-то таскали в свой дом, то проваливаясь в потрескавшуюся землю, то снова возникая на поверхности. Я приносил им в карманах сахар и подглядывал в щели земли за хаотичной жизнью муравьиного царства, представляя себя таким же муравьем, который вместе со всеми отыскивает путь под землей к своему дому. Дед говорил, что муравьи кусаются и что выносить им сахар нельзя, ведь их может набежать полный дом, и тогда они нас заберут к себе: просто вынесут ночью, и мы не сможем открыть глаза. А еще дед говорил, что над Джуринкой видел перепелок и что ужи пьют их яйца в гнездах. «Лето, – говорил дед, – ведь ужи уже пьют перепелиные яйца».

Табак

Мы жили с тяжелым табачным привкусом в воздухе, мы жили в жестких стеблях табака, широких лопоухих зеленых листьях с прожилками, похожими на коровьи, в их липкой смоле, которая, казалось, плыла, растворившись в Джуринке, – ее вода становилась то зеленой, то – на следующий день – бурой, или вмиг – желтой, словно заправленной желтками перепелиных яиц. Табак достигал зрелости летом, а весной его рассаду разбирали из больших деревянных контейнеров, и ее количество старательно записывал колхозный учетчик. Потом под весенними дождями рассаду высаживали ровными рядами, – и зеленый хилый табачок врастал своими, еще довольно слабыми корешками в землю. Летом, когда листья и стебли табака входили в силу, поля после цветения пахли липкой смолой своей зеленой крови, а мы все пахли табачным цветом, от которого щекотало в носу. Сначала обрывали самые крупные листья, оставляя меньшим время для роста, стебли оголялись, цветки осыпались. От листьев табака руки чернели, под ногтями запекался липкий чернеющий сок. Все, кто обрывал табак, вдыхали пьянящий до одури запах, а черноту своих рук отмыть потом никак не удавалось. Листья складывали на рядно, аккуратно сортируя более-менее по размеру, а привезя домой – сушили на солнце, обвешивая хату веревками; стены хат на какое-то время

становились похожими на зеленые воды Джуринки. На алюминиевую *еглицу* – большую иголку – нанизывали, подгоняя, листок к листку на обычном сером шнуре, потом развешивали вокруг хаты, а на солнце зеленые листья табака покрывались желтыми пятнами. Потом низки листьев, вялых и сморщенных, как рубли в кармане, выносили на чердак хаты или хлева. Там, спрятанные от дождя, низки листьев сохли и превращались в хрупкий коричневый, сморщенный от сухого воздуха табак. На чердаке низки, прикрепленные от стропила к стропилу, провисали над головами. Табак крошился, и пыль, постоянно висевшая в воздухе, пахла уже настоящим табаком. Потом низки осторожно сжимали, расстилали на рогожах во дворе, снимали каждый листок, распрямляли ладонями и складывали в пачку. Лист уже был сухой и мог рассыпаться в руках, и это делалось с максимальной осторожностью. Высушенный табак надо было также отсортировать: большие коричневые листья попадали в высшую категорию (за них платили больше), меньшие – соответственно к меньшим. Рассортированный табак ранней осенью отвозили в заготовительную контору, где, как всегда, было шумно. Люди пререкались с заготовителем из-за качества привезенного табака, а заготовитель взвешивал набитые спрессованным листом мешки из рогожи, что-то записывал в свою тетрадь химическим карандашом, который всякий раз слюнявил. От этого губы и кончик языка у него синели. А в помещении, где сдавали табак, висела коричнево-золотая пыль. Запах табака, сперва свежего, потом привяло-зеленого и, наконец, крошащегося и острого, – проникал из весны в лето, потом в осень, и я вырастал с этим запахом. И бабушка Анна постоянно пахла табаком, и от ее рук, которые она парила в горячей воде, отходили коричневые нити, но руки никогда не удавалось отмыть добела. После того как наш табак уезжал в кузове грузовика на табачную фабрику, заготовитель выдавал нам квитанцию, выписанную намусоленным карандашом, в которой было сказано, сколько килограммов мы сдали и какого качества. Деньги выплачивались лишь в середине декабря, ближе к Рождеству. На эти табачные деньги покупалось что-нибудь на Рождество, остальное клали на сберкнижку. За зиму руки белели, и примерно с марта бабушка Анна уже снова хлопотала над рассадой, складывала мешковину и веревки, прикидывая, что еще следовало докупить. Не потому ли она сама походила на высушенный лист табака, хрупкий и коричневый, из которого выветрилась вся жизнь?

Война

В Базаре в конце 60-х еще жили люди, которые помнили войны. Одни помнили Первую мировую, другие – Вторую. Ковалиха помнила обе. В Первую мировую Ковалихе было четырнадцать лет, а во Вторую – сорок. А я помню Ковалиху и помню ее войны по ее рассказам. Старейшая цепкая память Ковалихи направляла нить ее воспоминаний, ее кузница выдыхала черный воздух наружу. Но когда навесят на входные двери замок – этот черный воздух выветрится и Ковалихина память станет моей.

В 1968 году колонны советских войск направлялись через Базар к западной границе. Возможно, колонны специально пускали по сельским дорогам, чтобы не привлекать внимания. Свежеокрашенные зеленые машины тянули зачехленные орудия. А в кабине рядом с водителем, как правило, сидел офицер в полевой форме. Ковалиха с высоты своего холма увидела: дело идет к войне. Наш Федя служил на Урале. Я подумал, что когда у нас на холме начнется война – Федя на Урале все равно будет знать, что у нас и как. Ковалиха сказала, что точно так же направлялась артиллерия по тракту перед войной за Австрию. Бабушка всполошилась, что надо загнать кур, ведь неизвестно, сколько войска будет ехать по шляху, и военные машины с орудиями раздавят всю птицу. Потом мы ужинали при зажженной коптилке, фитиль еле торчал на полсантиметра. На всю хату едко пахло керосином, а из печки, сквозь щель чугунной дверцы, скакал по стенам отсвет пламени. Бабушка Анна молилась о здравии, поминая всех живущих, выглядывая сквозь оконные занавески, кто из соседей еще не спит.

С утра бабушка Анна, будя меня, рассказывала, что армия целую ночь грохотала по тракту, а еще Ковалихина корова должна отелиться, но теленок никак не идет, поэтому уже с утра ветврач и мужики хлопочут в сарае. И если я быстро умоюсь и позавтракаю, то еще смогу увидеть, как вынимают теленка из нутра Ковалихиной коровы. Я очень хотел еще накануне подкормить сахаром муравьев, но отел Ковалихиной коровы пропустить никак не мог. А еще, сказала бабушка, она должна идти к Мельничке забрать для деда двух голубей (им уже две недели), пока не началась война. Старый Мельник играл на свадьбах на бубне, а два его сына служили в армии, как и наш Федя. У Мельников была голубятня – одна или две пары. Как только очередному голубиному приплоду исполнялось несколько недель, Мельничка звала бабушку к себе. Приставив лестницу к голубятне, вынимала из гнезда двух молоденьких голубей, которые еще не летали, и передавала их бабушке. Та клала в подол и несла домой. При мне шеи молодым голубям никогда не

сворачивали. Поскольку однажды я увидел, как бабушка, сцеживая голубиную кровь, ломала птицам, как стебли, шеи, а они корчились в конвульсиях в полированной белой миске. Меня потом долго рвало у куста смородины.

Когда дед кашлял, его лицо становилось чернильного цвета. Откашлявшись, он сплевывал в ведро с опилками и перемешивал все кухонной лопаткой. Кто-то посоветовал ему пить бульон из молоденьких голубей – вот почему бабушка носила голубей от Мельнички. И я пошел к Ковалихе. Бабушка называла Ковалиху «нанашка»[2]. Ковалихины глаза с полуопущенными веками прикрывались пленкой, словно у чубатой курицы, которую в прошлом году сбила на дороге машина. Ковалиха никогда не снимала вышитой сорочки и *кабата*[3], что купила перед своим замужеством в Чорткове еще при Австрии.

Именно в этот день дед должен был ехать за изразцами для печи, а Ковалихина корова, в пене и без сил, лежала возле кузницы. Ковалиха с Марией держали ее за голову, в то время как ветеринар уже распутывал от веревок тонкие ножки теленка, который порывался встать.

В то утро, когда родился Ковалихин теленок, дед все-таки поехал бортовой машиной за изразцами. Старую печь выложил вскоре после моего рождения печник, которого привез дед. Она была постоянным предметом распрей между дедом и бабушкой. «Партач», – говорила бабушка, и ее татарский профиль рассекал ятаганом пар и дым, что валили из всех трещин и дыр покрашенной зеленоватой краской с синими колокольчиками печи. Поэтому когда Ковалихина корова и Мельниковы голуби стали для нас с бабушкой главным событием, дед ехал на Буковину в село, где делали изразцы.

«Хлебовоз, по графику, приедет с полудня, – прикидывал я. – Это если в Павшовке водитель не будет пить пиво или по дороге ничего не сломается». Очередь из стариков и подростков могла простоять хоть до вечера, но без хлеба никто домой не возвращался. Бабушка Анна, собираясь в поле на Рудку, оставила 54 копейки на столешнице с порезанной там и сям клеенкой, сказала: купи два черных хлеба и один белый. Мы вместе вышли из хаты, и я побежал, зажимая в кулаке мелочь.

Два черных хлеба и один белый

В одном месте Джуринка была перегорожена дамбой, и там мы завсегда купались. Берега речки зеленели травой, зарослями будяков и полыни; там попискивали полевые мыши, а тучищи

насекомых, летая над речкой, дырявили воздух. Выше, в направлении Павшовки, скалила свои розовые десны заброшенная каменоломня, а на полевой дороге в сторону Травны грузовики поднимали облако пыли, которая медленно оседала серым маревом. Помятуя о хлебе, я разделся до трусов и майки, зажимая в кулаке копейки. Оставлять деньги на берегу в траве было небезопасно, и я решил купаться с ними. На прибрежных камышах сидели, раскачиваясь, полевые жаворонки, несколько аистов ходило вдоль берега, выискивая лягушек, а зеленая вода Джуринки, нагревшись, пахла коровьим молоком. Нас было трое (никто из нас не умел плавать), мы держались за кусты, молотя что было силы ногами и рассекая воду сложенными, как плавники, тоненькими ладонями. Мы представляли себя рыбами, Джуринка текла себе вдоль дороги. Я забыл о хлебе, о деньгах в кулаке, как и про обещание бабушке Анне не ходить купаться на речку. Я знал, что хлебовоз будет ехать по трассе, я его точно увижу и тогда, выкрутив наспех майку и трусы, побегу за ним покупать два черных хлеба и один белый. Хлебовоза не было видно – и мы лежали себе в траве и смотрели в небо, по которому плыли перины летних облаков; порой куриное перо дырявого облачка останавливалось на миг над нами, заслоняя солнце, и тотчас гусиной кожей покрывались наши тела, а из носа текла струйка зеленой воды. Я все время держал кулак сжатым, будучи уверен, что копейки у меня надежно спрятаны. И только раскрыв ладонь, увидел грязную ленточку, как воспоминание, оставленное унесенными Джуринкой копейками, которые, возможно, проглотила рыба. Мне хотелось плакать, ведь хлебовоз уже мчал к селу, минуя кирпичный завод и меня с Джуринкой. Я видел, как машина, преодолев бугор, повезла и два моих черных хлеба и один белый, которые теперь я не мог купить. Самое скверное, что бабушка Анна узнает, что я купался и посеял деньги, а к ужину, когда дед вернется с буковинскими изразцами и вместе с шофером станет запивать магарыч, в доме не окажется ни крошки хлеба! И в этом виноват я.

На взгорке я увидел старую Ковалиху, она смотрела на наш двор – значит, изразцы привезли. Я спрятался за сложенные и накрытые от дождя мешковиной изразцы. Терпеливо ждал, пока кто-нибудь выйдет из хаты. Но никто не выходил. Тогда, набравшись смелости, я зашел в хату. Дед, бабушка и шофер о чем-то разговаривали. Шофер намазывал смалец на черный ржаной ломоть, а бабушка, развеселившаяся от привезенных изразцов и самогона, даже не заикнулась о хлебе и деньгах. Она, накладывая мне в миску жареной картошки, рассказывала, что наши куры, возвращаясь через Ковалихину канаву домой,

перелетали дорогу. Ни дед, ни шофер не знали этой приметы…

Фердинанд Шевалье де Респалдиза

Эндрю Созанский из Оттавы сдержал слово и прислал в желтом конверте воспоминания о своей семье, генеалогическое древо, свидетельство о смерти Матильды Респалдизы, подписанное юристом Чарльзом Бохенским из Кракова, датированное 1948 годом, а также рапорт командования уланского полка, датированный 23 августа 1918 года, – о награждении подполковника Фердинанда Респалдизы, поскольку он как *«глава сельскохозяйственного отдела в тяжелых обстоятельствах проявил неутомимое упорство и чрезвычайную инициативу и благодаря абсолютной преданности своим обязанностям внес огромный вклад в отношении подъема экономической эффективности провинции в интересах государства и удовлетворения военных нужд. Этот необыкновенный офицер достоин наивысшего отличия».* Неизвестно, успел ли на это донесение кто-нибудь отреагировать. В октябре-ноябре 1918 года Австро-Венгрия распалась. Эндрю также прислал с этими бумагами пожелтевшую фотографию, на которой изображен мул, запряженный в тяжелую повозку с огромными металлическими колесами, какое-то здание, обвитое плющом. Мул наполовину закрывает парня в кепке. На обратной стороне фото чьей-то рукой написано *Bazar*.

Как я ни пытался представить Базар начала 20-х или даже Базар 30-х, мне всегда не хватало не просто деталей моего воображения, а некоего визуального компонента, исторически и предметно правдивого, из той эпохи. Пятнадцать фотографий, датированных 1925 годом, которые, отсканировав, переслал мне Эндрю Созанский, просто раскрыли увиденные образы господского поместья, семейства Респалдиз, их пса Сфинкса.

В 20-х годах Фердинанд Респалдиза (во всяком случае, если полагаться на фотографии) выглядел подтянутым, с оливковым взглядом испанских глаз, с усами, как и надлежало кавалеристу. Одет в безукоризненный темный пиджак, в непременных галифе, белая рубашка с бабочкой, с манжетами на запонках. Утонченные манеры, светский кавалер под шестьдесят. На другой фотографии Фердинанд и Матильда сидят в мягких креслах, над ними – картина в позолоченной раме (какой-то парусник). Фердинанд при галстуке, на этот раз на нем – темный костюм в белую полоску, Матильда в шелковом платье, с наброшенным на левое плечо меховым палантином, в левой руке – сигарета. Фердинанд

смотрит мимо фотоаппарата, немного наискосок, а Матильда – прямо, она немного кокетничает с фотографом, как-то по-особому с ним заигрывает. Респалдизы, похоже, собираются в гости или же возвратились откуда-то, возможно, даже из Малых Залещиков, где проживала старшая Матильдина сестра Ева вместе с супругом – графом Фелицианом Мор-Корытовским и сыном Эразмом. Корытовские владели большими поместьями, которые их сын Эразм после смерти своего отца растранжирит во Львове на проституток и развлечения. А после войны будет работать в Британии (как пишет Анджей Созанский – «на телеграфных столбах»).

Полковник польской кавалерии Фердинанд Шевалье де Респалдиза каждый год, как обычно, ранней весной стоял возле самого большого окна своего дома, окруженного парком и садом, и смотрел, как лакей Антох и конюх Михал отстреливают по его приказу ворон. Больше всего не любил Фердинанд в этих краях ворон. Тут, в Восточной Галичине, пронзительные мартовские ветры раскачивали дом и Фердинанда, а слизываемый этими ветрами снег, казалось, примерз навечно к земле. В начале марта вороны справляли свою воронью свадьбу, они мостили гнезда в кронах парковых деревьев, не обращая внимания на Фердинанда в окне и даже на Антоха и Михала с ружьями наизготове. Антох, Фердинандов лакей, ни в какой армии не служил, поэтому ружье держал словно супницу, налегке, но немного опасаясь. Фердинанд, кадровый военный, это видел. Конюх Михал, бывший улан расквартированного в Садгоре восьмого уланского полка, метко сбивал с деревьев птиц, и они падали, кровавя уже подтаявший мартовский снег. Антох вскоре исчез из поля зрения Фердинанда, а Михал все еще собирал убитых ворон и закапывал в примерзшую землю в конце сада.

Фердинанд также видел, как стаи ворон, испуганных выстрелами, перелетали Джуринку и прятались в серых снеговых тучах.

После того как Михал убрал всех мертвых ворон, Фердинанд отошел от окна. Старший конюх возвращался в свои конюшни, где содержались 12 пар чистокровных скакунов. На них Фердинанд с женой выезжали в гости за пределы Базара.

Михал всегда запрягал по две пары: каштановых к каштановым, а вороных – к вороным.

На фотографиях 1925 года Фердинанд – в клетчатых английских галифе, плотно прилегающих к лодыжкам блестящих сапогах, с тростью, при бабочке, в черной фуражке; рядом с ним – Матильда. Оба сидят в плетеных креслах на веранде дома, Матильда – с зонтиком, их гость – прямо на ступеньках.

Деревянная четырехколесная бричка на две персоны, в которую запряжен серый в яблоках жеребец. В бричке устроились две барышни, тоже с зонтиками, одетые так, словно это поздняя осень или ранняя весна. Видно, что Респалдизы и гость о чем-то беседуют с барышнями, в чьих чертах угадываются Бланка Респалдиза, дочь хозяев фольварка, и, возможно, Люля Козебродская. Бричка вот-вот отъедет, и Респалдизы вместе с гостем пойдут обедать.

Респалдизы поженились в 1907 году. Фердинанд, имевший титул маркиза, и Матильда Богуцкая из Больших Черноконцев, за которой он получил в приданое два фольварка в селе Базар Чортковского уезда: Базар-один – верхний фольварк, и Базар-два – нижний. Он поселится в Базаре, а со временем сам ляжет в базарскую землю. Матильда Богуцкая происходила из семьи Владислава Богуцкого, который состоял в браке с Марианной Волянской. У Матильды был брат Александр и две сестры – Ева и Мария. Ева бракосочеталась с Фелицианом, графом Мор-Корытовским, и проживала в усадьбе в Малых Залещиках. Мария же была графиней Козебродской. Александр никогда не состоял в браке. Богуцкие были большими землевладельцами, шляхтой и укоренились в Восточной Галичине издавна.

Фердинанд никогда не был в Испании, в стране, где зимы теплые и мягкие, словно мякоть апельсина, ведь он, сын капитана австрийской армии, пришел в этот мир уже законным гражданином Австро-Венгрии. В списках выпускников Военной академии Марии Терезии в Винер-Нойштадт (Die Theresianische Militar-akademie zu Wiener-Neustadt) указано, что Фердинанд Шевалье де Респалдиза родился 22 июля 1871 года в Линце. В 1888 году завершил обучение в военной школе Millitar Oberrealschullezu Machrisch – Wiesskierche. Военную службу в чине лейтенанта начал в 13-м Богемском драгунском полку принца Евгения Савойского – 18 августа 1891 года.

Кавалерия Австро-Венгрии подразделялась на драгунов, уланов и гусаров. В драгунах служили австрийцы и чехи, в уланах – австрийцы и славяне (в частности, украинцы или поляки), хорваты, словенцы, а в гусарах – исключительно венгры. Эти полки перемещались согласно имперской военной доктрине, а офицеры меняли места своей службы. Наверное, сегодня трудно установить все перемещения Фердинанда Респалдизы. Самые достоверные данные содержатся в архивах австрийской армии и в тогдашней прессе, которая подробно информировала читателей о разных событиях в мире и стране. Газета «Dziennik Polski» за 1904 год печатает списки гостей города Львова (в то время такие списки публиковались в прессе). В декабре того года в числе

прочих именитых гостей города значится и Фердинанд Респалдиза из Жовквы, который остановился в отеле «Жорж». В Жовкве тогда был расквартирован 15-й драгунский полк эрцгерцога Иосифа. Что мог делать в декабре, в предрождественские дни молодой офицер? В конце концов во Львове было чем заняться, там всегда есть чем заняться. А уже в 1905 году в «Gazecie Lwowskiej» был опубликован список офицеров, повышенных в воинских званиях; Фердинанд Респалдиза становится ротмистром кавалерии 1 класса. В этом же номере – большой репортаж о чествовании памяти Фридриха Шиллера. Сообщали, что в Вене шестьдесят тысяч детей отмечали столетие со дня смерти поэта. А еще – подробный репортаж о русско-японской войне, обещание продолжения романа Владислава Реймонта «Крестьяне», реклама от фирмы Norddeutscher Lloyd путешествий в США, Канаду, Бразилию, Австралию, Японию и Китай. Сообщалось, что иностранные газеты «Figaro», «Daily Cronicle», «Frankfurter Zeitung» и «Новое Время» можно заказать в пассаже Гаусмана. Во львовских театрах ставили пьесы Горького и Д'Аннунцио. Газета публиковала курсы валют и ценных бумаг, заметку о вандализме над памятником Адаму Мицкевичу и рекламу домашних клозетов.

Полк Фердинанда стоял в провинциальном Чорткове, в котором время от времени устраивались какие-то развлечения для офицеров; съезжались и местные хозяева фольварков, сходились городские урядники. Польские благородные семейства под австрийской короной не двигались с насиженных галицких мест, поэтому встреча австрийского офицера с польской шляхтянкой – закономерная случайность.

Перед Первой мировой войной, в 1913 году – в той же «Gazecie Lwowskiej» было упомянуто судебное дело Фердинанда и Матильды Респалдиз, которые, как сообщала газета, задолжали банку 4488 крон, а их дело в суде должен был представлять Соломон Виттлин. Такие объявления часто публиковались в тогдашней прессе: о судебной распродаже имущества или о судебных делах, касавшихся разнообразнейших житейских историй и авантюр.

Первая мировая война с 1914 года до 1917-го была расписана в послужном списке Фердинанда примерно так: *«С 1.8.1914 по 24.1.1915 назначен* в *Отдел Военной Комендатуры при Общем Штабе,* а *также (в Отдел) Военной Комендатуры Лемберга,* а *с 25.1.1915 по 16.3.1917* в *Отдел XXV Корпуса при Общем Штабе. С 20.3.1917 при Комендатуре сельскохозяйственных отраслей как глава сельскохозяйственного отдела».* Очевидно, что офицерский опыт при австрийских военных штабах пригодился и для

новоиспеченного государства Второй Речи Посполитой, поскольку с 1918 года подполковник Фердинанд Респалдиза в Организации Команды Рольничей в Восточной Галичине занимался внедрением *«вспашки моторовой»*. Именно перед ним было поставлено задание модернизировать сельское хозяйство в Восточной Галичине, наладить в этом деле отношения с Чехией и Венгрией.

Во время украинско-польской войны полковник Респалдиза подает рапорт (июнь 1919 года) шефу Генерального штаба Войска Польского о том, что на территориях южного Покутья насчитывается около 8000 солдат-украинцев. Естественно, что австрийский офицер, состоящий в браке с польской шляхтянкой, за которой он получил немалое приданое, – на стороне Речи Посполитой и ее политических и военных интересов. В 1919 году подполковник Респалдиза переходит на дипломатическую службу, в процессе восстановления своей государственности новая родина Респалдизы использует весь его военный опыт и назначает сперва военным атташе в Бухаресте, а затем – в Стокгольме. В 20-е годы Фердинанд окончательно оседает в Базаре, занимаясь хозяйством и семейными делами.

В 1939 году Респалдизы никуда не выехали, хотя в газетах, которые они выписывали, было предчувствие войны, но короткой и победоносной для Речи Посполитой. Даже во Львове, где Респалдизы владели виллой, еще в первые сентябрьские дни, когда немцы уже атаковали Гданьск и западные границы Польши, проводились Тарги Всходне. А британский консул с балкона Ратуши уверял львовян в союзнических обязательствах Англии относительно Польши. В Базаре, в поместье Респалдиз, очевидно, доверились провидению, поскольку Матильда, супруга Фердинанда, не могла себе позволить куда-либо отправиться с парализованным семидесятилетним мужем. О причинах Фердинандовой болезни, подкосившей кадрового военного, австрийского драгуна и польского военного атташе, который прошел Первую мировую войну и последующие войны 1919-го и 1920 годов, могли бы сообщить врачи, к которым обращался обреченный на неподвижность Фердинанд, но об этом можно строить лишь догадки.

Под Киевом еще живет родная сестра моего деда – Мария. Я попросил, чтобы записали ее воспоминания о Базаре 30-х годов и Респалдизах. По словам сестры деда (а ей пересказывал Михаил Кардинал, ее отец, мой прадед), однажды на фольварк приехали цыгане. Было их немало. Откуда они приехали и почему именно к Респалдизам – никто не помнит. Цыгане стали табором. На следующий день к Фердинанду пришла старая цыганка, подметая

юбкой дорожку, ведущую к господскому дому, с просьбой, чтобы он одарил их и накормил лошадей. Фердинанд рассердился, бросил в нее тростью и приказал прогнать ее и весь цыганский табор. Цыгане поспешно убрались, а вскоре Фердинанда разбил паралич. Поэтому в 1939 году Фердинанд Респалдиза лишь бессильно наблюдал за всем, что происходило в его фольварке, уже никак не влияя на события.

Бланка

Бланка Респалдиза родилась в Базаре в 1909 году. Ее легкое испанское имя совсем не сочеталось с базарскими холмами и долинами. В этом зеленом воздухе витали Параски, Текли, Анны, Явдохи, Марии, Ядвиги, Хаи – они мирно уживались среди хат, магазинчиков, церкви, читальни, среди господских полей, крестьянских земель, колонии, арендаторов. На верхнем фольварке, в доме с колоннами и большими окнами, украшенном живой изгородью и разноцветьем, проходило детство Бланки. Пышный особняк окружали сосны и фруктовый сад. Дом был одноэтажный, но просторный, в архитектонике его смешались стили греческих храмов. Центральная часть – портик с колоннами: две колонны по углам и две симметрично по центру поддерживали этот массивный портик над тремя парадными дверями. А три пары окон с пилястрами так же симметрично удлиняли дом в обе стороны. Дорожки были выложены плиткой. В доме имелся повар, служанки, в самом фольварке – около 40 работников.

Респалдизы были, кроме того, еще владельцами виллы во Львове на улице 29 Ноября, расположенной в центральной части города. По воспоминаниям дедовой сестры, Бланка была непоседой и часто ездила по базарским окрестностям в своей бричке и даже верхом. Фердинанд просил моего прадеда, чтобы его старший сын Николай сопровождал юную Бланку в этих конных прогулках. На фотографиях за 1925 год Бланка – посреди живой изгороди с бультерьером Сфинксом, который как раз перепрыгивает эту изгородь. Бланка в белом платьице. Лето проступает даже из пожелтевшей фотографии, которая, победив время, побывала во Львове, затем пролежала в семейном альбоме Созанских в Оттаве и теперь в электронном виде хранится в моем компьютере. На другой фотографии Бланка в комнате с Фердинандом и, очевидно, с Людвигой Козебродской – своей двоюродной сестрой – и тем же Сфинксом. Фердинанд – в клетчатых штанах, в клетчатом твидовом пиджаке и при бабочке

(какой-то английский колониальный стиль). Его испанский нос изогнут, как коготь орла (такой же нос у Бланки, менее изогнутый, но видно, что папин). Все трое отражаются в зеркале, что дает возможность увидеть их в профиль, а также вполоборота, и только Сфинкс смотрит прямо в объектив. Имя Бланки я случайно увидел в списке постояльцев виллы «Скаутов» в местности Рабка-Слонне за 1926 год. Записана она как Бланка Респалдиза герба Лозанских. Я искал этих Лозанских, чтобы уяснить, почему Бланка записана именно Лозанской, но эти поиски ни к чему не привели. Просто произошла ошибка – наверняка должно быть «Созанских», поскольку именно Анджей Гелиодор Антоний Созанский из герба Корчак, ротмистр 14-го полка уланов Язловецких, станет в будущем мужем Бланки. С ним она обвенчается во Львове в костеле Иезуитов 3 апреля 1932 года.

В 1933 году у молодой пары родится сын, которого тоже назовут Анджеем. По воспоминаниям сестры деда – Марии, Респалдизы не одобряли выбор своей единственной дочери. Они будто бы подыскали Бланке достойную, на их взгляд, партию – некоего господина Перуцкого. Но из этого ничего не вышло, и Матильда Респалдиза очень разгневалась на Бланку. Анджей Гелиодор Антоний Созанский, кадровый офицер Войска Польского, последний командир своего полка, принимал участие в 1939 году в битве над Бзурой, в обороне Варшавы, а после капитуляции находился в немецком лагере для военнопленных в Мурнау. В 1945 году он оказался в британской зоне, какое-то время жил в Британии, а оттуда выехал в Канаду. По воспоминаниям Анджея Созанского, сына Бланки и Анджея Гелиодора Антония, сразу после его рождения Бланка заболела рассеянным склерозом. Он помнит Бланку в больнице на Лычаковской, куда его приводили увидеться с мамой. Бланка умерла во Львове в 1942 году, в возрасте 33 лет.

Матильда

Матильда Респалдиза (из Богуцких, герб Слеповрон) родилась в 1882 году в Черноконецкой Воле, ее родителями были Владислав Теофил Томаш Богуцкий (из Богут герба Слеповрон) и мать – Марианна Волянская (герба Пшияцул). Матильда умерла в 1946 году в местечке Канчуга. Городок находился недалеко от Ярослава и Ланьцута, совсем недалеко от села Дубно, в котором еще со времен Галиции и Лодомерии проживали Махно.

На одной из фотографий, из серии 1925 года, семейство Респалдиза – за обеденным столом: Фердинанд, какая-то пожилая

дама, Бланка и Матильда, у стола стоит горничная в белом накрахмаленном фартуке и блузке с тарелкой в руке. Рядом с ней парень лет 15 в кителе с золотыми блестящими пуговицами. Похоже, он также прислуживает. Интересна сама комната. Возможно, Респалдизы обедали семьей именно в этой небольшой столовой. Изразцовая печь, буфет, на котором виднеется бутылка дорогого коньяка, стол застелен белой скатертью, сервизные тарелки, приборы. Матильда с рюмочкой водки, посреди стола – высокая бутылка. Непринужденная и простая атмосфера. Рассматривая детали этой фотографии, я вспомнил высказывание Шандора Мараи о том, что *мы думали, будто всего лишь обедаем, а мы проживали историю*. На этой фотографии – настоящая история, и она проступает даже в самой композиции обедающих, кто как сидит и кто где стоит. Никаких случайностей, все места заполнены согласно установленному регламенту: обедающие, – обедают, а те, кто прислуживает, – прислуживают.

Польша в очередной раз распадалась, прекращая свое господство в Восточной Галичине. В Базаре разрушали родовое гнездо и фольварки Респалдиз, бывшие слуги и расквартированные красноармейцы тащили все что могли. Сперва конфисковали чистокровных скакунов для нужд Красной армии. Потом потрошили кур, доили голодных коров, а потом их резали, разводя перед домом костры из срубленных деревьев. По ночам на огне шипело мясо, а красные языки пламени лизали стены и окна дома. Солдаты потрошили шкафы с костюмами Фердинанда и Матильдиными платьями, которые баре заказывали у львовских портных или покупали в пассажах Львова. Кто-то присвоил Фердинандов мундир полковника польской кавалерии: галифе и полковничью куртку с белыми вензелями петлиц. Матильда знала, что ей и Фердинанду необходимо спешно бросить свой дом на разграбление. Поэтому она упаковала лишь самое необходимое из одежды для Фердинанда и для себя, а из драгоценностей оставила при себе лишь обручальные кольца. В последний день своего пребывания в фольварке кто-то из новой власти вытащил патефон, поставил пластинку с вальсами Шопена, и бойцы Красной армии, развлекаясь, пригласили на танец Матильду Борецкую Респалдизу. А в воздухе кружились куриные перья перед парадным входом в дом, их топтали военные ботинки красноармейцев и элегантные туфельки Матильды Борецкой герба Слеповрон.

Что чувствовали Респалдизы, когда смотрели на руины своей жизни? Когда ты не можешь защититься от этого разрушения? Когда в твоем доме все развалено, и даже серебряная кофейная ложечка, привезенная из Вены, торчит из кармана твоего

«кавалера», который неизвестно по какому праву ее присвоил.

Матильда Борецкая происходила по линии своей матери из рода Волянских. Волянские были владельцами села Базар Чортковского уезда с конца XVII века и навсегда остались в Базаре, построив на кладбище часовню для всей семьи.

Где-то вблизи этой часовни зимой 1941 года похоронят и полковника кавалерии Фердинанда Шевалье де Респалдизу. Повезут на крестьянских санях из хаты Ивана Шевчука, в которой Фердинанд проживет последние дни своей земной жизни, а похоронная процессия будет состоять из греко-католического священника Стефана Ницовича, еще из кого-то, кто тогда приехал на этих санях, и Матильды Борецкой Респалдизы. Никаких долженствовавших полковнику Респалдизе воинских почестей не было, похоронную процессию дополняли разве что кладбищенские вороны, которых он так не любил при жизни.

Альбин Шмуэль

В Базаре проживало не так уж много евреев – всего одиннадцать семейств. И количество этих семейств никогда не было раз и навсегда установившимся. Кто-то выезжал из села, а кто-то прибивался к нему. Евреи держали корчмы и магазинчики, выменивали то да се, арендовали сад. Придерживаясь Моисеевого закона, читали Тору, в субботу не работали и, пребывая в меньшинстве, старались с местным людом не конфликтовать. Но особенной приязни между украинцами и евреями не было, хотя и вражды тоже. Несколько раз они покидали Базар. В 1915 году евреи выехали вместе с отступающей австрийской армией, оставив дома и имущество, которое разобрало для своих нужд русское войско. А в 1917 году евреи вернулись и застали развалины. Кто-то подался в ближайшие местечки – Чортков, Бучач или Толстое, а кто-то начал все заново в Базаре. В 1939 году евреи выехали из Базара навсегда (говорили, что в Чортков). Наверное, большинство находилось в чортковском гетто, некоторые были расстреляны в Черном лесу, а оставшихся вывезли в лагерь смерти в Белжец.

В Чорткове Шмуэль Альбин (который родился в Базаре в 1897 году) имел врачебную практику, жил на улице Мицкевича, 28. В телефонной книге Галичины за 1939 год его телефонный номер был 1-56. В 1942 году он погиб в возрасте 45 лет. Вероятно, был расстрелян в Черном лесу, где немцы собрали представителей еврейской общины Чорткова, которые и стали первыми чортковскими жертвами.

В Базаре леса были давно вырублены, остались от них только названия – Дубина, Гай. Вот почему базарские поля и Джуринка не имели защиты ни от ветров, налетавших с востока, ни от снегов, которые засыпали и заметали дороги. Ближайший лес назывался Чигор, туда обитатели Базара ходили, когда начинались первые заморозки, чтобы нарвать подмороженного терна, из которого они делали вино и лекарство для желудка. Дрова покупали у заезжих шоферов, которые иногда шастали своими грузовиками с распиленным на продажу грабом или ехали к Беремьянам рубить лес и таким образом зарабатывали машину-две на зиму.

После армии наш Федя поехал в Пермский край, на Урал, где служил последние полтора года. Примерно в конце октября сформировалась бригада из местных, так как у кого-то была договоренность в одном лесхозе на Урале. И бригада из восьми человек ехала на несколько месяцев с пересадкой в Москве, а там из Перми – до какого-то райцентра. За эти несколько месяцев мужики зарабатывали неплохие деньги и несколько кубов леса. Бабушка подозревала, что Федя на Урале нашел себе какую-нибудь московку, поэтому его так тянет туда. Когда мы спросили Ковалиху, то оказалось, что она ни о каком Урале никогда не слышала. Но причины были не только в том, о чем догадывалась бабушка Анна. Федя был шофером третьего класса, окончил бучацкую шоферскую школу, в армии служил в автомобильном батальоне. А по возвращении работать в колхозе водителем было непросто, машин на всех не хватало, пришлось бы начинать подменным.

Три месяца прошли быстро, а еще через два из Чорткова привезли заработанное Федей дерево – 10 кубов, как говорил дед. Дерево везли из Пермского края долго, поскольку железной дорогой получалось доставить уральский лес только до Джурина (где находилась какая-никакая станция, и несколько товарных вагонов можно было загнать на дополнительную тупиковую ветку). А из Джурина надо было уже самому забирать дерево. А кто мог знать, какие кубы кому принадлежат? Те восьмеро, рубившие зимой 1969 года лес в пермской тайге, решили, что уже на месте разберутся с деревом и решат, кому какое достанется. Колхозные машины, специально заказанные для перевозки, за день доставили крепкие стволы пермской хвои в Базар, и разделена она была на восемь одинаковых штабелей. Бабушка сначала выслала деда, чтобы он посмотрел, справедливо ли поделили. Я вообще крутился возле этой древесины почти все

время, забыв холм, Ковалиху, муравьев и наших кур. Заработанное Федей дерево решено было продать, да и купцы, прослышав о невиданной партии качественного материала, начали едва ли не ежедневно наезжать и приценяться: многие из них строились, а хорошее дерево ценилось. На все время, пока стволы ждали продажи, я стал их сторожем.

На вырученные деньги Федя купил себе два костюма – темный и светлый, несколько лавсановых рубашек, а остальные деньги были положены на сберегательную книжку, – как заметила бабушка, когда-нибудь понадобятся на свадьбу. Со временем Федю назначили шофером старого *газона*[4], который больше ломался, чем ездил. Запчасти к нему невозможно было достать, Федя приходил вечером, весь перемазанный черным солидолом, и руки его пахли бензином. И почти каждое воскресенье он надевал лавсановую рубашку, темный костюм, брился, обливался одеколоном «Русский лес» и вместе со своими друзьями-музыкантами ехал играть на свадьбы. У него был перламутровый немецкий баян в футляре, обитом с внутренней стороны зеленым мягким бархатом. Этот баян был самым лучшим в окрестностях, все баянисты это признавали и неоднократно предлагали неплохие деньги за него. Баян блестел перламутром и непривычно чисто звучал, имел несколько регистров-переключателей, которыми можно было создать разные версии звуковой гаммы. В Федином горле жил теноровый голос, который он полоскал самогоном и сигаретным дымом. (В конце жизни он начнет петь в церковном хоре, даже забросив свой баян, не захочет отступиться от музыки, и она будет пробиваться сквозь громыхание мотора его колхозного грузовика.)

В доме моего деда часто устраивались концерты с дымом и самогоном, особенно я любил, когда Федя с Иваном Березовским, аккордеонистом, немного выпив, вынимали баян и аккордеон и, словно соревнуясь, импровизировали, разрывая своими мехами воздух. Они начинали с известных свадебных мелодий, а потом вытворяли нечто похожее на джаз. Это сочетание баяна с аккордеоном, эти разные тональности звучания наполняли вымазанные известью стены с изразцовой печкой, дверными косяками с занавесками. Все раскачивалось и ходило ходуном, закусывалось квашеными огурцами с медом, луком и молодым чесноком. В такие минуты даже муравьи и куницы не наведывались к нам, а куры сонно склевывали летнюю, переполненную густыми запахами спеющих слив тишину. И даже к Ковалихе долетали эти рваные музыкальные ритмы, тревожа ее старческий и неспокойный сон. Она как-то сказала, что у Кардиналов со двора выливалась музыка, как дождь, что

выстукивал по заржавевшим водостокам ее хаты. И каждое воскресенье у них свое *весéле*.

Федя, кроме шоферской профессии и баяна, по-особенному любил растения и зверей. Когда весной начинали проклевываться из высиженных яиц *цьепета*, он разговаривал с ними, грел своим ртом желтый пух крыльев и целовал их в клювики. Не позволял сажать пса на цепь, поэтому у всех наших шариков были глубокие и добрые глаза. Разговаривал с кролями, ругал старую крольчиху, которая поедала своих новорожденных крольчат. Он любовался цветками картошки, слив, грушек и яблонь, он был знатоком наших муравьев и наших куниц и сам был похож на какой-то тонкий побег, который торчал за рулем грузовика. Он возил с поля пшеницу, играл на свадьбах, пил самогон, курил с утра дешевые и крепкие сигареты, а если их не хватало, то, разминая высушенный табак, делал самокрутки из газеты-районки.

Я помню, как он обгорел, когда в его *газоне* замкнуло проводку, а он, спасая машину, сбросил с себя фуфайку и, стараясь потушить пламя в моторе, обжег руки до самых локтей и лицо. А когда мы его, перебинтованного, увидели в больнице, спрашивал, отделили ли крольчиху от крольчат и есть ли у нее вода, ведь если забыли, то из-за жажды она снова их съест.

Я приехал из Нью-Йорка и застал его в агонии, а через несколько дней он умер. За хатой стоял заброшенный *газон,* доставшийся ему от колхоза, – обложенный кукурузой, а на крыше кабины грелись осенние куры.

Куры уже снесли белые яйца смерти.

С начала сентября дожди не наведывались в Слободку, и на улицах в пыли, как и прежде, валялись псы, пахло сливами и грушами. Облака, словно марля, сквозь которую процеживают коровье молоко, висели над селом, продырявленные ветрами. Федя уже не мог говорить, он поднимал руки, словно хватался за невидимую лестницу своей смерти и все никак не доставал до нее, она еще была высока для него. Когда он меня увидел, в уголках глаз появились слезы, а я держал его высохшую, словно стебель, руку. Возможно, он уже видел ангелов. Когда его похоронили, светило сентябрьское солнце, и кладбищенская дорога, устланная пылью, смягчала ему последний путь.

Базар. Возвращение

Никогда меня так не влекла история села Базар, как осенью 2012 года, когда я с местным священником стоял около часовни Волянских. Священник этот был не здешний уроженец, но

неплохой знаток базарской истории, во всяком случае, об отце Василии Баревиче и скульпторе Сергее Литвиненко слышал и знал. Мы продирались сквозь кладбищенское разнотравье и колючие кусты, полутораметровые стебли крапивы, чтобы, обогнув разрушенную часовню, прочитать надпись на кресте отца Баревича. А про Сергея Литвиненко, изготовившего по заказу базарской общины Архангела Михаила памятник Сечевым стрельцам, который установили в 1935 году, а подорвали сразу после войны, мы поговорили в связи с Нью-Йорком. Литвиненко жил в Нью-Йорке.

От этого памятника осталась часть фигуры архангела и, кажется, крыло. Кто-то все это перепрятывал до нынешних дней. И остатки Литвиненковой скульптуры вмуровали рядом с новым памятником, непритязательным по замыслу и художественному исполнению.

Тогда, в середине сентября, стояла сухая погода, а на разбитых сельских дорогах с ямами, наполненными мягкой пылью, блаженствовали куры. Они загребали крыльями пыль, щедро посыпая себя, может, так избавлялись от всяких насекомых в перьях, а может, просто грелись. Повсюду пахло только что выкопанной картошкой. Куры, всполошившись, убегали с дороги, когда, огибая ямы, ехала какая-нибудь машина, – таки успевали удрать.

Во дворе, ближе к рассохшимся воротам, я заметил, что погреб разваливается, камни расползаются и покосились. Погреб – все, что осталось от старой застройки. Еще лет пятьдесят тому назад этот двор и все на нем выглядело совсем иначе. Погреб строил еще брат бабушки Анны – Василий Погребной. Теперь Василий был этими камнями, возможно, даже камнями моей памяти о нем, 24-летнем, лежащем под Варшавой. А камни, что он укладывал, словно хотели отойти вместе с памятью о нем, оставить это подворье. Но я их удерживаю, я говорю, чтобы они были тут им, Василием Погребным, которого призвали в Кировской области в Красную армию (я даже знаю, когда он погиб, – 14 января 1944 года). Почему-то бумаги, привезенные его однополчанином в Базар, не сохранились. Но сохранился еще этот погреб, который расползается, и постаревшие камни. Значит, Василий с нами. А за тем углом погреба бабушка Анна в последний раз увидела своего младшего брата Федора. Она тысячу раз об этом вспоминала. Погреб и эти камни помнят шестнадцатилетнего Федора Погребного – значит, и Федя с нами. Отсюда ушел на войну мой дед Василий Кардинал, чтобы оказаться в Каттакургане Самаркандской области, там выжил, несмотря на дизентерию, несмотря на особистов, которые

проверяли этих неблагонадежных галичан. Тут, на этом дворе, играли свадьбы моей бабушки, мамы и маминого брата Федора. Отсюда отошли на вечный покой прабабушка Юлия, дед Василий, бабушка Анна.

Каждый базарский двор мог бы рассказать мне что-нибудь о своих хозяевах, но смогу ли я всех запомнить? Я могу написать только о тех, кого любил и кого хорошо знал, кто в этих камнях, кого поглотило их молчание.

Что значит – возвращение?

Какими дворами мы перейдем к разговору о наших холмах?

Почему от этого воздуха перехватывает дыхание?

Шастают ли теперь куницы под засохшей картофельной ботвой? Должно быть, не по нашему двору. Чем им тут поживиться? Наши легкие куры, перезимовавшие на воде и картошке, перелетели дорогу на Ковалихин ров и исчезли среди акаций навсегда.

Я помню сладость тех акаций (примерно в мае они расцветали), а потом эти густые соцветия мы срывали и ели. Высосав сладкий сок из лепестков, выплевывали пережеванный мякиш, смоченный слюной и нашим детским голодом.

Я видел много стран. Я встречал немало людей и знаю, что у них другая история. Я знаю, как муравьи выносят нас, спящих, знаю, почему след куницы устлан окровавленными перьями. Я разговаривал базарским говором, я знаю слова, которые не вошли ни в один из словарей, они – из базарского воздуха над Джуринкой и с базарских холмов. Кто их может выучить? Они даются от рождения, как имя и фамилия и как право на жизнь и на смерть.

Раз и навсегда.

Июнь 2013

Чортков

Для меня Чортков теперь – это фотографии. Более всего мне нравятся две – с осенним и зимним пейзажами.

С них я и начну.

На обеих – панорама города: величественный шпиль костела, окруженного домами, как спичечными коробками, из-за которых видны нитки дорог, машины, люди. Одна позолочена осенними деревьями и размазанной желтой пылью воздуха, на другой – как подгоревший хлеб, почерневший снег на крышах тех самых спичечных коробков домов, – это город зимой.

Я могу лишь представить себе запахи этого осеннего и зимнего города. Возможно, потому, что запахи сильнее всего привязывают к месту, становясь добычей твоих возвращений и превращений, ты закрываешь глаза и нюхаешь этот хлеб памяти.

В осенней фотографии, скорее всего, выразительно пахнет дымом подожженных листьев, а падающие каштаны трескаются, разбиваясь о брусчатку старинных улиц, пахнут также бензин и солидол грузовиков и тракторов, которые перевозят картофель и свеклу на приемные пункты и сахарозаводы. Повсюду жирный запах чернозема с огородов, перекопанных на зиму, а пеленающее мутное течение Серета зеленовато отдает речной рыбой. И по-особенному пахнет железная дорога: прогретые просмоленные шпалы выделяют черную смолу, как сосна живицу. Запах золотых листьев табака, ранних яблок, свежевыпеченного хлеба с хлебозавода долго висит в улицах и переулках.

Зима с проталинами снега кормит птиц, которые остались зимовать. Вороны, воробьи и городские голуби кружат над деревьями и крышами или побираются на тротуарах и площади в поисках какой-нибудь еды и вдруг срываются с мест, встревоженные прохожими. Зима пахнет бельем, дубеющим на морозе, она приходит серой куницей и смазывает хвостом все цвета, вытирая их до полутонов, и, встревоженная, скрывается в темноте. Морозный воздух сковывает запахи, словно тонкий слой льда, образовавшийся за ночь на Серете, – но только до середины реки, рыбе есть чем дышать. Зимой морозный воздух пахнет остро, как в аптеке лекарства, а белые деревья и дома – городские фармацевты моей памяти.

Все расплывается, как тушь на промокашке.

Город, заполняя все собой, возвышается над временем и сам становится временем (то есть словом).

Вероятно, отдаленность во времени и в пространстве этой

истории заставляет меня всматриваться в незначительные детали города, и я замечаю не только разные архитектурные стили (от классических построек времен Австро-Венгрии до панельных пятиэтажек соц-арта), которые схвачены одним мгновением, легким нажимом спуска фотоаппарата, но и отсутствующих на снимках жителей города, которые как будто только что вышли из своих домов, но их не сможет ухватить и проявить никакой фотограф. Они домысливаются мной, заполняя этот городской пейзаж собой и своими голосами.

Я обязан их вызвать, ведь без них моя история не стоит и ломаного гроша.

Это постоянное возвращение в места, которым ты всем обязан и которым в конце концов ничего не можешь дать, кроме своей памяти о них, искушает тебя перемешать жанры и воспоминания. Хочется переписать отрывки воспоминаний в один, каким-то образом связанный текст, подобно проходу невесть-куда по одной улице, минуя переулки, с верой в то, что именно это и есть твой путь.

Первым городом в моей жизни, который я увидел, был Чортков. Значительно позднее я выяснил, что там я и родился. И уже позже, в Нью-Йорке, мне захотелось вернуться в Чортков. Однако, когда перед тобой Атлантика и целая Европа, возвращение, возможно, и не предполагает твоего физического присутствия (что, в свою очередь, облегчает процесс вглядывания в детали, но затрудняет запоминание запахов).

Несмотря на все чувства к этому городу, в котором я часто бывал, родным его не считаю. Более или менее ориентируюсь в переплетении центральных улиц. Помню, что в костеле в 1970-е годы располагался какой-то склад. Помню какие-то магазинчики, рынок с его старыми постройками. Хорошо помню дорогу на вокзал (ибо часто ездил к деду и бабке, еще учась в школе или позже – студентом).

Война не разрушила Чортков, и некоторые старые здания времен Польши и Австрии в центре города сохранились. Присутствие XIX века в архитектуре свидетельствует о подлинности города, однако холмистый рельеф Чорткова не способствовал классическому местоположению ратуши с квадратной формой его центра, от которого обычно расходятся к окраинам все улицы. В Чорткове извивающиеся улицы с резкими перепадами по высоте как будто уравновешивают старинные постройки возле Доминиканского костела, которые простираются выводками двух- и трехэтажных домов вдаль и вверх, сохраняя блеск австрийской и польской брусчатки, впоследствии покрытой

рытвинами советского асфальта.

Исторические топосы Чорткова, и прежде всего этнические и религиозные (украинская общность в Чорткове вплоть до 1939 года – то ли чортковские евреи, то ли чортковские поляки) – все это, казалось, было закатано катком советской ремонтно-дорожной бригады, трамбовавшей асфальт, который, надо сказать, долго не сохранялся, и его периодически латали.

История, без сомнения, важна для Чорткова.

Без истории вообще нет города.

В Википедии написано, что в 1931 году из 19 000 жителей Чорткова 22,8 процента составляли украинцы, 46,4 процента – поляки, 30 процентов – евреи. Синагога раби Шапиро и синагога раби Фридмана, старые названия улиц, воспоминания Флоренс Мейер Либлих – это все, что осталось от евреев. Из известных жителей – прежде всего евреи: Шлемке Горовиц – раввин Никольберга, Пинхас Горовиц – раввин Франкфурта, Карл Эмиль Францоз – немецкий писатель. Ли Страсберг – актер, – еврейское местечко, а во время войны еврейское гетто, в котором было около пятисот человек, вывезенных впоследствии в лагерь смерти Белжец. Также известная в Чорткове династия хасидов, основанная Давидом Моше Фридманом. Проходя мимо магазина Фридмана в Бруклине, думаю, что они из Чорткова. Когда-нибудь спрошу…

Моя новая знакомая из городка Нью Рошел – миссис Кригель. Ей восемьдесят лет. В ее магазине на одной из центральных улиц этого поселения недалеко от Нью-Йорка мы разговариваем о Чорткове. Уже несколько десятилетий она продает там разнообразные шторы, занавески, посуду и другие товары. На ее столе – иголки, нитки, шпульки, две швейные машинки. Иногда покупатели просят подогнать занавески под размеры своих окон и полок. Она говорит со мной по-украински, читает по памяти Лесю Украинку и углубляется в воспоминания. Вместе мы забредаем в Чортков 1940-х годов, в гетто. Собственно, лишь только она (ибо то – не мое время, и мне туда нельзя). Ее влажные глаза, едва дрожащие губы, седые волосы Рахили и благородное лицо, сохранившее легкий след былой красоты, рассказывают мне о Чорткове, ее и моем городе, нашем общем городе, хотя и разделенном между нами годами.

Вне зависимости от наговоренных стереотипов, которые на сегодня сложились между украинцами и евреями, мне кажется, что я говорю с деревенской женщиной, ведь ее язык настолько пропитан местным украинским говором, что иногда кажется – я

общаюсь со своей, оказавшейся в Нью-Рашели бабушкой, и она рассказывает мне истории из своей жизни, уложенные в ее памяти.

Однако напротив меня – глаза Рахили.

Иногда она путает языки и говорит по-польски или вставляет английские слова, иногда ее влажные глаза с красными прожилками становятся сухими, иногда ее слова непонятны…

Чортков советских времен напоминал бы типичный райцентр. Но войсковые части (преимущественно авиационные) были одним из форпостов Прикарпатского военного округа, именно они изменили структуру города. Советские летчики представляли все национальности Советского Союза, как и солдаты срочной службы.

В городе появлялись военторги, военные столовые, воинские части, которые строили жилье для военных. В эту сферу деятельности были включены и местные жители (но не все). Скажем, чьи-то родственники находились на «оккупированной территории во время Великой Отечественной войны» или некоторые подозревались в симпатиях к националистам (примечательно, что в 1973 году в городе были вывешены желто-синие флаги, и город оцепенел), кроме того, местные жители (через одного) имели родственников за границей. Поэтому для местных построили ремонтный завод, кондитерскую фабрику, АТП, а тщательно проверенным разрешалось работать в военной инфраструктуре.

После войны время было наполнено страхом и запахом смерти. Украинское подполье, партизанщина, гарнизоны, НКВД, смерть и предательство – это было время хаотичной войны без какой-либо линии фронта, которая приближалась и отступала между днем и ночью, между своими и завоевателями, дележом, утратами, подозрениями, смертями.

Прибывали первые переселенцы из Надсянщины и Лемковщины. Целые села и семьи попадали в иное измерение, изменяя столетний уклад жизни. Возвращались остарбайтеры и те, кто попал в советскую оккупационную зону. Возвращались воины Советской армии, которых забрали на службу в 1944 году и завезли (как в случае с моим дедом) в Самарканд, а оттуда бросили на фронт в район Кенигсберга.

Скорее всего, все они были обречены: переселенцы – вызывали подозрение у советской власти за ее неприятие, ведь был разрушен уклад их жизни. Остарбайтеры подозревались той же советской властью в сотрудничестве с немцами, воины Красной армии – в недостаточной лояльности к власти, – а в

недостаточном патриотизме могли обвинять всех и всё украинское подполье. Местные жители становились заложниками всех. Все шло рядом: москали – с бандеровцами, колхозники с частниками, смерть – с жизнью, предательство с честностью. Нужно было выбирать, но особого выбора не было.

Совсем недавно я прочитал протокол допроса тогдашнего председателя сельсовета села Базар. Допрос производился в феврале 1948 года. Тот, кто допрашивал, спрятался за цифрами 20-3. В конце допроса он оставил довольно интересный комментарий личности допрашиваемого, проявляя свой дар психолога, излавливая допрашиваемого на неточностях, изворотах, в конце концов, на явной игре на обе стороны. Человек, которого допрашивали, хотел каким-то образом выбраться из хаоса и выжить.

Можно только представить: в каком-то бункере сидят двое – допрашивающий и допрашиваемый. У обоих мало времени. У одного потому, что нужно узнать об информаторах и сотрудниках НКВД, а у другого времени еще меньше, поскольку если он не переубедит оппонента в невиновности или, по крайней мере, в том, что вынужден был поступить так под принуждением, то его ждет расстрел.

Оба знают: что-то неизбежное ждет обоих.

Поскольку евреи исчезли во время войны, а поляков вывезли в Польшу после войны, то национальная политика торжествовала полным ходом. Достаточно сказать, что всех приезжих местные называли москалями, а старшее поколение не могло освоить русский язык. Хорошо его знали лишь те, кому довелось отмотать срок в сибирских лагерях. Но не всем из них было разрешено вернуться на родину, и не все смогли.

Теперь, просматривая фотографии Чорткова начала века, размещенные в Интернете, нахожу в них какой-то особенный отсвет истории XX века, ее трагизм, этническое противостояние, мифы и стереотипы украинцев и поляков против евреев, украинцев – против поляков, поляков против украинцев, евреев – против украинцев и поляков. Размежевание коллективной памяти поколений этносов было и религиозным, и политическим, и этническим – без особого желания сторон узнать одна другую. Каждая сторона чувствовала себя обиженной, считала свои аргументы наиболее значимыми. Ведь Чортков, как и другие галицкие города, был многонациональным и многокультурным, однако сферы тех культур не всегда пересекались.

Город Бучач двадцатого столетия описан Шмуэлем Агноном, а Дрогобыч – Бруно Шульцем. Хотя сказать «описан» – будет достаточно упрощенно, ибо ни Агнон, ни Шульц свои города не описывали, они их творили заново, поскольку реальный город и город в их воображении, город их художественного текста – это разные города.

Чортков был типичным галицким городом времен Польши и типичным райцентром Советского Союза.

В бывшей синагоге советы открыли Дом пионеров. Тогда же Чортков превратился в город военных (я уже говорил – там был построен аэродром и расквартированы армейские, в основном авиационные, части). Поэтому в 70–80-е годы военные реактивные самолеты часто летали над головами советских колхозников и демонстрировали им, что советская власть – крепка и боеспособна.

Я несколько раз останавливался в Чорткове и его окрестностях во время съемок фильма «Вишневые ночи» (мне довелось сыграть небольшую эпизодическую роль «ястребка» Романа). После двух месяцев пребывания на съемочной площадке я появился на экране на две минуты лишь в трех эпизодах (но со словами и даже со стрельбой из карабина!).

Съемочная группа жила в центральной гостинице Чорткова: справа – райком, прямо – памятник Ленину, слева – универмаг.

За окном – 1991 год. Страну лихорадило, но кинокомпания «Рось» каким-то образом воплощала свой проект в жизнь. Получив записку от ассистента режиссера Лидии Чупис, я приехал на съемку. Участие же мое в фильме было оговорено с режиссером Аркадием Микульским значительно раньше – примерно за полгода до съемок в Тернополе.

В первый же день пребывания в Чорткове, примерив свой актерский костюм – клетчатую куртку, широкие коричневые штаны в белую полоску и черные неудобные ботинки (те, в которых придется играть ястребка Романа), я получил комнату в гостинице, прошел различные процедуры у директора фильма, связанные с финансами и графиком съемок, потом закрылся в комнате и уснул.

Эта роль для меня, помимо кинематографического дебюта, была еще связана с семейной историей самого молодого бабкиного брата, Феди. Старший бабкин брат погиб под Варшавой в 1944-м, будучи солдатом штрафного батальона. В штрафники он попал после ареста за нанесение вреда советской власти в

1940 году, когда был каким-то начальником в только что организованном колхозе. Бабкину родню записали туда как представителей наибеднейшего крестьянства. Василь Погребной, кажется, не был женат. Я еще помню его выцветшую фотографию, единственную в нашем семейном альбоме. Хотя бабка твердила, что во время войны к нам приезжал какой-то офицер и привез ее матери, Юлии Погребной (моей прабабке), разные бумаги и военные награды сына. В итоге это помогло прабабке добавить к ее мизерной пенсии еще и военную – за сына.

Младший брат моей бабки Анны Погребной – Федор Погребной.

К сожалению, я не помню ни одной его фотографии. Я их просто нигде никогда не находил. Знаю его портрет по описанию бабки – высокий, чернявый, на лице родинка. Когда вдруг советская власть пришла в Базар, ему было лет 15 или 16. Для его поколения было три дороги: в украинские партизаны, в ястребки или на шахты Донбасса.

На семейном совете, который состоял из двух прабабкиных братьев Романа и Василя Червоняков и прабабки, решили, что наилучшим способом уберечь паренька от грозящих отовсюду неприятностей будет оставить его дома. Собственно, это решение его и сгубило. Большинство его ровесников, которые с неохотой поехали на Донбасс, в конце концов вернулись, а те, которые остались там, тоже выжили. Федор же погиб и, кстати, при невыясненных обстоятельствах. Став ястребком, Федор получил карабин без затвора, но, по словам бабки, очень к нему привязался. Мог ли он осознавать всю опасность своего ястребкового участия в войне без видимой линии фронта? Вряд ли, если ту опасность не смогли предвидеть даже его мать и дядья. Как-то он прибежал в дом с карабином и сказал, что его группа из трех человек имеет какое-то спецзадание и что через день-два они вернутся. Это было последнее свидание, когда моя бабка с ним виделась. Группа пошла на хутор у села Поливцы. По бабкиной версии, кто-то из них (может, и Федор), увидев пасеку, решили полакомиться медом и, зайдя в дом, наткнулись на повстанцев. Понятно, что живыми их оттуда уже не выпустили. Кто-то из ястребков мог узнать кого-то из повстанцев или впоследствии мог указать на их тайники. Любые версии могут быть обоснованными.

Несколько дней кряду прабабка и бабка ходили полями и искали тело Федора, видели убитых и, борясь со страхом, искали его среди мертвых. Так проходили дни, потом годы и десятилетия. Федор с каждым годом становился семейной легендой. О нем мы всегда говорили по выходным и по

праздникам, особенно когда приходили бабкины дядья Роман и Василь, которые чувствовали и свою вину за судьбу Федора, хотя уберечь его вряд ли было возможно.

О бабкином брате Василии все, по крайней мере, знали, что он погиб на войне и покоится в братской могиле где-то возле польского села Студзяна под Варшавой, а Федор, можно сказать, пропал без вести.

Я докопался до протокола допроса председателя Базарского сельсовета Дмитрия Микуляка, который, возможно, был уничтожен в 1948-м как вероятный информатор НКВД.

Этот протокол опубликован в летописи УПА. В нем Микуляк достаточно детально излагает хронику событий в период 1944–1948 годов. Никакого упоминания о ястребках я там не нашел. Есть много того, что проливает свет на те события, но про нашего Федора нет ничего. Те, кто его уничтожил, могли и сами на следующий день попасть в засаду, или сгинуть в бункере, или, заподозренные своими, быть ликвидированы. Ничего не известно.

Тогда, примеряя клетчатую куртку, штаны и башмаки ястребка Романа и беря в руки карабин, которым я по сценарию должен был отстреливаться в ночном бою, я стал на экране Федором, шестнадцатилетним братом моей бабки Анны, расстреляв в ночь весь выделенный мне пиротехником запас пуль.

Затвор в моем карабине был настоящий.

Вместе с другими непрофессиональными актерами Витей Феськовым и Матеем мы завалились в ресторан, чтобы отметить свой кинематографический дебют. По правде говоря, Витя и Матей обладали бóльшим опытом съемок в кино – Витя как автор любительских короткометражных фильмов и руководитель школьной киностудии, Матей же должен был быть продюсером нашего с ним фильма о передвижном театре, к которому я совместно с ним писал сценарий. Было уже выбрано место для съемок, подобраны актеры из местных жителей и учащихся школы, где он преподавал русскую филологию, однако что-то сломалось, и оказалось, что к тому времени я утратил всякий интерес к этой идее.

У меня, в отличие от них, были свои кинематографические амбиции, которые укладывались в большую «Энциклопедию кино», которую я купил еще в середине восьмидесятых в Симферополе (где мы втроем путешествовали по Южному берегу Крыма со всеми приключениями, характерными для таких, как мы, молодых). Раскрыв книжку на букву «Т» и попав на имя Андрея Тарковского, без колебаний заплатил двадцать пять рублей и возил этот огромный том по всему Крыму.

Энциклопедия информировала не только о советском кино, но и о мировом, которое меня интересовало больше.

Собственно, с этим багажом мы и прибыли в Чортков на съемки «Вишневых ночей».

Сквозь всякое барахло, которое нам разрешала смотреть советская цензура, все-таки просачивалось и хорошее западное кино. Так или иначе, имена актеров Збигнева Цибульского, Даниэля Ольбрыхского, Джины Лоллобриджиды, Марчелло Мастроянни были известны, а имена итальянских режиссеров читались и запоминались, как стихи, – Антониони, Феллини, Пазолини – и рифмовались с кадрами из фильмов. Кадры из их фильмов композиционно запоминались, как полотна средневековых мастеров или модернистов: расположение фигур, лица, одежда, здания, спуски, цвета, соотношение черного и белого. Таким источником информации была купленная в Крыму «Энциклопедия». Где еще я мог смотреть закрытые сеансы зарубежного кино или фестивальных премьер? Видимо, дольше всего я разглядывал в «Энциклопедии» кадр из кинофильма Пазолини «Евангелие от Матфея», где на горе Иисус, его ученики и народ. Намного позже я все-таки увидел этот фильм, известный еще и тем, что на роль Христа приглашали Евгения Евтушенко, что интриговало еще больше.

Развал Советского Союза ощущался даже в районном ресторане: нехватка продуктов и спиртного была очевидной, бутылка водки стоила уже 25 рублей, а остальное не очень уже и помнится.

За столами еще сидели советские офицеры, преимущественно летчики с голубыми петлицами или с черными – офицеры-связисты, – местные девицы и «дельцы».

Утром съемочная группа уезжала в Улашковцы. По плану там снимался эпизод с участием Костя Петровича Степанкова, которого привез на съемки двухметрового роста старшина ГАИ. Чувствовалось, что в дороге они «приняли» на грешную душу, и сцена не выходила. Степанков забывал текст, режиссер нервничал. Потом задождило – и вся кавалькада киноавтомобилей тихо двинулась по направлению к Чорткову.

В каком-то селе снимался ночной бой. Мы прибыли вовремя и выстроились возле автомашины с оружием, каждый – в руках со своим ружьем и небольшим количеством патронов. Пока режиссер с оператором устанавливали, что и как будут снимать, мы спокойно обменивали патроны на яблоки у крутившихся возле нас местных пацанов.

Уже в Тернополе, в гостинице, я навестил как доброго знакомого Костя Петровича. У него тогда болел зуб, и он не был расположен для беседы, но дал деньги, чтобы сбегать в ресторан за бутылкой. Я тут же сбегал, и мы начали лечить его зуб. Меня интересовал Параджанов, и Степанков о нем рассказывал.

Где-то посередине съемочного процесса, глубокой осенью, режиссер решил на какое-то время отпустить съемочную группу домой. Преимущественно это были киевляне, и они с утра выехали в Тернополь, чтобы оттуда добраться до Киева. Режиссер Аркадий Микульский, оператор Сашко Мазепа и ассистент по актерам Лидия Чупис в Киев не поехали – у них были какие-то дела в Чорткове, где остался и я.

На черной «Волге» режиссера мы поехали в село Базар. При въезде Микульский сказал водителю посигналить в мою честь, чтобы село узнало о том, кто его сегодня навещает, однако это лишь спугнуло переходивших дорогу гусей.

Стояла влажная осень.

Пастбища над Джуринкой поблекли.

Посадка, которая тянулась вдоль дороги, наполовину сбросила листья.

Кирпичный завод уже отработал свой сезон, и только сторож со своим полуслепым старым псом сидел на лестнице домика, в котором ночевал летом и зимой, и курил.

Собирались по домам пастухи.

В воздухе висел туман из-за реки и дым сжигаемых листьев.

Лида принялась готовить ужин. Микульский и Мазепа разглядывали семейные снимки на стенах и расспрашивали меня, кто есть кто.

Дверь скрипнула. Вошел сосед.

У него было какое-то дело.

Я уже писал, что никогда не считал Чортков, где в 60-е годы моя мама родила меня в местном родильном доме, своим городом. Свидетельство о рождении выписывалось деловодом базарского сельсовета старым Тивоняком, который дожил почти до 90 лет и умер одиноким, сломав ногу. Возможно, все записи о новорожденных в 50–70-х годах были сделаны им, тогдашним секретарем сельсовета. Его четкий почерк и написание некоторых букв, особенно «к», свидетельствовали о том, что он ходил в польскую школу.

В детстве я плохо ел, поэтому моя бабка пыталась с этим

бороться.

Как-то она договорилась со своей двоюродной сестрой Михайлиной, которая жила в Чорткове, чтобы меня обследовали знакомые врачи и выписали что-нибудь для аппетита. Михайлина была одной из бабкиных сестер по дяде Василию. Она работала в райсобесе, снимала однокомнатную квартиру в центре города и воспитывала своего племянника Сашку, которого забрала от младшей сестры из Казахстана. Ту далекую казахстанскую сестру я видел на фотографии с аккордеоном. Вроде ей в Казахстане было не очень хорошо. Сашку бабка называла байстрюком. Он был хорошо сложенным мальчиком, на несколько лет старше меня, и носил очки, дужки которых были прикреплены веревкой. Он отличался необыкновенной разухабистостью. Помню, на праздник Покрова он раздобыл так называемую цыганскую иглу и проткнул ею колесо трактора, на котором кто-то приехал к соседу. Когда сосед и его гость вышли на подпитии из избы, спущенное колесо понуро смотрело на тракториста.

Михайлина не нравилась мне потому, что все на свете знала и поучала меня и бабку. У нее был голос городской панночки и над верхней губой пробивались усики. После посещения Михайлины мы с бабкой пошли к доктору, которого она нам посоветовала. Докторша не придумала ничего лучшего, как прописать мне рыбий жир и полынь. Рыбий жир мы купили в аптеке и, уже совсем не имея времени, поехали на автобусную станцию. По дороге бабка жаловалась, что ей некого будет показывать маме, раз я так плохо ем, и говорила, что если я не буду пить рыбий жир, то она даст мне полынь, а что это за горечь, мне придется еще узнать…

У Михайлины мы бывали не часто, лишь по поводу рыбьего жира.

Мне больше нравилось навещать бабкину родню по праздникам. Как правило, в начале осени мы выбирались вчетвером – дед, бабка, дядя Федя (брат моей матери, имя которому дали в честь погибшего) и я – в соседнее село Палашовку, по местному – Павшовка. Там родилась бабкина мать Юлия Погребная, которая вышла замуж за вдовца Онуфрия Погребного, уже имевшего двух детей. С ней он нажил еще троих – Василия, Анну и Федора. Их брак длился не слишком долго, ибо Онуфрий начал пить и в конце концов очутился в той же Павшовке у своей старшей дочки от первого брака. Там, кажется, и умер, там и похоронен. Прабабка с тремя малыми детьми осталась одна, занимаясь небольшим огородом возле дома и имея еще небольшое поле, которое ей досталось в качестве подарка от

родителей. Так что жилось ей нелегко. Бабка рассказывала, что ее мать, возвращаясь летом поздно с работы, собирала сонных детей и кормила тем, что удавалось спрятать во время обеда у хозяина.

У нее были два брата, Роман и Василий, и сестра Параска. Все жили в Павшовке один возле другого…

Храмовый праздник в Павшовке был 28 сентября, как говорили, на первую Матерь Божью. Конец сентября еще был теплым, идти до Павшовки нужно было мимо кирпичного завода. Я держался за руку бабки позади деда, который постоянно закашливался и останавливался передохнуть. Федор, почти не выпуская дым, курил всю дорогу любимую львовскую «Верховину».

Сперва заходили к дяде Василию, которого дед называл «пролетариятом» за его демократизм и широкую душу. Его жена тогда болела рассеянным склерозом, и все хозяйство вела младшая дядина дочка Вера с мужем, которого все называли москалем, хотя он был с Винничины и, как позже выяснилось, беспросветным пьяницей. У Веры с москалем было двое сыновей. Старший – не очень удачный, а младший – живой и нормальный парень. Они оба мне нравились. После гостей дядя Василий всегда нас чем-то радовал. Часто в порванной сумке бабка несла молодого кролика, белого или серого. Серые мне нравились больше, потому что у белых были красные глаза и розовые носы. Дома дед мастерил для кролика отдельную клетку, а мне вменялось в обязанность его кормить. Это длилось несколько недель, потом я утрачивал интерес.

Из гостей возвращались пешком.

Сумерки накрывали речку Джуринку, кирпичный завод, и только холмы села Базар кое-где светились слабым светом, – в эту осеннюю пору часто опускался легкий туман. Федор, как правило, напивался, и дед, тоже в подпитии, вел с ним «разъяснительную» работу. Бабка несла в сумке кролика и расспрашивала меня, буду ли я за ним смотреть. Я отвечал утвердительно, но она мне не верила, и я сам себе не верил.

Как-то осенью я страшно простудился. Не помогала ни медсестра, ни уколы, которых я больше всего боялся. Кашель был сухим, и бабку беспокоило то, что у меня может случиться астма. Кто-то посоветовал ей привести меня поутру, еще до прихода работников, на ферму, в хлев, где и дать мне возможность подышать час овечьими испарениями, и повторить несколько раз. После этого должно полегчать. Еще советовали смазать грудь жиром только что пойманного и убитого пса, от чего бабка наотрез отказалась, ибо пес – творение Божье. Я также обрадовался оттого, что не буду, как старик Якимец, пахнуть

псом. (В голове вертелось и то, что кто-то ведь должен был его убить и чей это будет пес.)

Почти всю неделю мы вставали до рассвета, около трех часов утра. Бабка разжигала печь и грела чай. Свет она не включала. Поэтому, подбрасывая уголь и дрова в печь, она открывала дверцы и позволяла языкам пламени увеличиваться и прыгать по стенам, а потом снова загоняла их в печь. Стояла поздняя осень с дождями, холодными ветрами, болотом, однако по утрам легкий морозец сковывал грунт, на дороге были видны следы колес грузовиков и тракторов, а утратившая свой цвет и запах патока с мерзлой конской мочой и навозом обозначали путь, по которому прошедшим днем возили корм колхозным коровам и лошадям. Мы действительно приходили задолго до первых рабочих фермы. Бабка предварительно обо всем договорилась с далеким родственником, – он оставлял для нас в условленном месте ключ. В хлеву было несколько сотен овец.

При входе внутрь первое, что ударяло, был затхлый овечий воздух, пропитанный запахом соломы, мочи и помета. Овцы были отгорожены одна от другой досками. Там и тут встречались молодые овечки, которых я видел на церковных мозаиках, правда, от церковных они отличались тем, что к шерсти их задних ног прилип помет, напоминавший шоколадные горошины.

Бабка усаживала меня на доску, и я должен был вдыхать овечий воздух и овечий смрад.

Почти недельная терапия дала свои результаты – я начал лучше откашливаться, и мы перестали ходить туда по утрам.

Чортков для меня поделен на три часовых измерения – австрийское, польское, советское – и на несколько важных топографических точек: железнодорожный вокзал, автостанция, ратуша с часами и торговые ряды.

Австрийское в первую очередь связано с австрийскими башмаками. Сначала дед держал их на чердаке, по-местному – на вышке. Не знаю, откуда он их принес, вполне возможно, достал у кого-то в селе или купил на базаре в Чорткове или Бучаче. Они были грубыми, с коваными накладками на пятках и носках, с металлическими заклепками, тяжелые (ибо я их не мог поднять), рыжего цвета, в пыли. Они одиноко стояли в отдельно отведенном для них месте. Сначала дед хотел их носить сам, но они были тяжелыми и растирали в кровь ему ноги. Тогда он решил их продать.

Несколько покупателей приходили в будние дни, но, оглядев башмаки, заверяли, что, может, и купят товар, но больше не появлялись. По воскресеньям, когда к нам приходили

родственники, после нескольких рюмок самогона и угощения дед выносил башмаки, предварительно вытерев их своей большой рукой, и, расхваливая кожу и работу, предлагал их на продажу. Расхваливание начиналось с того, что это башмаки австрийского производства времен Первой мировой войны и что счастливчик, который их купит (а не купить их может только дурак), никогда их не сносит, поскольку они вечные. Так философствовал дед. Этот бесконечный торг, а не желание потенциальных покупателей заплатить совсем смешную цену в 25 рублей, которую установил дед и от которой не отступался ни на шаг, утомлял его самого, и он не понимал, как можно упустить такой товар. Но время шло, башмаки и дальше пылились в чулане и выносились для покупателей только по воскресеньям, что не помогало желанию деда от них избавиться.

Польский период – почему-то больше еврейский (несколько еврейских семейств в Базаре, несколько евреев-менял, которые ехали в села и обменивали обиходные домашние вещи на зерно, сахар и другие продукты). Это время также связано с эмиграцией в Северную и Южную Америку, а также с возвращением некоторых оттуда с деньгами, американской одеждой, патефонами, пластинками и ощущением немеряного богатства.

Советский – с проникновением русского языка, райкомом и колхозами, огромными щитами с советскими лозунгами и портретами вождей. Собственно, войсковые части напоминали всем про оккупацию, русский язык – про чужое присутствие, кондитерская фабрика подслащивала горькую советскую действительность, автобусный парк, как мог, сокращал расстояния большой родины, ремзавод, как мог, ремонтировал сельскохозяйственную технику для тружеников села, сельхозхимия, как могла, засыпала поля химикатами.

Мое детство прервалось летом 1972 года, когда заболела моя бабка. Болезнь была продолжительной, и дед был вынужден часто ездить в Чортков, в больницу. Я ночевал у соседей и у родственников. В какой-то момент мне это начало нравиться: никто меня не опекал, никто не следил, ел я или нет. Целыми днями я бродил вдоль речки, или в садике Яворской, или на пригорке возле клуба.

Садик Яворской как раз соседствовал с нашим огородом. Как только я выбегал на тропинку возле сарая, я попадал на запретную территорию. Сад Яворской был местом дурноватой и страшной бабы, ходившей от дома к дому и стягивавшей на свой двор всякий хлам, который прятала в доме или еще где-то. Зимой она жила неизвестно где, а летом и осенью бродяжничала без

всякой цели.

Возле дома все заросло травой, земля была влажной, здесь на самом деле ощущалось какое-то одиночество, запустение. Изредка Яворская наведывалась в свой дом, в ее саду было полно детворы, которая играла в прятки или искала груши. В тот момент Яворская вспоминала, что она и есть владелица этого дома и сада, поднимала такой крик, что слюна брызгала из-под ее редких и гнилых зубов, бегала за нами, изгоняя нас со своего подворья, поросшего лопухами, сорняками и кустами бузины. Потом быстро успокаивалась, садилась на пень трухлявого дерева и смотрела на нас, выглядывавших изо всех углов в ожидании этой бесконечной игры.

Яворская, сидя на пне, покрикивала на нас, но уже не так агрессивно.

Яворская умерла где-то в конце 70-х. Несколько соседей похоронили ее. Последние месяцы своей жизни Яворская провела в семье, которая о ней заботилась и которой она доверяла.

Потом сад выкорчевали для постройки нового дома, где Яворская уже никогда и ни с кем не будет ссориться.

Речушка нравилась мне в том месте, где я пробегал возле дома пьяницы Кухарского, – он обычно лежал на своем дворе в траве и что-то кричал мне вслед. Я прибавлял скорость, опасаясь его. Мимо старой мельницы, вдоль к мостику, который ведет в Заводы, потом резко вправо, а там – в заросли.

Вечером приезжал дед и забирал меня домой.

Однажды он приехал подавленный и огорченный и сказал, что бабку ожидает тяжелая операция.

Теплым летним вечером мы готовили себе ужин, вернее, дед по-быстрому пожарил яичницу и принес с грядок несколько помидоров, большой огурец и зеленые перья лука. Нарезая овощи для салата, он рассказал, что по окончании войны их часть перебросили в Венгрию, на озеро Балатон, где он и заканчивал свою службу поваром.

Мне не очень нравилось, что дед был в армии простым поваром, но яичница вкусная, салат тоже, а чай – душистый.

Дед спрашивает: буду ли пить чай.

С полным ртом отвечаю: угу.

Наломав малиновых прутьев, дед кидает их в заварку.

Мы готовим чай на керогазе, и я помешиваю заварку малиновым прутиком, который дед приготовил для меня. Время от времени я вынимаю прутик, жду, пока он остынет, и тогда облизываю его. Кисло-малиновый прутик обжигает мне нёбо, но я терплю.

На следующий день, в воскресенье, мы собрались с дедом в

Чортков. Как выяснилось, кое-какая одежда у меня была, но с обувкой вышла незадача: единственной обувью, по мнению деда (то есть в чем можно было бы показаться в городе), были ботинки, которые я носил зимой и в которых даже катался на коньках, для чего в каблуках были просверлены дыры. Дед почистил башмаки и оставил их ждать утра.

Утром надеваю сорочку, черные брюки и приготовленные с вечера ботинки.

Сквозь летний восход пробиваются лучи солнца.

Зеленовато-грязноватый свет освещает край неба.

Мы идем на автобусную станцию.

В автобусе я нашел рубль. Произошло это совершенно случайно: я нагнулся, чтобы поправить штанину, и увидел, что передо мной лежит рубль. Я тихо сказал об этом деду, ибо это сокровище могло принадлежать и дородной односельчанке в завязанном под подбородок пышном платке с большими розами. Дед пригнулся, кивнул мне, и я мигом схватил рубль и зажал его в ладони. Я представил себе, сколько килограммов леденцов или порций мороженого я смогу купить.

С такими сладкими мыслями мы въехали в Чортков и вышли возле магазина.

Перво-наперво я выцыганил у деда два стакана газированной воды с сиропом. Простая вода стоила одну копейку, а вода с сиропом – три. Второй стакан я с трудом допил большими глотками. Газировка пощипывала горло и язык.

Тем июльским утром я был один в таких ботинках. Мои ровесники щеголяли в легких сандалиях. Я доверял деду, но даже он морщился, глядя на мои ботинки, которые жали, пахли черной ваксой и кирзой.

Больница находилась на пригорке, с которого было видно село Белое. Больные женщины, которых было немало в больничном дворе, были одеты в халаты.

Когда мы сидели в тени на скамейке и разговаривали с бабкой, вернее, когда она выговаривала деду за мои ботинки и он вяло отбивался от ее обвинений, перед нами все время ходила взад-вперед какая-то беременная с огромным животом, потом останавливалась и тяжело дышала.

«Не может родить, бедная», – объясняла нам с дедом бабка.

Они продолжают свою перепалку, как будто бы бабка не в больнице, а дома готовит завтрак или обед и одновременно дает свои важные поручения или комментирует философствования деда. Из всего я понимаю одно: бабку ожидает сложная операция, а меня, возможно, переезд в Кривой Рог к маме и отчиму и моему младшему брату.

Возвращались мы с дедом последним рейсом. Не знаю, как получилось, но рубль я потерял. Потеря эта меня не очень волновала: беспокоило другое – поездка в Кривой Рог. Тогда я попрощался с детством.

В моем детстве при деде и бабке неподалеку от нашего дома был пригорок, к которому вела натоптанная тропинка: по ней ходили, по ней гнали скотину, по ней лихачи ездили на велосипедах. Нужна была определенная сноровка, чтобы с разгона влететь на тропинку и не промахнуться, не сорваться с нее.

В 20-е годы на том пригорке сельчанами была построена читальня, которая в конце 60-х превратилась в сельский клуб, где каждую неделю собиралось множество народу. Танцы тогда назывались «забавой». Местный киномеханик неохотно уступал помещение любителям этой забавы, так как ему нужно было выполнять план. Под уговорами он соглашался, но все должны были скинуться по рублю. Тогдашняя музыка – это баян или аккордеон, бубен без ножного приспособления, какая-то труба, саксофон или цимбалы (в зависимости от того, кто из местных музыкантов играл). В зале отодвигали длинные ряды деревянных кресел, и начиналось развлечение: переливы голосов и басов баяна, дрожала кожа бубна и тонко пели нежные тарелки, соло трубы или саксофона. Пары кружили в вальсе, польке или фокстроте. В хорошую погоду окна раскрывались настежь, и музыка вырывалась наружу. У окон стояли преимущественно немолодые женщины, они внимательно следили, кто с кем танцует (уже в понедельник, делясь впечатлениями, прикидывали, кто кого выбрал и кто с кем сойдется этой осенью). Не меньше шаталось там и местной детворы всех возрастов. Они носились стайками или торчали на веранде возле куривших старших парней, слушая всякие истории: кто-то вернулся из армии, кого-то осенью призывали, кто-то рассказывал про ловлю рыбы или про мотоциклы…

Когда музыканты объявляли перерыв, разгоряченные танцоры выходили на перекур. Девчата и женщины подпирали стену или сидели на скамейках.

Где-то ближе к концу забавы кто-то влетал на середину клуба и начинал звать подмогу. Ясно было, что возле клуба затевалась драка. Музыка останавливалась, и куча народу вываливала наружу. Разгоряченных распитым в коридоре самогоном драчунов обступал тесный круг. Посредине бычились двое молодых парней в белых сорочках, они еще какое-то время дрались, пока один из них тяжелым ударом не сваливал другого.

Победитель, покачиваясь, остервенело делал последний рывок к побежденному, которого уже успели поднять, его сорочка в крови и в траве.

Как-то холодным утром на пригорке собрались пятеро пацанов.

Моросил дождь.

Ивасенко (у его отца мой дед купил за двести рублей немецкий баян) выкопал ямку, другие примеряли только что выструганные палки, и все готовились играть в «кичку». Ивасенко – самый старший среди нас, сорвиголова нашей околицы, всегда в сопровождении нескольких пацанов, которые ему прислуживают. Для своего возраста он сильный и жестокий. Его шайка шныряет повсюду, и там, где продают керосин. Он уже курит и хвастается тем, что его отец не раз видел его с сигаретой. В этот момент мимо нас плетется Яворская, местная юродивая, она ходит по селу и разговаривает сама с собой, со всеми ссорится, особенно с детьми, которые постоянно дразнят ее. Издалека она похожа на цыганку, потому что на ней несколько курток и юбок (кто-то ей, видимо, подарил). С Яворской мы соседи. Ее развалюха-хата и запущенный сад граничат с дедовым подворьем. Ивасенко, заметив ее, отбрасывает в сторону палку, которой только что копал ямку, и показывает ей непристойный жест, который мы себе позволить не могли. Яворская, плюясь, сыплет проклятиями: «Ах, ты ж… черт бы тебя побрал!» – и замахивается на нас палкой. Пацанва разбегается в разные стороны. Но Ивасенко небрежно чиркает слюной и с какой-то яростью поднимает палку и замахивается в ответ, что старуху сперва ошеломляет. Она на миг отступает, но, придя в себя, остервенело орет и бросается в наступление. Кто-то из взрослых кричит на нас, и мы прячемся за клубом. Ивасенко, подобрав несколько окурков, предлагает нам. Кто-то берет, но сразу закашливается, чем отбивает охоту у других. Ивасенко учит нас, мальцов, как забить запах табака полынью. Перекурив, Ивасенко снова предлагает играть в кичку, ведь та сумасшедшая уже далеко. Мы выбираемся из зарослей и ищем наши палки. Ивасенко выкапывает ямку, выгребая рукой землю.

В кичку играли так: в ямку втыкали палку, игрок выбивал ее своей палкой, подбрасывая в воздух что есть сил. Выигрывал тот, кто забрасывал палку дальше всех.

В то утро игра началась как обычно. Пацаны примерялись к ямке, выбивали из нее палку и били по ней. Палка со свистом летела по воздуху. Не всем удавалось попадать по палке. Тогда Ивасенко сплевывал: «Что, курва, не вышло?» или поддразнивал:

«А ну скажи – яма», а в ответ скалился: «Твой папа на маме». Что это – мы уже тогда знали. Из-за плетня выбегает Иванко, Ивасенков ровесник (старше нас на год-два), стоит поодаль. Ивасенко зовет его играть, но тот отмахивается, любит, чтобы его просили. Мы знаем, что ему запрещают с нами водиться. Его держат в узде и за проделки могут наказать: сидеть в курятнике или стоять в углу на кукурузе с вытянутыми руками (в каждой из них – по учебнику, которые он никогда не читает). Руки у пацана ослабевают, книжки падают, но батя дает ему ремнем по спине, и хлопцу снова приходится поднимать руки.

Его недавно определили во вспомогательную школу, но он оттуда сбежал. Мы знаем, что он будет с нами играть в кичку, пока его дед не заметит, что он выпутался из веревки, которой его с утра привязали.

Ивасенко принимает его в круг.

Иванко подходит к ямке, подбрасывает палку для игры сильным ударом и отправляет ее далеко вперед. Мы измеряем, на какую длину палок она отлетела, – выходит на 45! Затем Ивасенко ловко подбрасывает ту же палку и изо всех сил лупит по ней. Она отлетает на приличное расстояние, мы бросаемся измерять – выходит 38! Ивасенко горячится: «Курва! Не может быть!» Мы перемеряем – все правильно. Все начинается сначала: Иванко подбрасывает и бьет, Ивасенко подбрасывает и бьет, и так – много раз. Сколько ни перемеряли, выходило, что Иванко все-таки победил.

Он стоит и дурковато посмеивается.

Ивасенко подбегает, с ненавистью смотрит на него и наотмашь врезает так, что у того бежит струйка крови, а нижняя губа мгновенно вспухает. Мы трусливо отворачиваемся: нам жалко хлопца, но мы боимся заводилы.

Иванко разворачивается, бросает палку и вприпрыжку убегает прочь. Ивасенко смотрит на компанию и оправдывается: мол, дурак бил не так, как надо. Никто не осмеливается вставить слово, но все понимают, что это не так и что он просто не хочет потерять авторитет.

Первым уходит Мисько.

Остальные (и я в том числе), как сговорившись, расходятся кто куда.

Ивасенко громко, чтобы все слышали, бросает Миську: «Ничего! Еще вернется коза к возу!»

Несколько лет тому назад мне довелось побывать в Чорткове. Можно было поехать по другой дороге и в Чортков не заезжать, но я настоял на своем.

Слева при въезде в город мне встретилась автобусная станция – примечательное творение советской архитектуры. Кроме того, что прилегающую к ней площадь заасфальтировали, вроде ничего и не изменилось, просто слегка освежили здание станции.

Слоняются туда-сюда пассажиры, видимо, жители близлежащих сел. Пазики и заезженные микроавтобусы – признак нового времени. Есть буфет и киоски с разным-всяким товаром, но покупателей не видать.

Поодаль – Серет с мутной, зеленоватой водой и знакомые очертания моста через реку с транспарантом (когда-то – «Слава КПСС!», а теперь что-то вроде «Чортков – жемчужина Украины»). Еще дальше – новая церковь в австрийской части города. Кое-где остатки мостовой, повсюду новые магазины, киоски, снуют хорошие (и не очень) иномарки и, конечно, «жигули», «лады», «москвичи» и «запорожцы».

Вместо молодиц в платках и мужиков в пиджаках и картузах или шапках, которые в свое время заполняли улицы, теперь – джинсоманы в различных вариациях, подстриженные почти «под ноль» подростки и разноцветье женских причесок (реклама всяческих красок для волос).

Иногда мне кажется, что мой застывший в памяти Чортков я засунул в бумажный кораблик из школьной тетради в клеточку и пустил по воде. Я всматриваюсь в воду, там отражаются дома, улицы, мосты, синагоги, церкви, костелы, люди на улицах, слышны голоса, – но разобрать ничего нельзя.

Это какое-то странное разноголосье, в котором все перемешалось. Огромный улей звуков, музыка, вариации сменяют темы и не повторяются, мне уже все труднее воспроизвести их. Обрывки исторических эпох, обломки камней и могильных плит, голоса безысходности на идише, украинские реалии, польское молчание, австрийские ботинки моего деда, игра в кичку, потерянный рубль, пригорок, старуха Яворская и множество подзабытых деталей – это мой Чортков. А еще – развод родителей, дед и бабка, подмоченная буханка хлеба, посыпанная сахаром, – все, из чего складывалось мое детство.

С пригорка разбегаются врассыпную пацаны – молча, без слов, чтобы никогда уже больше не встретиться…

2010

Футбол на пустыре

1.

Кривой Рог – шахтерский город, он вытянулся на сто километров вдоль рудоносной жилы. Название как-то ненавязчиво вошло в обиход нашей семьи где-то в 1953 году (мой дед, поддавшись на агитацию про шахтерские заработки, поехал туда).

В промышленных районах Украины в послевоенное время катастрофически не хватало рабочих рук. Нужно было восстанавливать разрушенные войной шахты. Государству требовались уголь и руда. Поэтому на «освобожденные» западноукраинские земли зачастили вербовщики, подбивая взрослое население сменить унылое колхозное существование на обеспеченное высокой зарплатой и квартирами рабочее житье. С молодежью на «воссоединенных» землях вообще никто не церемонился – в соответствии с составленными списками их, пятнадцати-семнадцатилетних парней, фактически принудительно вывозили на шахты Донбасса и Криворожья.

Относительно деда никакого принуждения быть не могло. Он родился в 1916 году, трижды бежал с направлявшегося в Германию эшелона и с приключениями всегда возвращался домой. В 1944 году советская власть оказалась ловчее немецкой, и его забрали в Красную армию. Сперва под Самарканд, а впоследствии дед, провоевав год на Первом Украинском фронте, завершил свое солдатское бытье в Венгрии, на озере Балатон. Оттуда и демобилизовался, кажется, в 1947 году. Из армии прибыл не с пустыми руками, а с чемоданами всякого добра. Пока советская власть занималась колхозным строительством, в селе стоял гарнизон, а ночами украинские партизаны проводили свои агитационные и военные мероприятия.

Дед очень любил лошадей, часами мог рассказывать о них. Знал, на каких лошадях выезжал пан Респалдиза, а еще какие и какой масти лошади были у соседей и какие лично у деда (одна кобыла и два жеребца). Колхоз, конечно, отобрал его любимого жеребца, с которым дед две недели прятался в полях. Это и стало поворотным пунктом в его решении податься на шахты.

В Кривом Роге дед сперва поселился в общежитии, а со временем получил квартиру в доме на улице Кустанайской. Это был сталинский дом – массивный, с огромными окнами и высокими потолками (такие строили после войны).

Я увидел жилье деда в то время, когда он там уже не жил, но вся мебель (громоздкий диван и буфет) осталась нам в наследство. Стол, две кровати и несколько кресел составляли меблировку просторной комнаты, там мы поселились и жили несколько лет. Хотя наша комната была большой – кухня, туалет и ванная были общими, и мы их делили еще с двумя семьями. В соседней комнате жила пожилая женщина, а ее дочь Тамара с мужем Петром селились в комнате напротив. Общим был и длинный широкий коридор. Та женщина мне не нравилась (она воевала со всеми, начиная с моего деда и заканчивая своим зятем Мишей). Она не мирилась даже со своей дочкой Тамарой, которая работала на овощной базе и приносила оттуда дефицитные апельсины и мандарины.

Самым интересным для меня был высокий светлый буфет. В его ящиках лежали дедовы опасные бритвы, которыми он (когда приезжал к нам уже после выхода на пенсию) всегда брился. Складные стальные бритвы с эбонитовыми ручками светлого и темного цвета. Лежали в футлярах, на каждом – серебряное тиснение «Ленинградский завод». Перед бритьем бритвы полагалось точить, поэтому рядом лежал прямоугольный брусок, обтянутый добротной грубой кожей с залысинами от многолетнего пользования. Дед очень долго отмахивался от станков с лезвиями и электробритвы. На Кустанайской (когда ванная комната была занята кем-то из соседей, что происходило часто) на буфет ставилось зеркало, извлекались два футляра с бритвами, и обе затачивались. Помазок – в специальной чашечке с горячущей водой, а для намыливания – обычное мыло. Продолговатое стальное лезвие затачивалось несколько минут, и после монотонных движений дед пробовал его остроту огрубевшим концом большого пальца. Ту же операцию он производил и со второй бритвой. Приготовив обе, намыливал лицо и начинал бриться. Бритье сопровождалось долгим покашливанием, кряхтением, причмокиванием и особо выверенными движениями руки. Когда смывалось мыло, в некоторых местах на шее или возле губ проступали порезы. Тогда дед хлюпал в широкие ладони «Тройной одеколон» (он называл его кельнской водой) и втирал в лицо. Если порезы были глубокими и кровь сочилась не сворачиваясь, то в ход шли обрывки промокашек: смачивая их одеколоном, дед налепливал их на порезы.

После бритья в комнате долго пахло одеколоном и мылом.

В двух ящиках буфета находилось много мотков медной проволоки. Она наматывалась на катушку и использовалась в качестве антенны к большой радиоле «Сакта», которая была

особенной гордостью деда. Купленная, кажется, в 60-х годах, она использовалась и как радио (ибо у нее были все волны – от длинных и средних до коротких и ультракоротких), а также – как проигрыватель для пластинок. Для пластинок 50–60-х годов использовались разные скорости – 45 и 79 оборотов в минуту, поэтому на большом виниловом диске могла быть записана только одна песня. Пластинок у деда было не слишком много, может, десятка два. Они аккуратно лежали на крышке радиолы, и время от времени устраивались их прослушивания. В основном, это были украинские песни в исполнении оперных певцов или хора имени Веревки.

Буфет завершали фаянсовые фигурки Карася и Одарки, девчата и хлопцы в украинских сорочках, а еще – балерина. Эти фигурки дед купил в Киеве на Крещатике во время трехдневной экскурсии (ею деда премировали в 60-х). Кажется, это была единственная его экскурсия за всю жизнь. Каждый свой отпуск он проводил в селе Базар, сперва – на постройке дома, потом на обустройстве быта. Со временем буфет и «Сакта» перекочевали в село. Во время переезда у балерины отломалась рука, у Одарки – кончик платка, но буфет и радиола были доставлены в целости и сохранности.

Сегодня, когда деда уже нет в живых, а бабка, преодолев 85-летний порог, уже не обходится без посторонней помощи, я часто размышляю об их жизни, и не только потому, что они были самыми близкими мне с рождения людьми, но и потому, что на жизнь их поколения выпали важные исторические события. В их жизни было множество разлук и превратностей – сначала война, потом Кривой Рог. И только в начале 70-х, когда дед вышел на пенсию и вернулся в свое село, они продолжили, уже без расставаний, свою жизнь – до самой смерти деда.

Поженились они в 1943 году. Бабка почему-то всегда сетовала на родню деда, в особенности на свекровь, которая никак не хотела породниться с будущей невесткой. Свадьбу по этой причине моему деду не справляли. Бабка выходила замуж в платье подруги, а дед в костюме, купленном еще во времена, когда часть Украины была под Польшей. Среди вереницы бабкиных историй была одна о продаже дома, на который мой дед тоже имел право, но его сестра, присматривавшая за отцом (столетним дедом Михайлом), после его смерти распорядилась домом на свое усмотрение. Среди бабкиных доводов был один, с ее точки зрения весьма убедительный: когда дом строился, участие деда в этом было самым большим, и не учитывать это обстоятельство было нечестно. Другая история в бабкиных рассказах (которая также варьировалась с заметным негативным

привкусом) – о матери деда, старой Кардиналихе, известной болтливостью, жестким характером и упрямством. Единственный ее поступок, о котором моя бабка отзывалась одобрительно, – когда в 44-м году немцы забирали единственную корову, и на переговоры с ними пошла старая Кардиналиха (она в молодости работала не то в Германии, не то в Австрии и говорила по-немецки). Она сумела переубедить немецкое начальство, и корову вернули.

2.

Криворожский двор на Кустанайской, где происходили все наши баталии и игры, сперва отпугивал меня (ведь я там почти никого не знал), а когда познакомился, то мои ровесники потешались над моим галицким говором и всеми привезенными оттуда словами (по-русски я тогда еще не говорил). Простор *пригорка*, превратившись в криворожском варианте в тесный *квадрат двора*, еще усилил мою неуверенность – в этом месте я пребывал вынужденно.

Помимо криворожских пейзажей, первое, что меня особенно поразило, были огромные и неизвестные мне автомобили, которых я не видывал ни в Чорткове, ни в Базаре. Там, задыхаясь, пыхтели ГАЗоны, изредка ЗИЛы, а здесь – мощные грузовые чешские «Татры», МАЗы, а иногда – БелАЗы. Тысячи автобусов и троллейбусов неслись по городу, одновременно перевозя и ударников коммунистического труда, и тунеядцев, и воров, и хулиганов. Довольно быстро ознакомившись с окрестностями, я через некоторое время уже уверенно бегал в ближайший продуктовый магазин и с огромным интересом наблюдал за моими ровесниками, которые наверняка по требованию родителей уверенно снимали трубку телефона-автомата и бросали две копейки, чтобы позвонить им на работу. Для меня это было что-то неимоверное, ведь я никогда такими телефонами не пользовался. Поэтому, стоя с бутылками кефира, молока и пельменями в авоське, я смотрел исподтишка на них и по-детски завидовал.

На улицах города можно было встретить вьетнамцев в одинаковых пальто какой-то из местных швейных фабрик – это были 70-е годы. После американо-вьетнамской войны Советский Союз, поддерживая коммунистический режим в стране, забирал тысячи вьетнамцев на свои просторы. Это напоминало ситуацию с Испанией в 1936 году, когда мы принимали испанских детей, которые пополняли детские дома толпами детей-сирот. А в 70-е

это были преимущественно подростки, которые приобретали в ПТУ горные рабочие профессии.

Эти вьетнамские сироты, дети войны, были на полном государственном обеспечении (от еды и одежды и до крыши над головой). Чем дольше шла война, тем больше увеличивалось число переправленных в Советский Союз вьетнамцев. Местное население относилось к ним по-разному (от сочувствия, над чем тщательно работала советская пропаганда, до грубых комментариев простого пролетариата, а чаще его полукриминального элемента). Чужаки всегда воспринимаются с недоверием. Такова уж человеческая психология. В этом – вербальное отстаивание своего жизненного пространства, которое хочет отнять у тебя залетный чужак. Но, похоже, расовой нетерпимости в ее различных проявлениях в Кривом Роге не было. Насаждение идеи интернациональной дружбы начиналось еще в школе на политинформациях о международном положении в странах Азии и Африки, а также в клубах интернациональной дружбы (там разрешалось переписываться со сверстниками из стран социалистического лагеря). Иногда кто-нибудь не очень сознательный, навеселе, отмечая с друзьями день получки, мог выкрикнуть словцо про черножопых и узкоглазых (ведь даром, что ли, он вкалывает на шахте, значит, может высказаться). Пролетариат, ё-моё, как известно, гегемон, а гегемону рот не закроет никто. В Кривом Роге и вправду был сплошной интернационал.

После войны со всего Союза на восстановление шахт и металлургии отправляли зэков, со временем они становились химиками-поселенцами, а после – и жителями города. Фактически представители всех наций и народностей создавали лицо города. Многочисленные добровольцы (как мой дед), спасаясь от послевоенных неурядиц, массово повалили в Кривой Рог (ибо на этой земле с голода не помрешь, плюс высокие заработки). Так многонациональный контингент из России, Кавказа и Средней Азии притягивался туда сам собой. Кроме того, это юг Украины, и здесь издавна жили греки, болгары, цыгане.

В 70-е годы помощь Советского Союза странам социалистической ориентации увеличилась, поэтому горные профессии в местном горном институте получали африканцы и азиаты. Некоторые проходили стажировку в качестве горных инженеров или на металлургических предприятиях в должностях специалистов по выплавке стали. (Таким образом, местный пролетарий имел полную возможность излагать свое мнение относительно представителей разных наций, которые ежедневно

попадались ему на его нетрезвые глаза.)

Однажды зимой я забрел в парк на площади Артема. Передо мной открылся спортивный комплекс и стадион. Такой панорамы зимнего катка для любителей катания на коньках я никогда еще не видел. Сотни конькобежцев, хаотично двигаясь, чертя линии не только коньками, но и телами, являли для меня незнакомое действо, некий зимний театр в стиле арт-нуво. Людские голоса и скрежет коньков творили музыку зимы, подсвеченную прожекторами. Я стоял на возвышении, жадно поглощая действо. Там, в Базаре, на подмерзшей Джуринке, никто из моих ровесников не имел коньков. В лучшем случае «прошныривались» в сапогах или валенках, рискуя по неосторожности проломить тонкий лед и провалиться в полынью.

Из окна нашей квартиры, выходившего на боковую улицу, которая отделяла наш сталинский дом от частного сектора, по вечерам были видны шахты рудника им. Кирова. С приходом сумерек над ними зажигались красные огни. Огромные колеса с грубыми металлическими канатами вращались там беспрерывно. В нашем доме жили преимущественно шахтеры. Со временем я привык, что большинство мужчин и некоторые женщины, перебрасываясь приветствием «здрасте», оповещали друг друга и весь двор, кто в какую смену сегодня идет на шахту: в первую, во вторую или в ночную. Почти каждый из дворовых нашего дома знал про добычу руды, план шахтоуправления шахты им. Артема, им. Кирова и «Южной». У каждого из нас были респираторные маски, которые выдавались шахтерам, или шахтерские каски, или что-нибудь такое, что могло быть полезным для криворожской детворы, – бикфордов шнур, окатыши. Вспоминаю, как я выменял какую-то машинку на такой шнур у одного дворового пацана и, дождавшись случая, когда никого не было дома, поджег его. Он плохо разгорался, и я поднес конец поближе. В тот же момент меня ослепило до темноты в глазах. Я выбросил шипящий шнур, а он крутился на полу, оставляя шлейф едкого дыма. Я испугался до жути и какое-то время не мог прийти в себя, в глазах стояли большие сверкающие пятна. Я подумал, что ослеп. В чувство меня привела перепуганная мама, когда я валялся на полу.

С началом 70-х словарь моего поколения пополнился странным словом *джинсы*, в дополнение к *ниппельному мячу, гетрам, кедам, футболке, наркоте, химикам, хулиганству, микрорайону, пацанам, шахтам, рудникам, Саксагани* и *Ингульцу*.

Слово *джинсы* мы уже знали, но как они выглядят, было для всех загадкой. Нельзя сказать, что легкая промышленность страны развитого социализма никак не реагировала на слово

«джинсы». Но то, что она предлагала, сильно отличалось от того, что можно было увидеть в репортажах советских телекорреспондентов из Америки или Западной Европы. В тех репортажах камера время от времени отлавливала настоящие джинсы на молодых крепких ногах американских хиппи, французских студентов или западногерманских пацифистов. Джинсы принесли с собой и несколько сопутствующих слов, еще более непонятных и таких же таинственно-важных: Levi's, Wrangler, Lee. Поэтому, кроме разговоров о футболе, не менее сладкими были мечты о джинсах. Через какое-то время среди серых и темных криворожских улиц иногда флагами протеста стали мелькать настоящие сине-голубые джинсы на иностранцах, а впоследствии – и на крутых криворожцах.

У меня не было никакой перспективы относительно этого, хотя семья отчима в Польше и мелькала далеким огоньком спасения, но очень слабо. Когда же мне как-то купили жалкое подобие настоящих джинсов, я решил посоветоваться со старшими пацанами, которые уже носили подобные штаны с протертыми коленками. Кто-то сказал, что лучший способ добиться эффекта – взять битый кирпич, намочить штаны и тереть кирпичом, поливая время от времени потертые места холодной водой. Эффект гарантирован – *вот, смотри, как у меня, я бы и больше протер, но мамка заметила.*

Я набрал кирпича со щебнем в мешочек до прихода подходящего случая. Долго ждать не пришлось. Однажды, пожаловавшись на боли в животе, я остался дома (а родители с младшим братом, которого вырядили в шорты, ушли куда-то). Убедившись в собственной безопасности, я расстелил псевдоджинсы на полу, достал кирпич со щебнем, намочил нужные места и принялся их тереть. Я тер штаны до остервенения. После нескольких попыток я увидел, что вместе с краской исчезла не только сомнительная привлекательность товара, но на штанах появились лохматые дыры с торчащими по краям нитками. Мне захотелось плакать от безысходности, от предстоящих разговоров с родителями о штанах и в предчувствии бесконечных упреков в моей бестолковости.

– Так чем ты их тер? – спрашивал я своего наставника несколько дней спустя.

– Кирпичом. А что, не получилось?

– Нет.

– Зависит от материала. А что старики?

– Труба.

– Меня мамка неделю во двор гулять не пускала.

– Меня пускают.

– Ну тогда все путем.

Мне нравился осенний двор, когда жители нашего дома запасались на зиму разными солениями – солили арбузы, помидоры, капусту, яблоки. Приносили и привозили их, кто откуда мог. Запахи мятых помидоров и битых арбузов со стихийных базарчиков на улицах частного сектора Екатериновки наполняли все вокруг – здания, двор и соседние улицы.

Перед подвалами стояли бочки, заносили мешки с картофелем, складывались закатанные банки с помидорами, баклажанами, салатами.

Люди готовились к зиме.

3.

Школа, в которую я начал ходить в третий класс, была с украинским языком обучения. Пристроилась она на тихой улице, которая начиналась от площади Артема.

На площади, как водится, стоял большой памятник Артему – местному революционеру и, кажется, герою гражданской войны. А за Артемом – надпись на Доме культуры Саксаганского района: «Искусство принадлежит народу» (памятник, как образец искусства, и стоял здесь для того, чтобы народ мог смотреть на него ежедневно).

Основной контингент школы состоял из детей шахтеров и разнорабочих, иногда горных инженеров или учителей. Самым жутким местом в той школе был уличный туалет, расположенный рядом со спортплощадкой, где проводились уроки физкультуры, игры в футбол и изредка – кросс.

За туалетом собирались старшеклассники, чтобы покурить или для выяснения отношений. Оттуда всегда ужасно несло хлоркой. Почему-то криворожская шпана любила шастать задними дворами к закоулкам, спрятанным от посторонних взглядов. Именно за туалетом они и встречались с теми, кто ни в какие школы не ходил. Это был стихийно организованный криминалитет – подростковые шайки, которые пополнялись хлопцами из неблагополучных семей (преимущественно сиротами, детьми матерей-одиночек, теми, у кого кто-то из родителей сидел, или беглецами из домов-интернатов). Они промышляли разными способами: воровали, отбирали деньги у тех, кто послабее и младше их, играли в карты. Иногда общались с «химиками», у которых набирались разнообразного

криминального опыта. Как известно, еще до 50-х страна, в которой мы жили, была сплошным «лагерем», поэтому криминальная психология больших промышленных городов была вполне жизнеспособной. Чаще всех в тех местах появлялся некий жестокий и отчаянный пацан О., который вследствие небрежного обращения со взрывчаткой, украденной в карьере, имел повреждения пальцев рук и лица. Его биография начиналась в нашей школе, и им вскоре заинтересовалась детская комната милиции, в стенах которой он и встретил свое совершеннолетие. Однако О., по сравнению с тремя молодыми бандитами, которые держали в страхе наш микрорайон, был попросту пацаном и слабаком. Те трое поставили свое криминальное ремесло на взрослую ногу. Они не просто вымогали деньги или отбирали вещи – они были заняты серьезным криминалом: наркотики, грабеж магазинов, кражи взрывчатки с шахт и карьеров. Для развлечения приходили к туалету, чтобы рассказать о своих «геройствах» и поиздеваться над нами, шпаной, малолетками, которые, несмотря на явный страх, все-таки ими восторгались – за отвагу и взрослость, за их пусть и недозволенное, криминальное, но все-таки ощущение свободы. Иногда они вершили самосуды, поскольку кто-нибудь более или менее приближенный к ним мог им пожаловаться на что-нибудь.

В этот раз Орел, Шкет и Рыба появились неожиданно, когда заканчивался урок физкультуры. Как правило, минут за десять до конца урока учитель физкультуры собирал баскетбольные и волейбольные мячи, просил нескольких учениц помочь ему – и нес в школу. Футбольные мячи школьным инвентарем не были: школьные исчезали сразу, поэтому мячи кто-то приносил свои. Урок физкультуры всегда был последним, после урока в школьную форму уже никто не переодевался, а шлепали домой в спортивной – трусы, футболка с номером, кеды и гетры.

Орел кликнул вратаря, и когда тот увидел, кто его зовет, побледнел.

– Ка-азел! Давай сюда!

Вратарь, спешно покидая футбольные ворота, успел предупредить защитников. Игра мгновенно остановилась. Запыхавшиеся футболисты стали собираться по домам.

Рыба вытянул из кармана рогатку и несколько камней.

Шкет уже поблескивал финкой, а Орел, затянувшись сигареткой и пустив дым в лицо вратарю, процедил сквозь зубы:

– Слышь, ка-азел! Приведи Жеку!

Жека был самым сильным в классе, и от него всем перепадало. Не у всех он вызывал симпатии, но мы поняли, что на Жеку кто-то нажаловался и его ждет расправа.

Вратарь послушно поплелся к Жеке и, не доходя несколько шагов, произнес глухим голосом:

– Жек, там… ну… этот… – и показал, кто и где его ждет.

Жека вытер футболкой пот с лица, взял портфель и двинул к троице, поджидавшей свою жертву.

– А почему не убег? – помахивая перед Жекой финкой, ехидно спрашивает Шкет.

Рыба заходит ему за спину, а Орел молча покуривает свою сигаретку. Потом сплевывает окурок, который перелетает через Жекино плечо.

– Ну что, хорек? – деловито спрашивает Орел.

– А чё нада? – почти без боязни спрашивает Жека.

– Ты, падла, у Кольки мопед стырил?

– Так он проиграл мне его в карты!

– Ко-о-оль! – кричит Орел.

К ним тотчас подбегает белобрысый веснушчатый Колька, который живет без отца с матерью и сестрой. У его сестры (по его рассказам) подночевывает один клиент, который недавно вышел на волю и хочет устроить личную жизнь. Колькина сестра ему в этом способствует. А мать все время устраивает скандалы, чтобы они расписались. Колька пожаловался на Жеку новому «родственнику», но тот, чтобы преждевременно не светиться перед ментами, решил договориться с малолетками. Вот Орел, Шкет и Рыба теперь с этим и разбираются.

– Ко-о-оль, – тянет лениво Орел, – этот хорек говорит, что ты мопед ему в карты проиграл.

– Да, в карты я проиграл деньги и должен ему. Прошлой весной мы вместе ездили на рыбалку, стырили удочки и леску у его соседа. Поехали на моем мопеде, еще на Екатериновке от ментов тикали. После рыбалки Жека предложил поиграть в буру. У меня в карманах уже было пусто, я и заложил мопед.

Орел чешет за ухом мизинцем с удлиненным (до полутора сантиметров) ногтем.

– Короче, Жека: мопед надо вернуть.

– Я мопед продал.

– Заберешь и вернешь. Понял?

– Как я заберу? Я того пацана всего раза два встречал, он с 95-го квартала или из Соцгорода.

Перед лицом Жеки мгновенно блеснуло лезвие финки.

Орел, расстегнув летнюю курточку, достает из широкого, специально пришитого внутреннего кармана обрез.

– Убью, сука! Мопед завтра у Коляна! Все!

– Отсосешь, – спокойно отвечает Жека, получает обрезом

резкий удар по голове и падает лицом в гравий беговой дорожки.

Рыба и Шкет тянут бесчувственного Жеку за туалет.

Орел поднимает вверх обрез и кричит:

– Все домой! Перестреляю, суки!

Жека не приходил в школу две недели. Все это время работники Детской комнаты милиции тягали нас на допросы, так и не выяснив, ни кто бил Жеку, ни сколько их было, ни их имен.

Одна из учительниц была гермафродиткой. Она старательно, как мужик, брила свои щеки, о ней ходили разные сплетни, вроде она один день женщина, а другой – мужчина. Я в это не верил. Мне казалось, что, если бы она хоть день была мужчиной, то должна была бы явиться в школу в мужском костюме.

Учительница зоологии, которая мечтала только о пенсии, всегда объясняя нам что-то о скелетах рыб или о строении млекопитающих, срывалась на истерику, когда кто-то не так себя вел. Она брала в руки указку и била ею по столу, выкрикивая весь свой словарный запас: *скотина! нахалюга! враг народа!* Выражение *враг народа* я понял позднее и думаю, что она его вынесла из своего сталинского детства. В то время «враги народа» случались повсюду.

Остальные учителя не запомнились ничем особенным, так как, возможно, по сути были людьми гуманными, хотя и угнетенными – годами педагогического труда.

На уроках и переменах, когда получалось, мы только тем и занимались, что играли в фантики. Для этого мы запасались шоколадными обертками с картинкой «Аленки» или «Чайки», сгибая их соответствующим образом, и устраивали баталии на старых подоконниках. Необходим был партнер – скажем, оба клали на подоконник свои фантики, сложенной стороной вверх, и нужно было ударить ладонью так, чтобы оба фантика подбросило в воздух от твоего удара и двумя «Аленками» они посмотрели на тебя. Если это удавалось, то ты выигрывал и забирал «Аленку» соперника себе. Хлопки детских ладоней наполняли школу, а учителя за эту игру снижали оценку по поведению, приводили для беседы в учительскую или к самому директору школы, но ничего не помогало. Мы продолжали собирать шоколадные обертки и стучали по подоконникам, как ненормальные.

Другой моей страстью было собирание фотографий с иностранными музыкальными группами. Дельцы, которые приторговывали этим товаром, часто подходили к нашей школе и, поджидая нас, потенциальных клиентов, крутились или возле туалетов, или за невысоким заборчиком перед школой. На фотографиях, как правило, стояли патлатые рок-музыканты в

узких темных штанах с гитарами на фоне ударных инструментов. Качество снимков всегда оставляло желать лучшего – все это бесконечно переснималось из привозных заграничных журналов студентами или стажерами из стран, ставших на путь социализма, потом размножалось и продавалось. Среди криворожских подростков считалось необыкновенно престижным иметь несколько десятков таких фотографий, хотя и стоили они недешево. Все зависело от размера фоток и кто на них был изображен. Обычно фотка стоила 50 копеек, а большая – рубль. Это были немалые деньги, и поскольку школьные обеды покупались на месяц вперед, то карманных денег у меня практически не было. Поэтому нужно было их доставать – то ли припрятать сдачу за покупку в магазине, то ли выиграть в лотерею «Спринт». Билеты этой лотереи вместе с зелеными томами Леонида Ильича Брежнева «Ленинским курсом» продавались повсюду в киосках «Союзпечати». Я прятал эти фотографии от родителей, потому что знал: если они их найдут, то запоют свою вечную песню, мол, у других дети собирают что-то полезное – марки или значки, а я – черт знает что. Со временем у меня появилось много этих фотографий, и я мог выменивать их на другие, понравившиеся мне.

Всматриваясь в эти фотографии с патлатыми музыкантами, микрофонами, гитарами и ударными инструментами, я старался услышать их музыку, – но она не звучала.

4.

Мама преподавала в двух школах музыку и тягала с собой баян и ноты.

Школы были расположены в разных концах города. Мама работала целыми днями по нескольку часов в одной и другой школе. Пока мы жили в комнате деда, ездить по школам было относительно недалеко. Потом мы получили трехкомнатную квартиру хрущевского типа и переехали в новый микрорайон на улицу Тынка.

Повсюду шло строительство, и сталинские здания на площади Артема, которые творили какую-то архитектурную идею и мне в общем-то нравились, сменились необжитостью новых районов. Строители усугубляли ее кучами стройматериалов, плохо уложенным асфальтом и недоукомплектованными детскими площадками.

Сперва я сидел на кухне нашей новой квартиры и смотрел с четвертого этажа на спортплощадку и футбольные игры. Эта

площадка была огорожена полутораметровой сеткой, и от рассыпанного по ней мелкого щебня во время игры поднимались столбы пыли.

Недостатки такой разработки проектировщиков были видны сразу – когда падаешь на такое поле, разбиваешь локти и колени, и раны потом долго заживают.

С некоторого времени меня и большинство моих ровесников уже стал притягивать футбол. Мы играли с ранней весны и до поздней осени поделенной дворовой командой или двор на двор.

Нашими ближайшими соседями были криворожский композитор и известный криворожский футболист. Мне, конечно, импонировал футболист, но мои родители дружили с композитором. Мы бывали на днях рождения его детей, а они – на наших. Мама говорила, что композитор получает за свои песни немалые деньги, и переводы ему присылают из Киева. Как учитель музыки она была для меня авторитетом.

Однажды, по просьбе моей мамы, композитор оставил у нас свои ноты, и я прочел под ними несколько строф стихотворения о Ленине.

Мне больше нравился футболист команды «Кривбасс», особенно его новенькая машина «Лада» и спортивная форма, которую невозможно было купить ни в каком магазине. Поэтому я выцыганил у мамы деньги на гетры, к обыкновенным трусам она пришила по две белые полоски, а какая-то футболка у меня была. С этим футбольным обмундированием я решил попытать счастья и записаться в какую-нибудь футбольную команду ДЮСШ (детской юношеской спортивной школы). Однако сколько я ни ходил на всякие просмотры, никто из детских футбольных тренеров меня никуда не принимал.

Тогда я записался на плавание и вместе с моим одноклассником Колей Кащенко начал посещать бассейн – с резиновой шапочкой, пластмассовыми очками и запасными плавками в сумке. Колю заподозрили в краже и выгнали. Я научился плавать, но с мечтой о футболе не расставался.

5.

Так сложилось, что вслед за моим дедом на шахты Криворожья поехали еще несколько человек. Через какое-то время дедова сестра с мужем и еще несколько базарских семей стали криворожцами.

Дед рассказывал, что, как только они приехали в Кривой Рог и оформились на работу на рудник им. Кирова, всем выдали

респираторные маски, шахтерские принадлежности и спустили в забой.

Вначале необходимо было перебороть психологический стресс работы под землей. Кто-то из односельчан деда, спустившись вниз в клети, так и простоял всю смену без движения семь часов, а поднявшись на поверхность, побежал в железнодорожные кассы и купил обратный билет. Другой односельчанин после нескольких месяцев работы на шахте что-то не то сказал в общежитии про советскую власть, и прямо со смены его забрали в КПЗ, после чего он получил трехлетний срок.

У деда был приятель, с которым они вместе работали на шахте. Он был переселенцем с Лемковщины и говорил с сильным акцентом. Его ударения сбивали с толку любого украинца, не говоря уже о русских. Дед часто выступал в роли переводчика, так как русский выучил во время войны. Так продолжалось до выхода деда на пенсию. Больше всего жалел об этом тот самый лемко, который своим выговором доводил до приступов нервного смеха свое начальство. Он сохранил свой акцент и через двадцать лет жизни в Кривом Роге.

Все бывшие односельчане жили возле площади Артема. Со временем все они получили квартиры, стали ходить друг к другу в гости, отмечать какие-то праздники и вживаться в местную жизнь. Дед, который отказался от отдельной трехкомнатной квартиры, уступив ее, продолжал жить в одной комнате. Эта комната впоследствии станет нашей, соседи деда тоже станут нашими, и борьба деда за лучший угол в кухне, очередь в туалет и ванную тоже перейдут к нам. Вместе с комнатой мы обретем право делить сарай на три части, дружить с Тамарой и Петром и вести непримиримую войну с матерью Тамары.

6.

Кривой Рог – это лесостепная или даже степная зона, то есть пейзаж за городом выглядит, как типичный украинский юг. Сам город, при всей его нетипичности и индустриальной горячке застройки, в самой старой своей части сберег черты провинции Российской империи. Со временем советская индустриализация, продвигаясь рудоносной жилой с севера на юг, застроила простор Кривого Рога кварталами, поселками, микрорайонами. Перемежая частные застройки с целыми кварталами пяти- и девятиэтажных зданий, творя почти безликие символы на фоне сторожевых башен старых и новых шахт, труб металлургических заводов, разрытых ран открытых карьеров, заполняя выгоревшую

траву лета и теплые зимы грязной красной краской руды, грязным снегом, грязными дождями и водой реки Саксагань, целые десятилетия формировали промышленный пейзаж города, целиком уничтожив природный. И не только на поверхности, но и под землей, выбрав руду и ничем не заполнив подземные лабиринты, кроме табличек с информацией о том, что ходить по этим посадкам и балкам опасно.

В центре города я встречал несчастного старика, который крутился возле общепитовских пельменных. Говорили, что он служил у Махно. Было ли то или что-то другое правдой, послужившей причиной такой его старости, – неизвестно. В одной из пельменных столы были в рост человека. Он ждал, пока кто-нибудь оставит несколько пельменей или даже масляную поливку, потом быстро шел к тарелке, вынимал из кармана припасенный заранее хлеб и, вымазывая тарелку, наслаждался бесплатной едой. Часто от него несло дешевым вином, засохшие следы которого были видны возле рта, несло мочой. Как только появлялась уборщица, старик мигом убирался из помещения.

7.

Кривой Рог для меня всегда был местом прощаний, даже когда я к нему привык, и потом, когда охладел, и даже когда возненавидел ненавистью местного жителя.

Уже на улице Мелешкина, в большом девятиэтажном доме с центральным и черными ходами, я стал настоящей футбольной знаменитостью двора со всеми причитающимися этому почетному званию привилегиями перед младшими и уважением старших пацанов. По телевидению я смотрел только футбольные матчи, покупал футбольные программки, ездил болеть за «Кривбасс» на стадион «Металлург» и мечтал о большом футболе (на самом деле удовлетворяясь пустырем напротив войсковой части). Пустырь оканчивался стихийными огородами, которые предприимчивые жители нашего микрорайона засаживали картофелем и овощами. Картошку осенью мы пекли на огне и принесенной из дома солью посыпали ее, треснутую надвое, ели желто-белую мякоть с черным пеплом, который оставался на руках и лицах. За огородами начинались балки и урочища, которые спускались к реке Саксагань. Сама река и ее берега своим цветом напоминали мне раствор марганца, который разводила для нас мама при признаках отравления. В реке, к удивлению, водилась мелкая рыбешка с красными плавниками и тысячи

лягушачьих личинок. Местным развлечением среди моих ровесников было ловить их и потом, сидя на берегу, отрезать им головы лезвиями «Ленинград» или «Нева».

Со временем наши футбольные матчи в перерывах заполнялись эротическими и порнографическими анекдотами и историями про драки между районами, про ментов, которые те драки разгоняли, про наркоманов и дозы, про тюремную жизнь и тюремные законы, рассказанные дядей Колей, чьи наколки указывали на его нелегкий жизненный путь.

У одного из пацанов дядя был моряком дальнего плавания, жил в Одессе. Как-то в подарок он привез ему морской бинокль. Этот бинокль пацан выносил во двор с разрешения родителей, а иногда и без. Тогда мы покидали пустырь и шли к реке. Там на берегу мы отыскивали тех, за кем интересно было подглядывать, прежде всего нас интересовал секс. Владелец бинокля, став на колени, как командарм Чапаев перед боем, высматривал жертву и, говоря «у, бля!», заинтересовывал остальных. Каждый из нас, вглядываясь в даль, пытался представить себе, что там можно было вэтот момент увидеть. Все в один голос начинали клянчить бинокль, толкались и выхватывали друг у друга. Когда очередь дошла до меня, я с жадностью путника в пустыне увидел, как целуется, оголяя свои тела, двадцатилетняя парочка. Позже, прочитав у Марка Хласко «Первый шаг в тучах», я вспомнил наши сеансы с биноклем и усмехнулся – похожие и отдаленные во времени истории…

Мы гоняли мяч во дворе возле большого электротрансформатора. Там стояли столы и беседки, где постоянно «забивали козла» пролетариат и пенсионеры. Летом мужчины сидели в белых майках, черных штанах и «вьетнамках» на босу ногу, а кое-кто – в зеленых офицерских рубахах, популярных среди трудящихся. Может, кому-то они напоминали незабываемые годы службы в Советской армии. Клубы сигаретного дыма и мата висели над этими столами, и когда кто-то забивал «рыбу», то гремел своей клешней так, что впечатанные в столы пластмассовые прямоугольники шарахались и подскакивали от шахтерского кулака.

Один пацан, который жил с матерью, работавшей уборщицей в столовой, занимался достаточно прибыльным делом: охотился в балках и на пустырях за сусликами. Их я впервые и увидел мертвыми, когда он сносил их в подвал, где ножом сдирал с них шкурки. Разделав свои жертвы, он выбрасывал тела в мусор. Шкурки сушил, выделывал по всем правилам и потом продавал на базаре или делал из них ремешки для часов или всякие

украшения. Он никогда не играл с нами в футбол, но лишь одиноко сидел на скамейке и наблюдал. Хвастался, что занимается в училище, но в это было трудно поверить, ибо он все время просиживал возле подъезда или бродил по пустырям, которые кое-где были обсажены масличными и абрикосовыми деревьями, и выслеживал норы сусликов. Серые верткие зверьки перископами выглядывали из нор, даже не подозревая, что их ожидает через минуту-другую. Я никогда не слышал от него, как он их ловил. Этими своими секретами он не делился, так же как и секретами выделки шкурок и как и кому он их сбывал. От его рук и одежды всегда шел запах мертвых сусликов.

Еще одной знаменитостью двора был двадцатипятилетний мужчина с фигурой атлета, о котором говорили, что он водится с цыганами, живет с дочкой цыганского барона и что они обворовывают простой криворожский люд. Он и вправду не работал на шахте, зачем-то каждый день ездил в центр и вел себя, как настоящий урка.

Большинство наших соседей переехали в этот дом на Мелешкина из района под названием Зеленый. Взрослые и их дети вспоминали про тот Зеленый с каким-то необычным трепетом. Они почти все были знакомы друг с другом и образовали свой «зеленый клан»: мужики, сидя за столом для домино, женщины со своими разговорами о лифчиках и трусах, а их дети во время драк и дворовых разборок заступались один за другого, как будто были ближайшими родственниками. Зеленый в то время представлялся мне сплошным двухэтажным бараком, в который во время войны заселили семьи рабочих. Потом у них там родились дети, потом – внуки, и Зеленый стал их частной собственностью, территорией, которую они не хотели отдавать никому. Даже покинув, они забрали ее с собой на новое место.

8.

Мама, оставив те две школы, параллельно с уроками музыки устроилась воспитателем в школе-интернате. Школа находилась почти рядом, в двух остановках езды. Она подолгу задерживалась на работе. Иногда ездила по области и выискивала беглых интернатовцев.

Понятно, что публика в таких заведениях отличалась широтой натуры и интересов и состояла из детей, родители которых были лишены родительских прав, или из тех, кого

родители сдали туда сами, так как в силу различных обстоятельств не могли их содержать. Случаев таких было множество. Мама всегда приносила из интерната новые истории. В основном это были рассказы про нарушителей дисциплины или почти детективные истории о поисках беглецов, что происходило едва ли не каждый месяц.

Почти каждую неделю мы куда-то выбирались: то на лодочную станцию, то в центральный парк. Или ехали в школу к отчиму, или в гости на Северный горно-обогатительный комбинат – СевГОК. Наибольшим мучением для меня было одевание в гольфы и шорты. Эту летнюю одежду я возненавидел, ведь, выходя из подъезда, можно было встретить кого-то из ровесников, которые смотрели на меня с открытыми ртами, как на чудо природы. Ненавидел я и белую сорочку с жабо, которую меня заставляли надевать по праздникам или на пионерские линейки. Ненавидел танцы в местном Доме культуры, на которые нас всем классом записала классная руководительница. Там мы занимались на втором этаже в зале с паркетом и огромными зеркалами на стенах. На танцах меня, к счастью, не записали в основной состав по причине того, что я и еще несколько ребят должны были состоять во вспомогательной группе. Все, кто попал в такой кружок художественной самодеятельности, скрывали перед параллельными классами и в своих дворах, что мы занимаемся в танцевальном кружке. Крутым криворожским пацанам полагалось играть в футбол, участвовать в драках, стрелять по фонарям и окнам, обрезать трубки в телефонах-автоматах, извлекать из них магниты, шататься по карьерам и балкам, отнимать деньги, воровать в магазинах то, что «плохо лежит», состоять на учете в детской комнате милиции и готовить себя к зоне – все остальное было пустой тратой времени.

У нас дома мамин баян был предметом, который близко подбирался к моей независимости. Поскольку в школе нотную грамоту усвоить я не мог, то очень боялся, что когда-нибудь мама возьмет баян и заставит меня учиться на нем играть.

9.

Футбол был единственным, чем я тогда жил. Я не читал книг по внеклассному чтению, неохотно посещал танцевальный кружок, отбросил какие бы то ни было мысли о музыке (поскольку никак не мог выучить ноты, их расположение и комбинации). Маму волновало мое пренебрежение к книгам, и

она вовсе не поддерживала мои футбольные пристрастия. Отчим вообще все это презирал и часто повторял: «У отца было три сына – двое умных и один футболист».

Почему именно футбол? Ведь эта игра давала мне возможность ускользать из дому, и хотя я часто возвращался с побитыми коленками, или синяками, или того хуже – в рваных штанах или сорочках. И хотя я постоянно слышал нравоучения моих родителей относительно «правильных» советских учащихся (оба они были учителями, к чему я со временем привык), футбол был для меня свободой, возможностью (хоть и ненадолго) быть самим собой.

Поскольку каждая игра имеет свою драматургию, в футболе мне нравилось все – деление на команды, передачи мяча (на покупку которого мы сбрасывались всем двором). Мяч должен быть обязательно кожаным и надуваться при помощи ниппеля. Почему-то от мяча многое зависело – не только уровень игры, но и степень осознания себя футболистами. И если форму мы надевали исключительно на дворовые чемпионаты, то и мяч должен был быть кожаным. Настоящим.

На нашем пустыре, рядом с воинской частью, с ранней весны и до поздней осени мы без отдыха играли в футбол. На пустыре вначале планировалось строительство какого-то комбината или фабрики (даже позабивали уже сваи), но со временем строительство остановили, и строительную технику с вагончиком прораба куда-то перевели. Пустырь близко подступал к воинской части и оканчивался рядами абрикосовых деревьев и маслин. Посадка весной покрывалась многотравьем, а летом выгорала под жарким криворожским солнцем.

Солдаты часто прерывали нашу игру выкриками: «Малый, сгоняй в магазин!» Они перебрасывали деньги через бетонную стену и просили купить сигареты, еду, иногда пиво или водку. Когда кто-то из футболистов бежал в ближайший магазин, игра останавливалась.

Иногда через ограждение перепрыгивал солдат и направлялся за самогоном или «на блядки».

Наш футбол прекращался с первыми заморозками, и тогда мы переключались на хоккей возле трансформаторной будки.

Пустырь ждал весны.

Мы – тоже…

2010

Вруби свою музыку громче, если сможешь…

Тернополь

1. What can I do?

«What can I do», – пели «Smokie». «Водку найду», – подпевала им шпана 80-х годов, переведя фразу популярной песни на более понятный язык. Песня пьянила, а Элис, которая жила за дверью напротив и живет там по сей день, и Кэрол, и мексиканская девушка, и бухта в Сан-Франциско теперь ближе. Но мурашки воспоминаний, растревожившие твою память, и иголки эмоций, которые прикрепили ее, и этот дождь, на который ты можешь смотреть вечно и не насытиться им, – уже не скрывают от тебя главных слов. Пройдет каких-то тридцать лет, и эту английскую группу и ее хиты, которые звучали на всех дискотеках, будет помнить только твое поколение. Теперь коллекцию этих песен можешь запаковать в компьютерный файл *My music*, чтобы потом слушать их вместе с нью-йоркским дождем.

А кто будет помнить твое поколение?

И почему этот дождь – нью-йоркский?

И упаковывая сумки перед выездом в Нью-Йорк, не забыл ли ты что-то такое, за чем каждый раз возвращаешься и никак не можешь найти?

Сотни фотографий, которые проявляли в домашних лабораториях в темноте, при красном свете специальной лампы, с проявителями и закрепителями, вымывая лица и фигуры, как золото в рудниках. Затем, подвешенные на шнурке, как белье во дворе дома, эти фото сушили – и они становились временем. Ты позасовывал их в бумажные пачки, принесенные из ближайшего гастронома, и они пожелтели, как будто кто-то облил их медом.

Кто помнит Шнейдера с Киевской? Француза? Слепого с Фабричной, твоего одноклассника, который стал зэком и которого найдут мертвым на улице Пушкина у девятиэтажного дома?

Как у нас было принято? Ну, конечно, ценились бицепсы и сильный удар, фирменные джинсы, взрослость измеряли выкуренными сигаретами на школьных переменах, алкоголем,

слухами, что Ленка из параллельного класса сделала аборт, знанием, что триппер лечат пенициллином. А еще – кто Шнейдеру должен деньги и за что, а после дискотеки в школе все равно будут разборки и милиция приедет слишком поздно, и что физкультурник – чмо и в спортзале на матах мнет самых зрелых девок. А классная требует конспект первоисточника классика марксизма-ленинизма. И хоть ты законспектировал «Материализм и эмпириокритицизм», она все равно прицепилась: перечислить поименно список всех членов Политбюро (как Иоанново «Откровение»!).

Что делать, когда тебе шестнадцать? В конце концов, что ты можешь?

Ты жил между школой, остановкой Киевской, киоском, телефонными будками и гастрономом. А еще – между мамой и отчимом, их комнатой и нашей с братом, между книгами, сдачей бутылок в пункты приема и выискиванием радиоволн с запрещенными голосами, между ранним вставанием и выстаиванием очереди в гастрономе «Киев» за маслом, хождением вместе с мамой в магазины и сокрытием нескольких копеек сдачи, между слушанием кассетного магнитофона «Весна» и мечтой о бобинном «Маяке-205», дискотеками и ценами на джинсы, между фарцовщиками и маршрутами поляков, которые едут на отдых через Украину в Болгарию, распродавая жвачки, джинсы, куртки, рубашки, свитера, – между жизнью и смертью.

Это вступление во взрослую жизнь с сигаретой и распитой на двоих бутылкой дешевого вина. Эта окраина города, которую облюбовала шпана, – между новостройками, арматурой, шлакоблоками, детскими садами, школами, дискотеками. И песней со словами: «Что мне делать?» – и с этой музыкой наше поколение будет вынуждено покинуть этот город, чтобы не присваивать его только себе.

Кажется, ничего не изменилось: за окном осень, ты сидишь в кафе, которое переименовали после твоего отъезда из этого города. Сменился собственник, затем его сменил другой. От того, что владельцы периодически менялись, менялось все: качество кофе, ассортимент алкогольных напитков, официантки, посетители. В Нью-Йорке ты нашел замену кафешкам, которые так любил в юности. Их заменил *Starbucks*: кофе с молоком, чай с желтым сахаром из тростника, джаз с кантри, стол с лэптопом.

Осень, какой ты ее запомнил за несколько дней до отъезда в США, была теплая, но дождливая.

Теперь сухой осенний день, как будто фотография из Интернета, стоял перед твоими глазами, как наполненные

стопочки с водкой, в которых отражались лица и руки твоих приятелей, приглашенных «на кофе».

На противоположной стороне улицы, минуя нашу застекленную компанию, проходит женщина в яркой одежде и шляпке, которая давно вышла из моды, закутанная в длинный шарф, в белых туфлях на высоких каблуках, которые контрастируют с цветовой гаммой ее одежды. Так привлекают внимание. Размалеванная, как неумелый клоун-недоучка в цирке-шапито, она всегда отличалась этим от других клиентов местной психушки, то и дело прогуливающихся в центре. Она была из высшего сословия. Ее появление на безлюдной улице ты воспринимаешь с большой благодарностью, потому что она единственная, кто отвлекает тебя от пустых разговоров твоих бывших корефанов и кто, как механическая музыкальная шкатулка, скрывает в себе музыку этого города, которую ты успел забыть.

Почему – музыку, а не что-то другое?

Почему не уцелели остатки архитектуры довоенного Тернополя, кое-какие – в центре города, на Новом Свете, с зарисованными пилястрами и облезлыми от невостребованности атлантами, невосстановленная улица Перля, новые микрорайоны 80-х, рабочие общежития комбайнового завода и хлопчатобумажного комбината?

Тернополь потерял свой шарм вследствие тотальной советской бомбардировки в 1944 году. Восстал из пепла – но другим. Это другая архитектура, новые названия улиц, отстроенный центр, тернопольское озеро. Разделение города на Дружбу, БАМ, Канаду и Аляску размагнитили хоть сколько-нибудь притягательную силу между центром и новыми районами города. Этот обозначенный 1939 годом смертоносный разрыв между бывшим городом и его историей и городом современным стал кесаревым сечением, рубцом памяти, который никак не заживает.

* * *

1939 год в Тернополе стал последним годом польского государства.

Из тревожных вестей в прессе и слухов, которые распространялись по городу, возникало ощущение неуверенности, и война, как что-то неизбежное, нависла над августом.

Могло ли это как-то повлиять на привычную городскую жизнь?

Странно, все осталось как бы прежним.

Люди посещали кофейни; торговали товаром – каждый своим, в магазине Перльмана и в пошивочном салоне Леона Славинского; Пилсудский крепко держался за стремена коня на высоком постаменте; в еврейских магазинах, как обычно с криками и спорами, предлагали новый товар; в пекарнях выпекали хлеб; на рынок съезжались крестьяне; гимназисты ходили в классы; в ешивах изучали Тору; польская, украинская и еврейская молодежь закаляла дух в молодежных полумилитарных организациях; в костелах, церквях и синагогах правили службу; за христианскими праздниками шли еврейские.

Город, который доживал последние мирные месяцы, даже в страшном предсказании местной Кассандры не мог бы представить, как изменится все в течение нескольких ближайших лет. И что ожидает этих торговцев и покупателей, гимназистов, чиновников, жандармов, проституток, городских злодеев в зависимости не только от них самих, а и от их национальности. И скольким жителям не удастся пережить эти ближайшие пять-шесть лет вследствие сначала пыток НКВД, а потом – тотального истребления евреев, а еще позже – подпольных действий ОУН и Армии Крайовой. В городе, где по одним и тем же улицам и площадям купно ходили украинцы, евреи и поляки, отличие между ними ранее заключалось разве что в том, что поляки жили в своем государстве, евреи – в своих книгах и молитвах, а украинцы – на своей земле.

Но, например, в июле (пусть это будет июль) улицы еще довоенного Тернополя с польскими названиями (в 1939-м их переименуют, а перед окончанием войны, в 1944 году, они попросту исчезнут) ведут меня по городу, наполненному людьми и магазинами. Но этот июль вот-вот закончится. Закончится и довоенный Тернополь – его сравняют с землей, и только некоторые стены домов и завалы из кирпича и камней будут напоминать о городе, который, потеряв память, как библейская Рахиль, будет оплакивать своих детей. Уцелевшими улицами весенний ветер развеет не только пепел сожженных еврейских книг, но и прах сыновей и дочерей еврейского народа, а в белых облаках будут плыть души замученных украинцев и расстрелянных поляков.

Но в июле 1939-го в такие пророчества еще не верилось – и именно потому, что зацвели липы, и их густой аромат шлейфом окутал всю улицу Мицкевича, заполнил улицу Третьего Мая, где проезжают брички, полетел по пассажу Адлера вместе с

гимназистами, которые с мая на каникулах. Сфотографировался возле памятника Пилсудскому, напротив Доминиканского костела, заглянул в старую синагогу в субботу именно тогда, когда на вечернюю молитву тянутся иудеи, позакрывав свои лавки, пекарни, сапожные и пошивочные мастерские, а их сопровождают взгляды поляков и украинцев, читающих в своих газетах о погромах в Германии.

Старую синагогу сожгут вместе с несколькими сотнями евреев в 1941-м, разрушат полностью в 1944-м и разберут на мощение дорог и кладку домов.

Зачем синагоги, когда нет евреев?

В сентябре 1939 года Красная армия поразвешивает по городу свои призывы и под тем предлогом, что кто-то якобы стрелял из Костельной башни, сожжет Доминиканский костел (не без помощи некоторых местных евреев); маршала Пилсудского танком стянут с постамента, а украинцев призовут уничтожать польских панов и подпанков и выдавать польских офицеров и чиновников. Большинство здешних евреев встретили приход красных сдержанно, хоть среди них и были сторонники новой власти, особенно те, кто верил в коммунизм. Но борьба с буржуазией, национализация собственности, отнятия помещений и креденсов, ликвидация школы с обучением на идише не способствовали приверженности советам. Но евреев тревожили вести из Германии и уже захваченной немцами Польши. Началась украинизация и охота НКВД на украинских патриотов, которых арестовывали и кидали за решетку: польская полиция в спешке бросила на произвол судьбы списки членов ОУН, «Просвиты», Пласта, «Сокола», Союза украинок, а еще адвокатов, врачей, учителей – всех, кто представлял угрозу польской государственности. Советам оставалось только перевести эти списки с польского на русский – и начать охоту…

Восточную Галичину присоединили к УССР, поэтому Тернополь вдруг стал украинским городом. Где-то с 1940-го года сюда начали прибиваться еврейские беженцы из Польши; некоторые, не задерживаясь надолго, направлялись дальше в глубь Советского Союза.

Портреты Сталина и Ворошилова украшали фасады домов в центре, красноармейские патрули охраняли покой новых граждан Советского Союза. В селах организовывали колхозы, а в переполненных тюрьмах Тернополя и Чорткова, предотвращая сопротивление, расправлялись с галицкой интеллигенцией.

2 июля 1941 года немецкие части вошли в город. Была открыта тюрьма, в которой нашли тела жертв НКВД. Больше недели, с 4-го до до 11 июля, длился еврейский погром. На город

опустились сумерки – и Рахиль снова рыдала по своим детям, а город надолго оглох от выстрелов и криков и вышел из оцепенения, когда евреев согнали в гетто, а остальным запретили сочувствовать им и помогать. За невыполнение – расстрел.

Улицы, которые стали рубежом тернопольского гетто, замыкали пространство евреев. Именно за ними подстерегала смертельная опасность, и именно они стали границей, которая разделила этот город. Площадь Казимежа, улица Рейтен, улица Перля, Рынок, Поле, улицы Львовская, Подольская, Старошкольная, Руська, Малый рынок, улица барона Гирша…

В декабре 1941 года владелец пекарни Шварц из окна своего дома в тернопольском гетто смотрел на пустую улицу, засыпанную снегом.

Окна его квартиры выходили на улицу Перля. Он забил их досками (так было приказано), а теперь стоял возле одного из этих окон и смотрел в щель, вылавливая в тонкой полоске света другую жизнь. Сквозь щель Шварц разглядел нескольких прохожих и широкие крестьянские сани, вымощенные соломой и застеленные домотканым рядном. Лошадь, засовывая морду в торбу, доедала сечку и выдыхала тепло в морозный воздух. Шварц узнал хозяина саней – это был Михаил из Стигниковец (до войны он снабжал его пекарню мукой с мельницы). Шварцу захотелось окликнуть, подать слабый и отчаянный голос, но он сдержался.

Через некоторое время к саням его знакомого Михаила начали присоединяться другие сани.

Все они прижимались к противоположной стороне узкой улицы.

Мужчины на санях сидели и мерзли, мерзли и их лошади. Мужчины о чем-то переговаривались, и над санями нависало сизое облако теплого пара.

В комнате, подперев стену, молча стояла жена, а в углу на полу, закутавшись в изодранные лохмотья шубы, которую он когда-то купил во Львове, сидело трое их младших детей.

Лошади в какой-то момент встревожились, и мужчины повернули головы в ту сторону, откуда доносились немецкие голоса.

Шварц хорошо слышал эти голоса (то была команда для немецкой полиции), но щель не давала заглянуть и увидеть больше.

Посреди улицы, минуя крестьянские сани, промаршировали два отделения немецких солдат. Они разделились на малые группки по четыре-шесть человек и вошли в гетто.

Шварц почувствовал затылком теплое дыхание жены, но не

отступил и не позволил ей выглянуть на улицу Перля.

К Шварцу зашло четверо.

Сначала они прошлись по комнате.

И Шварц, и его жена молча наблюдали за каждым их движением. Один из них подошел к детям Шварца, приказал им встать и сложить лоскутья меха на полу.

После этого он подошел к Шварцу и строго спросил: почему тот не выполнил приказ о сдаче меха?

В начале зимы немцы приказали евреям сдать весь мех, за невыполнение – расстрел. Тогда евреи за ночь наполнили мехами крестьянские сани, в которых конфискованный мех увезли в направлении вокзала. Шварцы тоже отдали новую шубу, отпоротые воротники с пальто жены и дочерей, штраймл, лисьи и заячьи выделанные шкурки, которые Шварц купил на Старом рынке у овчаров-гуцулов. А старую шубу, почти разлезшуюся по швам, распороли на несколько кусков и так выживали в зиму 1941 года.

Шварц попытался что-то объяснить. Но его первым толкнули в спину и повели вниз по лестнице. За его спиной кричали жена и дети. Шварцев поставили перед домом и приказали повернуться лицом к окну.

Фигуры с карабинами отражались в окне, и Шварцу было хорошо видно, как трое солдат заряжают свои карабины, а четвертый добегает, слегка припоздав, с наброшенными вокруг шеи меховыми полосами…

Первым позвали Михаила, который въехал в гетто и остановился у дома Шварца. Михаил узнал Шварца, его жену и троих младших детей. Еврейская полиция тянула по снегу тела убитых и клала на сани Михаила.

Белую муку снега вспороли и посыпали красной корицей крови.

А снег все падал, и облака, проплывавшие над городом, напоминали пышное тесто из пекарни Шварца.

2. О музыке

В этом городе музыка, если ее воспринимать как упорядоченный строй звуков наподобие выстроенных военных рядов, почему-то пряталась в оркестровой яме местного театра, звучала со сцены филармонии, доносилась с летней эстрады в парке, разрывала ночную темноту с танцевальной площадки на островке, ставшем местом для дискотек. Наверное, завывала также в полуподвальных помещениях, где собирались на

репетиции самодеятельные группы подростков, помешанных на битлах или «Smokie», взрывалась ресторанным праздником, который-всегда-с-тобою, бобинами с записями уголовного фольклора, Высоцкого и «Машины времени».

Город жил с музыкой, в музыке и без нее.

И когда летом возле дома группа подростков слушала кем-то вынесенный из дому магнитофон или песни под гитару, то небрежно, как окурок, брошенные слова «Чувак, вруби свою музыку погромче, если можешь…» становились ключом, который открывал ворота братства поколений, принадлежности к чему-то, чего не понять другим. Это необъяснимое до конца ощущение молодости, свободы, нахальства, провокации становилось музыкой, которую мы слушали и горланили у подъездов, иногда в спешке убегая от дежурного наряда милиции и дружинников, которых время от времени вызывали затерроризированные нами добропорядочные граждане нашей страны.

Впрочем, зимой это все прекращалось – и музыка становилась другой.

Зима пахла привезенными из Москвы апельсинами, шелестела фольгой новогоднего шоколада и стреляла пробками новогоднего шампанского. Несколько дней подряд перед Новым годом советская торговля вспоминала о гражданах своей страны и создавала для них небольшой праздник с сюрпризами: вдруг повсюду выбрасывали сгущенное молоко, коробки конфет, шампанское, мандарины, лимоны и рижские шпроты. Дальше – драма: сплошные очереди к магазинам заполняли улицы, и покупатели становились бойцами фронта советской торговли: какая-нибудь продавщица Вера держала оборону, а покупатели пробивались каждый сам по себе. После Нового года зима возвращалась в привычное русло, и предновогоднюю авангардную какофонию заменял унылый ритм будней.

Про поэзию: «Муза»

Местом нашего длительного пребывания была, наверное, все-таки тернопольская «Муза». Говорят, это помещение кто-то выкупил и переоборудовал для своих нужд, поэтому, наверное, не лишним будет оставить о «Музе» хотя бы короткое впечатление.

Их было четверо (хотя сначала двое), они писали стихи, но город, в котором они жили, не нуждался в их стихах – точнее, был далеким от стихов. Собирались они в разных местах, но чаще всего, конечно, в «Музе». Этот кабак (почти единственный, где позволяли приносить что-то на разлив) работал аж до полуночи, а буфетчицы знали их только в лицо, и этого было достаточно.

Если сравнивать «Музу» с кораблем, на котором плывут в

вечность аргонавты, пираты или хотя бы торговцы рабами, то сравнение с Рембо в этом случае было бы уместным, а его «Пьяный корабль» оказался бы совсем не метафорой и не настолько отдаленной, чтобы это не связывалось с текущим временем.

Они сходятся с разных концов своего города, садятся за стол, заказывают, читают стихи, ссорятся, обижаются, снова заказывают, снова ссорятся, снова читают стихи. Ни одному добропорядочному болвану не придет в голову, что вот так можно просиживать часами, болтая о поэзии спьяну, пока тебя почти в спину не вытолкают вон официанты, которые тоже хотят домой. Какая ерунда – домой, когда решается судьба поэзии!

Конечно, официанты ничего не смыслят в поэзии.
А зачем?

Времена меняются, кофейни меняют владельцев и названия, официанты стареют… В прошлом году в первый день моего приезда в Тернополь я выбрался в центр города и прошелся по всем местам, где когда-то профукал столько времени… Официантки – молодые девочки в мини-юбках с прическами в стиле 60-х, в фартуках с накладными карманами, из которых выглядывают блокнот и ручка.

Они не похожи на Зину.

* * *

Ты еще раз похлопал себя по карманам: несколько пачек сигарет без фильтра купил по дороге. Она сказала, что он хочет только сигареты. Автобус № 11 ползет за город, на Объездную. Две больницы – наркодиспансер и психоневрологическая – были вынесены за черту города, и добираться до них было неудобно, автобус ходил нечасто, и без надобности я туда никогда не ездил.

Она позвонила вечером и, запинаясь, глотая слова, сообщила, что Б. попал в больницу. «Бля, писец», – подумал я. И спросил, в какой он палате.

Она не знала.

Было около десяти вечера, ты вышел из подъезда и закурил, резкий мартовский ветер гасил спички и твое сознание.

Ты знал, что Б. с каким-то чудиком, с которым ты его видел несколько раз в центре, решили продавать цирконий – тогда это называлось бизнесом. Для бизнеса нужны были деньги, ты свел

его с Л., а тот, в свою очередь, с *крутыми*. Те деньги одолжил (понятное дело, с процентами). К этим процентам Л. добавил свои – за посредничество. Время шло, никаких процентов не было, а потом оказалось, что Б. и не собирался отдавать даже одолженных денег. Куда он дел те деньги – не знаю. Л. наезжал на меня, что это я привел Б. к нему, и на меня ложится ответственность за одолженные деньги. Я его послал.

Однажды вечером Л. завалился ко мне с говнючкой (на вид ей едва ли было пятнадцать). Сказал, что нас ждет тачка у подъезда и мы должны ехать к Б., чтобы потолковать с ним о долге. Дозвониться он, мол, не может, крутые включили счетчик, и если мы не поедем к Б., то он вынужден будет дать им адрес Б., а те пацаны, которым Б. должен бабки, живо с ним разберутся. Выбора у меня не было, поэтому мы поехали.

Разговор получился легким, Б. со всем соглашался, перспективы, которые ждали его в ближайшее время, в изображении Л. выглядели хреново.

Говнючка хихикала и курила, Л. поглаживал ее поясницу и ягодицы. Мы стояли во дворе виллы польского пана, в которой Б. с семьей снимал две большие комнаты. Время от времени выглядывала жена Б. и звала нас в дом, но мы торчали снаружи – стояли и молчали. И только говнючка капризничала и хихикала.

– Заткни ей рот, – вырвалось у меня.

Малолетка притихла.

Л. сжал ей руку и бросил волчий взгляд в мою сторону, но сдержался и промолчал.

Я не верил в договоренность с Б.

Потом я узнал, что Л. несколько раз бывал у Б. (уже без меня). И, угрожая расправой, всячески давил на Б., который переживал тогда не лучшие времена: бухал и так далее.

Ну вот, а теперь все эти прибамбасы.

Разыскав нужное отделение, спрашиваю у медсестры о Б.

Она отыскивает в книге записи новых пациентов фамилию, имя и дату. Все совпадает.

Меня впускают только в небольшую прихожую – своеобразную комнату ожидания.

Через несколько минут выходит Б. в больничной пижаме, вылинявшей, скомканной, с легким намеком на зеленовато-голубой цвет, – ангел со шрамами на шее.

Ты вытаскиваешь эти несколько пачек сигарет, и Б. запихивает их в большие накладные карманы. Из-за зарешеченного окошка за нами наблюдает санитар.

– Пойдем покурим?

– Мне нельзя, – поворачивается спиной и, не прощаясь, легко,

как дым, проскальзывает в приоткрытую дверь под крики пациентов и топот санитаров.

* * *

ГБ, опершись на металлическое ограждение, сдерживал ладонью кровь, которая текла из глубокого пореза у шеи. Кровь была теплой и липкой. Снег был февральским и белым, рана была настоящая, смерть была белая – и уже где-то рядом. ГБ почувствовал холод, в его сознании мгновенно промелькнули, как тени тех трех ублюдков, мысли о спасении. Три уёбка, с которыми ГБ ехал в троллейбусе, вышли с ним на остановке и лезвием пописа́ли шею. ГБ вступился за уставшую кондукторшу, поскольку те трое не хотели платить за проезд.

Час был поздний, и троллейбус, завершая последний круг своего маршрута, оставлял ГБ, порезанного и еще в сознании, истекать кровью.

Уёбки юркнули в проходной двор.

Зачерпнув ладонью горсть снега, ГБ приложил его к порезу и пошел.

В милицейском участке сонные менты писали протокол со слов ГБ, а врачи «скорой» измеряли давление и бинтовали ему шею, ожидая, пока менты таки допишут и отпустят ГБ с ними.

ГБ спасло то, что порез был неглубокий, до сонной артерии оставалось несколько миллиметров, а милицейский участок оказался рядом (ну и то, что ангел смерти в такой мороз засиделся в своей каптерке).

Зима пахла кровью, а поэзия чувствовала холод лезвия на шее.

* * *

Глаз у С. напоминал выпученные глаза жаб.

И смотрел он одновременно на тебя и в окно.

В нейрохирургию С. привезли менты, которые утром делали обход и нашли его без сознания на лестнице, спускавшейся с Дружбовского массива в парк. С. лежал у заброшенного туалета, избитый и ограбленный, и только легкий пульс говорил о том, что он жив.

Вчера С. вместе с двумя кентами прошелся по всем заведениям, где наливали, а теперь в постели нейрохирургии, с разбитой головой, деформированной скулой и втрое

увеличенным мутным глазом отстраненно смотрит на тебя и проваливается в яму своей памяти.

Те чуваки, с которыми С. тогда гульвасил, никак не могли объяснить, где они его потеряли, на каком этапе их тяжелого и славного пути бросили. Вариантов было множество: первый, что С. сам отшился от них и нарвался на тех, кто его побил и бросил умирать возле туалета. Второй: они плелись втроем, таксисты отказывались их везти с Дружбы в центр, решили пойти через парк. На лестнице, которая вела к темным и опасным дорожкам, им встретились дружбовские, а чуваки просто оставили С. одного с дружбовскими громилами, которые разделались с С. по полной. Третий: С. побили сами менты и бросили, а через некоторое время приехали снова за ним, решив, что лишние ночные преступления на их участке им ни к чему, закинули его в милицейский бобик и завезли в больницу.

С., пролежав месяц, выписался с вываленным наружу глазом, десятком медицинских рецептов и провалами в памяти, – а так ничего особенного. Затем от него долго страдали все официантки: когда С. сильно напивался, то швырял рюмки и чашки на пол.

* * *

Футуристические лозунги, вышитые на рукавах джинсовой зимней куртки, сыпались цитатами с тех рукавов. Хозяйка куртки, казалось, прилетела на этих футуристических крыльях, чтобы возвестить всем об этом. Город к таким относился подозрительно, особенно когда она, сбросив куртку и закатав рукава свитера, рассказывала о своих полетах над городом, неверных любовниках, никчемных женщинах из бухгалтерии, о вещунстве, о дочери в деревне, о стихах и, наконец, о своей миссии и своем предназначении.

Футуризм в городе не приживался, и она тоже не прижилась.

Из четырех поэтов она выбрала одного – длинноволосого.

Ходили сплетни о том, что она ведьма, за ней подглядывали соседки в общежитии. На общей кухне степенные домохозяйки шептались по углам о ней и о ее избраннике.

Через некоторое время она исчезнет из города – конечно, с поэтом.

Говорили, что их видели то в одном городе, то в другом, иногда она с поэтом прилетала и в наш. Говорили, что они прохаживались по Театральной площади часок-другой и снова

улетали куда-то, рассказывали, что когда над городом пролетали звездопады, дожди и снега, то вместе с ними на головы сыпались золотые буквы футуристических стихов, а утром их сметали ветры и дворники.

Говорили, что потом поэт бросил ее и вернулся в город обычным автобусом, ведь летать он мог только с ней.

Говорили, что она хотела вернуть его снова, поэтому еще несколько раз пролетала над городом, рассыпая золотые буквы со своих голубых крыльев-рукавов, а потом вернулась в деревню к дочери, прекратила полеты и начала бомжевать.

И когда бомжиха поет под баян душещипательные оперные арии на Театральной площади, то футуристка прилетает к ней, присев рядом, кладет ей на колени стриженую голову и – слушает.

* * *

Мы договорились встретить новый 2000 год вместе, всем составом «Западного ветра».

Группа уже распалась, но изредка мы еще встречались, чтобы посплетничать, выпить и иногда почитать стихи.

Все просто – мы жили в одном городе. Даже попытались что-то замутить, прикрывшись новым названием «Озерная школа», но произошло лишь одно общее чтение в «Галерее», хотя Б. в который раз не появился.

Декабрь выпал вместе со снегом.

Это было прощание с 90-ми, их грязью и нашей поэзией.

Ты сидел в «Музе», запивая водку кофе, и курил.

Оставалось несколько часов до Нового года, и больше всего радовало то, что мир справился с переходом компьютеров на новое тысячелетие и сбоев в системе не будет. Ты сидел и никого особо не ждал, было где-то часов шесть, город опустел, предновогодние улицы и кофейни без посетителей, мороз, снег. На столике – пачка кишиневского «Мальборо», кофе со сливками, зажигалка.

Ты снова закурил.

Несколько месяцев назад на твое имя пришел большой желтый конверт из Штатов с уведомлением о выигрыше зеленой карты. Сначала ты даже обрадовался, потом пытался избавиться от этой мысли о выезде, а вот в новом году нужно будет сделать выбор.

О перспективе курить настоящие «Мальборо» ты особо не

распространялся.

Ты размешивал воспоминания о 90-х никелированной ложечкой, пытаясь растворить ссохшийся сахар на дне чашки.

Сплошной базар, рэкет, убийства, подорванные машины, ваучеры, право собственности, сине-желтые флаги, сине-желтые скамейки, трахеи, перепаленные сигаретным дымом и поддельным алкоголем, поджоги, рейсы в Польшу и Румынию, таможенники, продажные менты, вчерашние коммунисты с перепуганными взглядами, новейшие демократы, которые тайком едят икру, запивая экспортным пивом «Гопак», проститутки в гостинице «Тернополь» и на вокзале, видеосалоны вместо кинотеатров с зарубежными фильмами в переводе на русский, купоны вместо денег, выживание вместо жизни, турецкие подделки вместо фирмы, русский рок с патриотическими песнями, выборы, кандидаты, партии, голодные актеры перед театром – и бродячие собаки на темных улицах города, пропахшего шерстью псов.

3. In army now…

Дважды в год нас, старшеклассников, водили в военкомат, где мы проходили медосмотр. Новый военкомат был возле троллейбусного парка, везли нас туда троллейбусы с пометкой «В депо». И школьная медсестра, ответственная за организацию нашей проверки, вместе с отставным подполковником, а теперь преподавателем военного дела, сопровождали несколько девятых классов нашей школы к месту назначения. В холодных бетонных коридорах, покрашенных до половины в синий цвет с обязательной жирной линией по краю, толпится несколько десятков подростков, ожидая выкрика своей фамилии. Наконец, усатый прапорщик с красным лицом пьяницы называет несколько имен, и вы входите в первый кабинет. В кабинете старая врачиха из какой-то больницы выполняет свой патриотический долг – проверить физическое состояние будущих призывников. На столе перед нею – большая тетрадь, куда она записывает свои выводы. Вы переходите из кабинета в кабинет и доходите до того, где говорят раздеться и снять трусы. Врачи равнодушно осматривают заросль и ваши гениталии, просят повернуться, расставить ноги и нагнуться вперед.

После комиссии, в пустом троллейбусе, который только что выехал из парка, вы громко обсуждаете медкомиссию: кто куда кому заглядывал, что сказал военком и куда кого отправят для

службы в армии (а служба, как известно, – почетная обязанность каждого советского гражданина). Так на каждом уроке твердит подполковник и большой плакат на стене военкомата, где изображен солдат с квадратным лицом.

Военную подготовку завершали недельные сборы, на которые каждый должен был прийти с выструганным деревянным автоматом, затем выполнить *марш-бросок* в большом овраге напротив школы, оббегая металлические гаражи, а тогда взять «высоту» и закрепить там «оборону». Высоту мы взяли и стали на вершине крутого холма. Подполковник, стоя у подножия, ругал нас и командовал «ложись», но ложиться никто не собирался. За взятие высоты мы получили по трояке, а на следующий день поехали за город в тир, чтобы тремя патронами пострелять в мишень. Наверное, за целый день здесь отстрелялись несколько школ, поэтому мишеней уже никто не менял – только зарисовывали дыры от пуль ручкой. Наших дыр в мишени так и не нашли, но подполковник сказал, что мы стреляли хорошо, а эти хрены все плохо организовали.

С этим мы и уехали со стрельбищ.

И только левое плечо легко ныло от отдачи «калаша».

* * *

Почему-то запомнились проводы Т.

Решено было отметить это событие в двух отделениях: сначала в ресторане «Москва», а затем на хате у Матея: только полученная родителями Матея новая квартира была еще не обставленной, а потому свободной от всяких условностей.

В ресторане все закончилось около двенадцати; тремя такси мы, двадцатилетние, мчались на БАМ. Чувих с нами не было, поэтому мы прихватили с собой трех киевлянок, которые почему-то были там и после пары минут уговоров радостно согласились ехать с нами. Правда, к ним приклеился чувак из ихней туристической группы, неприятный тип, которого мы впоследствии выпроводили из квартиры Матея, а он раз за разом настойчиво пытался вернуться на наш пир.

В большой комнате на полу расставлены бутылки и закуски, купленные заранее. Нас, по-моему, девятеро: ну, Том, Витя, Матей, Квец, еще кто-то и три девицы, которых было просто невозможно поделить между нами всеми. И еще этот тип улегся на полу и бросает свои приколы, которые никому из нас не нравятся. Ну, он просто нарывается.

Матей никого не предупредил, что в одной из спален – его

родители.

В том шуме, криках, тостах, сигаретном дыму, в запахе алкоголя они вряд ли могли уснуть.

Одна из тех чувих, которая в очередной раз вернулась из туалета, сообщила, что, кроме нас, в квартире есть еще кто-то. Я подошел к Матею:

– Слушай, а что, твои старики здесь?

– Да, но я их предупредил.

– Ну ты даешь.

– Фигня…

Все желали Т. легкой службы, не кинуть себя под ноги «дедам», следить за собой, искать земляков, давать отпор *чурбанам*, быть просто пацаном.

Т. клялся нам, что не подведет.

Затем начался настоящий «передел собственности», никто не мог определиться с подружками, они перекочевывали из рук в руки, но были только легкие поцелуи и массаж соответствующих мест – не более. Чувихи оказались халявными. Этот крендель, который прилип к ним и ехал за наш счет в такси, а потом на халяву пил нашу водку, стал вести себя вызывающе. Его сначала попросили не портить праздник, а потом выпроводили за дверь. С ним в знак солидарности пошла одна из трех привезенных на проводы чувих.

Одну из них ты перехватил в коридоре, она возвращалась после того, как проблевалась в ванной. Тебе удалось затянуть ее на кухню, прикрыть двери и усадить на стол. Подружка была сильно накачана, ее одежда и тело пахли духами, чернилами и сигаретным дымом. Ей было немного за тридцать. В какой-то момент ты почувствовал, что она замирает, как будто сломалась. Оторвавшись от ее шеи, понимаешь, что она удивленно смотрит на кого-то.

Ты поворачиваешь голову и видишь пьяного Т.

– Но в армию иду я, – говорит он с обидой.

– Т., бля, какого хрена ты приперся? – отвечаешь, стоя к нему спиной и не размыкая ее объятий.

– Но все остальные заняты, – бормочет Т.

* * *

«Духи, вешайтесь!» – кричали новобранцам из всех казарменных окон солдаты в/ч 77727.

Было где-то одиннадцать утра, ноябрь, ты со своей командой, которую сопровождал майор, сошел на житомирской станции с

казатинского поезда. Утро выдалось хмурым, все сонные, потому что в три часа ночи в Казатине мы ожидали житомирский поезд, там распили припрятанную бутылку водки и закусили домашними продуктами.

Вас всех завели в курилку и разрешили перекурить. С тех пор, как за вами закрылись автоматические ворота военной части, появилось ощущение, что ты попал в ловушку. Казенный запах казармы, военной формы, кирзы, гуталина становился твоим запахом на два года. В столовой, куда вас привели еще не переодетыми в форму, вся солдатская обслуга была из Средней Азии, они по-тигриному щурили глаза и улыбались.

Первые полгода прошли как во сне.

Служба проходила по уставу, сержанты гоняли нас, духов, каждый раз придумывая разные способы давления, в первую очередь – физического, потому что не могли нас бить в открытую, как это потом случалось почти каждую ночь в батальоне. Марш-броски, физические упражнения, муштра обессиливали нас так, что, упав в кровать, ты слышал только команду «Пад-йооом!». Каждую субботу, вооружившись каблуками от кирзовых сапог, сдвинув вместе кровати и тумбочки, вылив на все помещения нашей казармы растворенное в воде мыло, мы скребли пол до тех пор, пока он не становился белым, а потом натирали мастикой. За неделю от солдатских сапог пол снова становился чернющим.

Старший прапорщик с генеральской фуражкой на квадратной голове командовал той учебной ротой, где нам суждено было прослужить полгода, аж до распределения. Выстраивали нас и сержантов, прапор полчаса кричал, и логику его высказываний понять было невозможно: что-то немного о Советской армии, об империалистах и врагах, о дисциплине, о сапогах, воротничках и уставе. Сержанты – здоровые ребята, деды, которым оставалось служить несколько месяцев, в учебной роте ловили лафу: немец из Фрунзе, поляк из-под Вильнюса и украинец из Житомира, дом которого стоял через дорогу от нашей части. Когда прапорщик убрался, начинал кричать фрунзенский немец, он вопил на нас еще больше: мол, мы *казлы, духи*, он нам *порвет очко*, мы настоящей службы не знаем…

Двухметровый прыщавый житомирянин разучивал с нами «строевую песню».

– Махно, бля, ты знаешь, шо такое строевая песня?

– Никак нет, товарищ сержант.

– Запоминай: строевая песня – это стихи, а стихи, бля, это… это песня. Понятно?

– Так точно.

Тадеуш Болеславович водил нас в солдатскую столовую, а в

оставшееся время забирал из наших тумбочек одеколон, разбавлял его водой и пил после *отбоя*.

В караулке между солдатами обсуждают новость: вчера молодой подполковник, выпускник военно-политической академии, решил ночью проверить посты и вместе с начальником стражи пошел на пост № 2, который охранял узбек. Все произошло по уставу, и тут подполковнику захотелось повыпендриваться, и он скомандовал: *«Вводная! Нападение со стороны леса!»*. Узбек, не долго думая, занял соответствующую позицию и, сняв «калаш» с предохранителя, начал стрелять по верхушкам деревьев. Подполковник и начальник стражи, не ожидавшие такой исполнительности от часового, безопасности ради тоже попадали на землю. *«Отставить!»* – верещали они, но узбек так увлекся стрельбой и чувством долга, что вообще не услышал новую команду. Тем временем другой часовой, услышав стрельбу, позвонил в караулку и сообщил о происшествии. Заместитель начальника, подняв стражу *«в ружье»*, поспешил на помощь. И застал такую картину: подполковник и начальник караула, измазанные грязью, шугают осоловевшего узбека.

Молодой лейтенант прошмыгивает второй пост и незаметно преодолевает расстояние между боксами, разыскивая часового Андрейко. Он знает, что Андрейко – *отморозок, шланг, дебил*, который с гауптвахты не вылазит, что он *нерадивый солдат*, которого давно хотели перевести в другую часть. Лейтенант, спрятавшись за ЗИЛ-130, минут пять наблюдает за маршрутом часового, который, естественно, должен откуда-то показаться, но Андрейко нигде нет. «Спит, сука», – решает лейтенант и моментально прикидывает, где этот дебил мог скрыться. Среди военных боксов, в которых стояли КрАЗы и ЗИЛы, было одно помещение, где круглосуточно находились гражданские житомирские чуваки, преимущественно алкаши, которые контролировали отопление боксов, а также, в случае тревоги, обеспечивали горячей водой в зимний период автомобили, чтобы те могли завестись и выехать на полигон. Антифриз, который водители получали ежемесячно, все равно продавали гражданским или выпивали, отделяя спирт от масел. Когда лейтенант вошел, то увидел, как часовой Андрейко спит на топчане, а дядя Миша в полном боевом – с автоматом, рожками и штык-ножом – охраняет тревожный сон защитника отечества. Андрейко поставил ему задачу: стоять и выглядывать в тусклое окно, чтобы вдруг не застукала проверка или этот *пидор* летёха.

* * *

Поднятый по тревоге батальон, на ходу застегивая шинели, быстро выбегал из оружейной комнаты, где звучала сигнализация и мигала красная лампочка. Солдаты под выкрики офицеров и сержантов выбегали со второго этажа казармы и мчались в направлении военных боксов. Черпак А. падает, как подкошенный, как раз на плацу. К нему подбегает сержант с криком: «*Ты шо, урод*?» Но А. не может подняться. Через некоторое время прибегает запыхавшийся командир роты, они с сержантом волокут в медчасть обессилевшего А.

Пока утром пришли медики – вечно бухой сержант медицинской службы и медсестра, – пока они обследовали А., полк связи военной колонной направился на полигон под Житомиром.

Начальник медчасти констатировал у А. побои, которые повлияли на работу правой почки, били А. этой ночью, нанося удары по корпусу. Немедленно составленный рапорт лег на стол командиру полка. Делом занялся *особый отдел.* Капитан Крутилов изучал, казалось бы, привычное дело – неуставные отношения, которые деморализовали армию и с которыми, для видимости, время от времени якобы боролись, упрятывая виновных в *дизель* (дисциплинарный батальон). Как оказалось, дело с А. имело другую специфику: А. избили по указанию прапорщика из авиационной части, который выбрал его для гомосексуальных утех. Итак, «дед» из Узбекистана каждую ночь выводил А. из казармы к запасным воротам воинской части, туда в назначенное время подъезжал ВАЗик, забирал А. и вез куда-то, возвращая его под утро. Прапорщик-авиатор рассчитывался с узбеком деньгами и продуктами, и тот, ясное дело, был кровно заинтересован в сотрудничестве. Когда А. по прошествии времени запротестовал и чуть не откусил прапорщику член, тот приказал проучить молокососа. Ночью, перед тревогой, узбек со своими земляками час месил А. в туалете – так что тот еле дополз до своей кровати.

Особист распорядился арестовать *прапора*, узбека и его земляков. Всех их привезли на губу к нашей части. Разумеется, командир не хотел давать делу ход, и все закончилось тем, что прапора уволили из армии, узбека перевели в другой округ, а физически покалеченному и морально изуродованному А. предоставили отпуск. Позже его вообще комиссовали по причине официально диагностированного энуреза.

4. О бухле

Кроме музыки, которую ты успел подзабыть, ты знаешь, что поэзия в этом городе пахла пивом.

Время, проведенное за дверью кафе, кабака, забегаловки, рюмочной, не было потерянным временем; кофейни, которые я посещал в Тернополе, Кременце, Чорткове, Киеве, Кракове, Варшаве, Катовице, Закопане, Белграде, Новом Саде, Бухаресте, Питеште, Люблине, Нью-Йорке, Чикаго, Торонто, Вашингтоне, Сяноку, Солт Лейк Сити, Мумбаи, Новом Орлеане, Берлине, Сигете Мараморошем, – остались в моей памяти разными, по-разному они назывались и по-разному в них наливали…

Пересматривая разные названия городов, кофеен, другие имена поэтов и разные напитки, которые они пили и пьют, все-таки прослеживается что-то общее, что объединяет эти идентичные лица, склоненные над листом машинописи или рукописи, с рюмкой или бокалом, со слишком серьезным выражением или придурковатой миной шута – не имеет значения. Не имеет значения и то, что они пьют и что курят, какие девушки их слушают и слушают ли вообще, а если слушают, то понимают ли их стихи – без разницы. Важно другое: что они таки появляются, создают свой круг, заполняют его стихами, пьянством, бзиками, ревностью, обидами, глупыми девицами; они сотрясают воздух своего времени, который они оставили в кофейнях, который остался в кофейнях, который может быть кофейней, кораблем, который плывет в никуда? который плывет? в котором они нуждаются, а он нуждается в них, весь пьяный корабль не имеет цели куда-то доплыть, он должен плыть – это главное.

* * *

Я застал этот пивбар почти полностью пропахшим скисшим пивом и мочой, – оттуда и несло, как из плохо убранного туалета. Пивбар находился в центре, как раз под областной милицией, что было очень удобно, черный выход открывался, когда привозили металлические бочки с пивом или менты забирали созревших клиентов, выводя их из пивбара через задний двор прямо к КПЗ. Но войти в пивбар можно было с улицы, спускаясь по узкому проходу, который напоминал вход в подземелье. Это действительно было подземелье, за стойкой обычно топтался высокий блондин с казацкими усами (особенно популярными в 90-е годы). Пиво здесь было на разлив, чистые бокалы выставлены стеклянными трапециями, порезанная кусочками сельдь с

кружочками лука и несколько сортов копченой рыбы составляли весь ассортимент этого заведения. Пиво не всегда было свежим, ты точно это определял – как только блондин наполнял бокал, было видно, что пиво мутное, а после нескольких секунд на его поверхности исчезала пена – разбалтывалась, хотя она должна была быть «знаком качества». Но это ему прощали, ведь жаловаться было уже некому, одна страна превращалась в другую, все в пивбаре были благодарны, что пивзавод хоть как-то работает, и пиво (пусть не совсем свежее) все же привозят. Худшие времена были еще впереди.

В пивбаре можно было курить, хотя блондин время от времени мог пригрозить по поводу курева и указать на прицепленную справа выцветшую табличку с надписью «Не курить!». Но это случалось редко – только когда курильщиков было слишком много. Тогда он шел в противоположную к выходу сторону и открывал дверь черного входа, и из отворенной щели доносился живой рой звуков.

Любители пива облюбовали это подземелье в самом центре города. Пиво стоило дешевле, чем водка, а в таком тонком деле, как культурный отдых, каждая копейка на счету, да и всегда можно было сбегать наверх в ближайший магазин и купить бутылку водки или две. Через какое-то время публика в этом пивбаре почти укомплектовалась. Конечно, несколько известных на весь центр алкоголиков просто торчали здесь с утра до вечера с кружкой пива или без него, в надежде, что кто-то предложит сто грамм. Солидарность в пьянках (как проявление братства и касса взаимопомощи) срабатывает независимо от социального статуса, поэтому, отсидев несколько часов в этой пивной, алкоголики в конце концов своего добивались и, пошатываясь, выбирались по крутой лестнице на поверхность. Как правило, это были дети и внуки освободителей, их родители поселились в центре, но что-то не сложилось. Ко времени открытия пивбара в одиннадцать они целой колонией пережидали на лавках напротив и, похожие на пингвинов, греющихся на солнце, слушали радио из развешанных репродукторов. Они говорили по-русски и даже в своем поврежденном алкоголем сознании ругали Рух и защищали Союз, который рушился на глазах. От этого, наверное, им еще больше хотелось спрятаться за пеленой опьянения.

Местный сознательный и патриотически настроенный элемент шел пить пиво за кинотеатром «Победа». Там было дешевле и на свежем воздухе, а желтая бочка на колесах с надписью «Пиво» постоянно находилась на том месте все лето до начала осени. Здесь была еще одна выгода: близкий туалет,

ставший к тому времени платным. В кабинке, которая разделяла туалет на мужскую и женскую части, сидела старая женщина, в обязанности которой входила уборка и сбор денег с посетителей. Убирала она изредка, но деньги требовала исправно, особенно пристально наблюдала за клиентами пивной бочки, которые наведывались к ее туалету по несколько раз в час. Тот, кто спустил все на пиве, шел в угол между туалетом и ограждением и выливал золотистыми струями продукт пивзавода № 1 (правда, подвергаясь опасности оказаться в милиции за нарушение общественного порядка). Те, кто ходил за «Победу», должны были все время стоять, а потребление пива с водкой не терпит суеты, поспешности (ведь столько надо рассказать своему другу).

В пивбаре собирались все: менты, заходившие проверить общественный порядок и при этом опрокинуть кружку-другую у бармена, новоиспеченные бизнесмены после посещения следователя, художники, собиравшиеся большими компаниями и шумно сдвигавшие несколько столов вместе, юная тернопольская богема для болтовни и отчасти чтения стихов. Когда набивалось достаточно посетителей, раскрасневшемуся блондину помогала официантка – она разносила пиво и мыла бокалы.

5. Московская сага

«Moscow, Moscow – забросаем бомбами, будет вам Олимпиада, ого-го-го!» – пели мы парафраз известной песни, которую классифицировали как антисоветскую: за нее можно было вылететь из института.

С 1982 года начали умирать генсеки. Это случалось почти каждый год, и страна привыкла к этому ритуалу. Траурные марши военного оркестра становились единственной музыкой страны, в которой мы жили, но которую не воспринимали.

Для нас, студентов 80-х, это не предвещало ничего хорошего и ощущалось досадное неудобство: частые трауры были связаны с запретом музыки и всевозможных забав. Тогда некоторые даже пострадали: бдительные песиголовцы системы выискивали по студенческим общежитиям тех, кто нарушал будущий тезис *«у нас секса нет»*, и тех, кто не придерживался общегосударственного траура по случаю ухода любимого вождя. А такие всегда находились, разогретые алкоголем.

Моя первая поездка в столицу родины – Москву – произошла зимой в начале 1982 года. Мы с приятелем ехали в плацкартном вагоне поезда Львов – Москва и слушали траурные марши

(именно тогда умер Суслов). Получилось так, что какая-то родственница приятеля вышла замуж за москвича (что, очевидно, было тогда большим везением). Эта родственница встретила нас на Киевском вокзале, и мы на метро доехали до гостиницы «Космос», рядом с которой должны были жить – в старом доме с лифтом, двери которого нужно было закрывать самому (под характерные звуки металлических дверей и шум движения).

Еще на вокзале удалось хватануть морозного московского воздуха вместе с русским матом: *«Колян, давай, блядь, ко второму вагону!»* – кричал напарнику носильщик в форменной одежде (шинели и фуражке), и оба быстро толкали перед собой тележки для багажа, пробираясь сквозь толпу, которая неохотно расступалась. На вокзале была тьма людей: тех провожали, тех встречали.

Мы попали в обычную московскую коммуналку с длинным коридором, общей кухней и туалетом. Родственница приятеля занимала со своим нынешним мужем две довольно просторные комнаты. Он (как оказалось, то ли бывший летчик, то ли охранник Сталина) был в ту пору пожилым и немощным, так что их брачный контракт был заключен с двусторонней выгодой: он получит уход, она – московскую прописку, а после его смерти и жилье в Москве. Как они нашли друг друга – не знаю.

Прожив там несколько дней, мы легко настроились на московский ритм: изучили карту метро, умели бросать жетоны и проходить к эскалатору, спускаться к поездам и подниматься на поверхность. Москва произвела на нас, провинциалов, сильное впечатление. Наш русский москвичи угадывали легко, спрашивали: «*С Украйны, ребята*?»

В «Букваре», по которому я учился в первом классе, на первой странице был трогательный рисунок: Мавзолей и бесконечный поток людей на Красной площади. Этот поток формировался в Александровском саду на протяжении нескольких часов, а потом выходил на площадь, где все направлялись посмотреть на вождя. Где-то в стороне от Исторического музея была комната для хранения вещей, что, по мнению охраны, представляло опасность для вождя мирового пролетариата. Даже при входе в сам мавзолей переодетые в гражданское гебешники внимательно следили за каждым, кто входил внутрь. Быть в Москве и не видеть Ленина – это то же, что быть в Риме и не видеть Папы Римского. Но в Рим нас не пускали, поэтому приходилось довольствоваться Лениным.

Январь 1982 года в Москве – типично московский январь: падал снег, держался мороз на уровне 15–20 градусов, город узнавался по когда-то услышанным топонимам: *Савёловский*

вокзал, Белорусский вокзал, станция Ногина, Кремль, собор Василия Блаженного, Лобное место, ЦУМ, универмаг «Лейпциг», Ваганьковское кладбище.

При входе на Ваганьковское кладбище нас заприметил местный барыга, который быстро сообразил, с кем имеет дело: «Высоцким интересуетесь?» – и потянул нас куда-то в сторону от могилы Высоцкого, засыпанной снегом и цветами. Мы шли за ним по глубокому снегу; наконец, он остановился, расстегнул верхнюю пуговицу своего темного импортного пальто и вытащил из внутреннего кармана большую пачку фотографий: Высоцкий с Мариной Влади, на кухне, на судне «Шота Руставели», с сигаретой, в фуражке. Высоцкий на фотографиях выбивался из привычного представления о советском актере и поэте, ведь его песни всегда были с подтекстом, а эти фото свидетельствовали о живом человеке. Цена, которую загнул кладбищенский барыга, была слишком высока для наших студенческих карманов, и мы вежливо ему отказали. Но барыга не отступал, он доставал из внутреннего кармана другие пачки фотографий, вытаскивал их и, как филигранный картежник, разворачивал перед нами Высоцкого неподалеку от его могилы. Бизнес уже тогда переступал все границы, в частности моральные.

Не поладив с продавцом Высоцкого, мы снова направились к могиле поэта и постояли там без цветов, цена на которые зашкаливала.

Через год меня остановил в институтском коридоре М., с которым мы путешествовали в Москву. Он отвел меня в сторону, вытащил из внешнего кармана куртки цветной буклет о Высоцком, только что изданный Союзом кинематографистов или театральных деятелей СССР. Я мигом просмотрел это издание.

– Где ты его взял? (Мне не верилось, что даже после смерти Высоцкого в Советском Союзе возможно что-то подобное.)

– Купил в киоске «Союзпечати».

Мы решили, что на сегодня наши занятия уже окончены, поэтому поспешили к ближайшей троллейбусной остановке. Скупать буклеты Высоцкого начали с центра. Но быстро убедились, что кто-то это уже сделал до нас, – не удивительно, ведь в центре обычно жили освободители, их дети и внуки, которые всю русскоязычную литературу гребли килограммами. Кроме того, такой буклет был вполне пригодным товаром для черного книжного рынка, который в Тернополе процветал. Зато на БАМе и Восточном продавщицы киосков, бабушки пенсионного возраста, подрабатывавшие продажей газет и журналов, радостно вываливали перед нами все экземпляры буклета, радуясь, что двое безумных студентов помогут им выполнить месячный план.

После такого рейда два червонца из стипендии, которую нам выплатили только вчера, исчезли.

Мы стояли рядом с последним нашим киоском, с карманами, набитыми буклетами, и раскуривали одну сигарету на двоих. Отсыревшие спички никак не зажигались, спас случайный прохожий, у которого удалось стрельнуть еще одну сигарету и подкурить.

Мы курили, грея в рукавах курток раскрасневшиеся от мороза ладони, и радовались. Из киоска, из тепла, которое создавал незаконный калорифер, с интересом смотрела на нас продавщица.

Снежные тучи, серые, как зэковский ватник, надвигались на город.

Пронзительный февральский ветер задувал наши сигареты.

А мы на этом ветру упивались свободой.

6. Джанкойская сюита

Возвращаясь на третьей полке общего вагона из Джанкоя, из южной жары, после месяца в студенческом отряде на консервном заводе, ты вез с собой не только около сотни заработанных рублей, несколько дефицитных украинских книг, бутылку крымского коньяка и игристое шампанское, которое от жары выстрелило на твои рубашки и книги, – ты вез с собой еще и музыку джанкойских дискотек, на которых только по случайности никто не побил вас, восемнадцатилетних студентов, худых, но наглых. Тебя сопровождал постоянный гул тяжелой авиации. (Военная часть стратегических бомбардировщиков была расположена как раз через дорогу от твоего общежития. Его каждую ночь штурмовали солдаты, мечтая развлечься в курятнике студенток-филологинь, составляющих большинство твоего отряда.) А еще – евпаторийский пляжный песок, пение кузнечиков в пересохших травах джанкойской земли, пьяное бурчание дяди Васи (он всегда напивался после смены, выстраивал нас, разомлевших в послеобеденную пору, в лабиринтах деревянных ящиков и ругался матерно, потом отходил и начинал плакать – так действовала на него «белочка»).

Джанкой, по сути, первая железнодорожная станция при въезде в Крым: солончаки, выгоревшая земля, покрытая белой плесенью соли, какие-то заплавы. Город, как разжаренное сердце Крыма, выглядел слишком типичным для южных городов: с одноэтажными белостенными домами, рядами высоких тополей, равнинный, с размытым центром и разбросанными по всему

городу промышленными зонами, в одной из них был консервный завод. Нас поселили на окраине, возле скоростного шоссе Москва – Симферополь, на завод мы добирались желтым ЛиАЗом. Околица действительно выглядела убого: несколько общежитий с выгоревшей некошеной травой и заасфальтированными площадками, на металлических турникетах которых было развешано белье.

Строки Марины Цветаевой «А за спиной была пустыня/ И где-то станция Джанкой…» как-то скрашивали невыразительность этого города. Благодаря Цветаевой я отнесся к Джанкою иначе, по крайней мере его фиксация в поэтическом тексте придавала почтенное метафизическое значение этим тополям, железнодорожной станции, домам под красной черепицей, консервному заводу, его продукции и моим страданиям юного Вертера. Встретившись с мемориальной Цветаевой в 2008 году на тихой берлинской улочке, я вспомнил это ее стихотворение и Джанкой.

…Ты тогда вообще был не рад, что ввязался в этот студенческий трудовой отряд, хотя Крым тебе нравился. Можно было раздобыть какую-нибудь медицинскую справку и не ехать жариться целый месяц под южным солнцем, разгружая машины с помидорами, кабачками, огурцами и прочим. Можно было спокойно болтаться по Тернополю, попивая кофе и развлекаясь.

Ты возвращался разбитым, под стук колес стараясь впасть в беспамятство, но сквозь ритмичную музыку стука врезался ее голос, тебя сводил с ума запах ее тела – и ты закрывал глаза и хотел умереть, здесь, в этом вагоне на третьей полке, среди ровной степи, когда поезд, покинув Джанкой, с головой ушел в подсолнечные поля.

Джанкой останется для тебя на фотографиях, которые кто-то передаст через несколько недель после возвращения в Тернополь: групповые снимки с дядей Васей и женщинами-грузчицами с молотками, сбивающими деревянную тару; пляж в Евпатории, дискотека, поездка в авиационный полк с шефским концертом, во время которого под зрителя скрипели клубные стулья, солдаты, раздевающие жадными глазами филфаковских девушек.

В этой джанкойской сюите твоя музыка разломалась, как деревянный ящик с консервного завода, или выветрилась, как давно припрятанный спирт, или вылиняла вместе с осенним небом, простившись последним ливнем со всем летним разноцветьем. Какая-то важная часть той сюиты, тех нот-птиц, была всполошена бездумными порывами сделать что-то наперекор, смочена алкоголем, который вливался в горло буйной

эйфорией, протрынькана в пивбарах, пропитанных сигаретным дымом, в непрерывных поисках новых чувих, в разговорах с приятелем, который, зная о твоих страданиях, воспользуется моментом и сам сделает ей предложение, – фактически предаст тебя, твои чувства, с каким-то непонятным тебе подлым удовольствием. Ну что же, ты отомстишь ему тем же, трахнув его широкозадую девку на географической площадке школы. Вы оба, довольные, будете пьяно хихикать в летней ночи, помяв спинами траву, а потом искать ее трусы.

Эту разломанную музыку ты нес в себе долго, – иногда она была свечой, иногда – музыкальной шкатулкой, иногда бутылкой водки или сигаретой, иногда – сложенным вчетверо листком со стихотворением, иногда засунутыми в карманы письмами, которые ты писал и не посылал ей. В день ее свадьбы ты набухался и решил, что лучшим подарком было бы появиться там за рулем бульдозера, который толчет гусеницами цветы, а вернее, твои чувства.

Но было поздно, ресторан закрывался, официантка выпроваживала загулявшихся посетителей, музыканты который раз подряд играли «Миллион алых роз».

Свадьба, наверное, достигала своего апогея, и молодая пара, принимая подарки, готовилась к брачной ночи.

На выходе из ресторана ты погасил сигарету и выпустил с дымом эту музыку.

«Finita la comedia», – сообщил измученной официантке и пошел к стоянке такси возле универмага.

* * *

Ты, третьекурсник, сопровождаешь молоденькую, но опытную, со слов кентов, лярвочку к ее дому. В подъезде между этажами вы целуетесь. Она ловко шарит руками в нужных местах. Вынимая ключ от квартиры, объясняет, что мать придет после пяти, а отца у нее нет. Отсылает тебя помыть руки, а сама из холодильника извлекает кусок «докторской» и бутылку «чернил». Целуясь на диване, ты ощупываешь ее задницу в колготках, порванных в нескольких местах, которые она ловко стягивает, задыхаясь от страсти.

Месяца через два она сообщает тебе по телефону (ты стоишь в телефонной будке на остановке возле своего дома), что вернулся ее бывший пацан, и у них все серьезно, она не жалеет, что между вами *это* было (представь, я рада, что у меня месячные и я не залетела). Ты в ответ желаешь ей счастья и семейного уюта

– и вешаешь тяжелую трубку.

* * *

Недавно ты спросил давнего приятеля, с которым не виделся уже несколько лет:

– Слушай, а как мы тогда находили друг друга – без мобилок и Интернета?

– Чуйка.

Была суббота, мы прогуливались по Театральной площади перед местным театром.

Молодая пара фотографировалась, свидетели и свидетельницы весело хохотали.

Рыжая приблудившаяся дворняга с обвисшими сосками слизывала с асфальта крошки.

На противоположной стороне площади работал прокат детских автомобилей, машинки гудели, как осенние пчелы.

В самолете ты всю дорогу слушал джаз, раз за разом снимая наушники, щелкал по каналам, убеждаясь, что от кантри, рока или даже классики почему-то именно во время перелета тебя ломает.

Ты прилетел другим в этот город – с другой музыкой.

7. Фанера над Парижем

Осень меняла все. Город – огромный корабль, готовый войти в зимние воды без всякого командирского приказа, менял свой курс и выходил навстречу дождю и снегу.

Зачастили дожди, на вокзал поезда местного значения, *матрисы*, привозили запахи осенних полей, выкопанной картошки, яблок и груш, привядшей зелени, и влажный запах земли зависал на улицах.

В центре с тротуаров у кофеен убирали внутрь столики и кресла, запах кофе и коньяка исчезал за закрытыми дверями «Музы», жизнь пряталась в уют застолья. Затяжные дожди загоняли завсегдатаев в задымленные помещения кофеен, переполненные голосами, смехом, громкими разговорами, – здесь текла жизнь, здесь ее прожигали. Эта невидимая линия отделяла пивохлебов и повес от окружающего мира – улиц, магазинов, киосков, кинотеатров, БАМа и Восточного, Загребелья и Старого парка – его называли по-разному. Лучше всего подходило слово

«Центр». Это магическое пространство творили несколько улиц, которые как-то сохранились после штурма советских войск в 1944 году. Для меня сам центр был очень ограниченным пространством: несколько кварталов от улицы Сагайдачного и Валовой, ряд старых домов у швейной фабрики и улицы Каминной, – мимо областной библиотеки и дальше – к Театральной площади, – они определяли в моем представлении сущность Тернополя, его европейскость, его разрушенную и уже никогда не возродившуюся топографию, его образ человеко-коня, *кентавра, «смесь бульдога с носорогом».*

В Тернополе, как это свойственно галицким городам, одновременно уживались различные временные слои: австро-венгерский и польский – центр и Новый Свет, хрущевский – микрорайон Дружба, начало брежневской поры – Восточный, развитой социализм – БАМ, канун упадка советской империи – Аляска, Канада.

Поэтому (или не поэтому), но в 80-е годы БАМ пер на Восточный, Новый Свет – на Старый парк, Дружба шла на Центр – каждый участок города имел детскую комнату милиции и, соответственно, своих героев. Советские подростки, наслушавшись уголовных песен Высоцкого и Вилли Токарева, формировали свой кодекс чести и порядочности, который часто совсем не совпадал с кодексом строителя коммунизма, защищали свою «малую родину» с вызывающей яростью. Чужака сразу вычисляли, расспрашивали, кого он знает из Старого парка или Центра, и если это был обычный мужик, не посвященный в тонкости локального патриотизма, то этот вечер не сулил ему ничего хорошего.

Другим популярным видом развлечений среди тернопольских пацанов были ходки: вооружившись кастетами, арматурой, металлическими цепями и палками с заточенными концами, идти к рабочим общежитиям бить «быков», сельских хлопцев, работавших на комбайновом заводе, на текстильном комбинате или на радиозаводе. Возле таких общежитий постоянно дежурили милицейские машины, были комнаты дружинников. Но в какой-то момент вдруг из ниоткуда, как саранча, налетала стая вооруженных пацанов, которые крушили все на своем пути и лупили всех, кто попадал под этот смерч. Сыпались битые стекла в окнах, потрескивали искрами разбитые фонари, а через несколько минут милицейские ВАЗики с включенными сиренами мчались, раздирая пронзительным звуком и фарами тьму осенней ночи.

БАМ в 80-х еще достраивали и одновременно начали заселять. Подавляющее большинство жителей этого микрорайона

составляли выходцы из сел, а теперь рабочий класс, который производил свеклоуборочные комбайны, шоферил, строил дома, ремонтировал дороги, убирал. Долгое время на БАМ можно было добраться только знаменитым автобусным маршрутом № 20. По этому направлению ползли старые ЛиАЗы и несколько новых «икарусов», в которые набивалась тьма пассажиров: рабочие после заводских смен, пенсионеры (им всегда не хватало места, они сокрушались о морали молодежи или об урожае этого года и знали обо всем на свете), пьяные юнцы, которые вызывающе дышали тебе в лицо смесью перегара и сигаретного дыма.

БАМ быстро разрастался, к нижнему прибавился верхний, Центральной улицей нижнего была улица Чалдаева, а верхнего – Киевская, условная граница проходила по улице Пушкина. Нижний и верхний БАМы тоже враждовали, но не так отчаянно. *Ништяк* было посидеть с чуваками у подъезда и погорланить песни, за джинсы могли побить, кожанку могли снять, джинсовая куртка подвергалась опасности, на дискотеках всегда были разборки, пили в основном *чернила*, курили сигареты с фильтром по 40 копеек («Космос» по 70 копеек считался высшим пилотажем). Кино смотрели советское и зарубежное, разрешенное цензурой. Почему-то считалось, что французские фильмы – о сексе, индийские – это песни и танцы, американские – о неграх и безработице, югославские – о вожде индейцев с Гойко Митичем. В кинотеатры бегали не только смотреть фильмы, а что значительно важнее – целоваться в темноте и щупать подружку.

В театр нас, школьников, водили насильно, распространяя билеты среди учащейся молодежи. Пожалуй, руководство театра и актеры не раз жалели, когда на верхние ярусы набивались ученики ПТУ и старшеклассники школ, а в партере сидели учителя и избранные девочки-отличницы. С началом пьесы на ярусах не утихал шум, скрипели старые стулья, беспрестанно хлопали двери, то тут то там слышались визги, комментарии, смешки, хохот – все это очень мешало актерам играть свои роли. Завуч по воспитательной работе и мастера ПТУ мотались по этажам, успокаивая распоясавшихся воспитанников.

Как-то втроем мы решили: не пойдем в школу, лучше свободно покурим в подвале дома (где жил Ю.). Было десять утра – самое безопасное время, все взрослые на работе, никто не потревожит. Но если бы кто-то и спустился в подвал за картошкой или взять банку с помидорами, то мы бы сразу его заметили: из нашего закутка просматривались почти все ходы и выходы. К тому же, пока кто-то вкручивал бы лампочку, чтобы посветить себе, мы могли свободно юркнуть оттуда восвояси, чтобы

избежать каких-либо столкновений и вопросов, мол, почему мы в это время находимся здесь.

Мы сидели и курили по очереди «Беломорканал». М. рассказал, что некоторые из пацанов пробовали коноплю, от нее можно здорово кайфонуть, – об этом ему говорил один чувак с нижнего БАМа. Ю. подбросил интересную идею: его отец прячет пневматическую винтовку, он знает, где, и давно запасся пулями, и мы можем пострелять здесь, в подвале. Нам всем трем идея сразу понравилась, и минут через десять Ю., сбегав на четвертый этаж, принес замотанную в простыню винтовку. Из внутреннего кармана пиджака он достал сложенные вчетверо портреты двух членов Политбюро на мелованной бумаге. Я прицепил их один возле другого на кирпичную стену, прижав гвоздиками, которые валялись под ногами. Мы отошли от стены шагов на десять, и каждый стрельнул по три раза. У членов Политбюро уже были продырявлены лбы и уши.

А когда Ю. предложил отстрелять еще по три патрона, кто-то из нас услышал шаги. Ю. мгновенно отбросил в сторону винтовку, и мы втроем застыли под взглядом соседки Ю. (она работала начальником детской комнаты милиции) – надо же, ее как раз принесло в этот момент за картошкой! Продырявленные члены Политбюро из-за наших спин умоляюще смотрели на нее.

Это была труба: мы не пошли в школу, стреляли из винтовки (в членов Политбюро!) и к тому же курили – полный набор, чтобы попасть на учет. К тому же дело из хулиганства могло перерасти в политическое, и потащили бы наших родителей.

Впрочем, глаза начальницы еще не привыкли к темноте, поэтому она не сразу разглядела нас (особенно членов Политбюро). Кто-то вовремя спохватился и сорвал злополучные портреты, засунув себе за пазуху, но запах сигаретного дыма выдал нас.

Прищурясь, она спросила: «Почему не в школе?»

«Ну, мы были у врача… – выкручивались мы, как могли. – У нас ОРЗ…»

«А лечились, значит, сигаретами?»

Тут мы расслабились.

Она, как оказалось, ничего не видела и не поняла.

Нас пронесло, как фанеру над Парижем.

8. Общежитский блюз

На девятом этаже студенческого общежития из двери туалета (одного на блок из четырех помещений) всегда неприятно несло

канализацией и ржавыми трубами. Бачок для слива воды не работал, а цепочку с эбонитовой ручкой хранил кто-то из жильцов, чтобы никто пришлый не мог воспользоваться. Душевую обычно закрывали на замок. Купались раз в неделю или в душевой (в подвале общежития), или прикрываясь оцинкованными тазиками в общественной бане в центре города.

В комнате, обклеенной вырезанными из журналов «Советский экран» портретами кинозвезд, к двум стандартным металлическим койкам и коричневым тумбочкам полагался стол, поцарапанный и грязный, а уж выцветшие дешевые коврики на стену могли купить на рынке те, кто хотел хоть как-то украсить эту убогость.

Родная партия, заботясь о моральной и физической чистоте будущих строителей коммунизма, следила за всем, что могло пагубно на них повлиять. Кроме учебы, молодежь могла ходить на танцы. Популярную тогда музыку голосистых итальянцев из Сан-Ремо еще разрешали. Пить в общежитии студентам запрещалось, но рейды по комнатам (их могли устроить деканат, партбюро, комитет комсомола или народный контроль) всегда давали один результат: из-под кроватей выгребались десятки пустых бутылок, которые не успели сдать в приемный пункт. Те, в чьих комнатах находили эту стеклотару, прощались с общежитием, а иногда и с обучением. Впрочем, лифт часто ломался, и до верхнего этажа партийно-комсомольские рейды доползали не всегда.

Запрещали в общежитии и секс, но подавляющее большинство таки с кем-то погуливали. К девушкам приходили городские парни, а парни приводили на ночь девиц, которые утром оказывались ученицами ПТУ. Не разрешалось слушать по радио «вражеские голоса», рассказывать политические анекдоты, пропускать занятия и многое другое. Несмотря на все эти запреты и рейды, другая, тщательно спрятанная и умалчиваемая студенческая жизнь продолжалась.

Мы догадывались, что в каждой группе были «дятлы», которые тайно стучали в деканат, партийным и комсомольским секретарям, некоторые просто работали на КГБ. Поэтому опасно было рассказывать анекдоты о Брежневе, слушать пластинки с записями Высоцкого и других бардов, читать какие-то слишком уж критикующие власть тексты. Не стоило хвастаться родственниками за границей, проявлять симпатию к украинской культуре (нужно было обходить некоторые темы, и мы знали, какие именно и почему).

Весь филфак проклинал и ругал несчастную Зину, которая поехала на три дня отдохнуть на какое-то озеро со своим парнем.

Матери он, ясное дело, ничего не сказал, а та позвонила в милицию, и вскоре напуганную Зину вместе с ее чуваком уже везли в бобике в Тернополь. А еще через два дня понурая Зина стояла посреди самой большой аудитории, и там ее поливали словесными помоями комсомольские активисты, партийцы, преподаватели и декан. Алку, которая слыла «безотказной», поймали вовсе не на блядстве в общежитии, а на краже в ресторане «Украина». Вдвоем с подружкой они подцепили там чуваков постарше, те предложили им поехать на хату, Алка решила прихватить несколько вилок и ножей из нержавейки, чтобы и там есть как люди. Зоркая официантка задержала их на выходе. Чуваки немного подождали и ушли, а Алка только через год смогла заработать рабочую характеристику и возобновиться на заочном отделении. Саша-Гриша в куртке с надписью «Parmalat» и круглых очках под Джона Леннона приторговывал в общежитии дефицитными книгами, которые воровал в районной библиотеке. Ему можно было заказать Ахматову или Цветаеву, Лину Костенко или Генриха Сенкевича, и вскоре он за червонец привозил нужное тебе издание, объясняя, что вывел библиотечные печати специальним раствором, но дополнительно денег за это не возьмет. Он был своеобразным циником, возглавлял список злостных прогульщиков занятий, целыми днями лежал на своей кровати и курил или шатался по улицам и рынкам. Ни поэзия, ни проза, ни наши полемики обо всем на свете, ни словесная эквилибристика с цитированием сотен поэтических строк его не интересовали. Он не ходил на дискотеки и никогда не проявлял хоть какого-то интереса к девушкам. Валялся себе, будто Обломов, и пускал вверх дым. И только когда кто-то находился в комнате, Саша-Гриша философствовал: «Выпью кофе и буду думать о здоровье моей матушки, ведь матушка – это деньги, а деньги – это все». Он как-то сумел переползти на второй курс, но на этом все и закончилось: когда его личное дело разбирали в комитете комсомола сначала курса, потом факультета, Сашино-Гришиными подвигами заинтересовалась партийная организация факультета, и он вылетел из университета навсегда. Какой-то мифологемой девятого этажа общежития и филфака был рыжеватый парень Зима, о котором говорили, что он на первом курсе «поехал». Я увидел его в то время, когда он, подлечившись, вернулся к обучению и поселился в одной из комнат на девятом этаже. Сначала Зима не вызывал никаких претензий, но чем дальше он углублялся в науку и чем чаще посещал библиотеку, тем больше за ним замечали какие-то странности: например, он ходил по этажам голый и пугал девушек, при этом ржал, как молодой

жеребец, каким-то странным придурковатым смехом. В конце концов в припадке он схватил своего сожителя за детородный орган, и тот, сообразив, что может лишиться самого важного, позвал на помощь. Парня скрутили и вызвали «скорую». Двое дебелых медбратьев вывели его из общежития в смирительной рубашке, и мы попрощались с Зимой навсегда: из дурки на филфак он уже не вернулся.

* * *

1984 год. Стол посреди комнаты, к нему придвинуты стулья и кровати. Компания ребят с разных курсов филфака начинает привычное застолье. Занятия отменили: два дня назад умер второй за последние два года генсек ЦК КПСС Юрий Андропов – в стране очередной траур. Эта смерть вызывает у нас, двадцатилетних, возрастающее недоверие к советской системе. Андропов попытался провести в стране сталинский шмон: проверяли в рабочее время кинотеатры и рестораны, решили бороться с коррупцией и еще что-то там вводить. Для нас самой большой андроповской заслугой была его дешевая водка «андроповка» (вот именно ее мы и распивали). На столе – две бутылки с зелеными этикетками, банка кабачковой икры, килька в томатном соусе. Кому-то стрельнуло в пьяную голову выбрать свое «политбюро». Мы хохоча распределяли посты в ЦК и КГБ, спорили, кто и за что должен отвечать, вовсю издевались над системой, которая уже начинала пробуксовывать. К счастью, на той тайной вечере не было иуды, и все закончилось прикольно: Квец получил бутылкой в лоб и несколько дней ходил перебинтованный, как красный партизан. За что и почему – никто уже не мог вспомнить.

9. Бутафория

Упадок империи (Советского Союза, страны, которая, казалось, существовала в нашем сознании как понятие вечное) начался давно, но свидетелями этого упадка, а затем и полного разрушения стали мы. Осознавали ли все мы тогда, что находимся в центре исторических изменений? Ведь такая ускоренная смена событий в целой стране – Национальные фронты в Прибалтике, война в Нагорном Карабахе, жертвы в Тбилиси и Вильнюсе, а впоследствии Народный Рух в Украине – создавали ощущение полной неуверенности и хаоса, который

ураганом пронесся над огромными пространствами от Бреста до Сахалина.

Нам было едва за двадцать, когда объявили перестройку и новый курс партии, и почти под тридцать, когда Украина стала независимой. В таком молодом возрасте даже гибель империи, хаос в стране и разрушение всего, к чему мы привыкли и что казалось неизменным, не могло нас политизировать. Мы оставались молодыми шалопаями, которые жаждали развлечений, искали смысл во всем происходящем вокруг и, наконец, в нашей жизни.

Из окна бутафорского цеха театра видно памятник Тарасу Шевченко, который где-то присел. За эту сидячую позу скульптора много критиковали, но тот отбивался, объясняя, что, по его замыслу, это Шевченко периода «трех лет», который устал и присел на почаевских холмах. Позже, когда волна критики утихла, кто-то высказался, что сидячий памятник Шевченко – все же лучше, чем никакого (как, например, во Львове).

В бутафорском цехе работы нет.

Несколько сбитых досок, предназначенных для какой-то декорации, так и остались недокрашенными, и трудно было догадаться, что это за конструкция. Спектакль отменили, актерам не платят уже несколько месяцев, они немного побастовали, некоторые даже посидели на театральных ступенях, поставив перед собой шляпу, в которую так никто ничего и не бросил. Городская газета сделала об этом репортаж, но никакой широкой дискуссии или сочувствия граждан такая акция не вызвала. Всем было тогда хреново. Театр стоял на площади своего имени как заброшенный корабль, команда которого разбрелась неведомо куда.

В бутафорском цехе было только двое работников. Помещение, где готовили декорации (обтягивали материей, сбивали разнообразные конструкции, переделывали старые декорации на новые), было длинным с высоким потолками. На полу расстелено полотнище, повсюду полно банок с краской и бутылок.

Чувак высокого роста, который сбивает доски, в разговоре доверчиво матерится: кроет режиссера и главного художника – за придурковатость трактовки сценического пространства, замдиректора – что нет новых материалов для декораций, а худрука театра – за невыданную зарплату. Старший его лет на десять напарник, начальник цеха, за всех заступается, споласкивая в умывальнике два стакана и банку из-под майонеза.

– Еще лет пять назад все было: гастроли, зарплата, репертуар…

Длинный отмалчивается, он как раз раскладывает закуску на табуретке, проверяет, так ли сервировано, затем уходит в глубь цеха и с нашей помощью сдвигает несколько запылившихся кресел с подранной и засаленной обивкой. Вдруг длинный поднимает вверх палец и идет к окну: его внимание привлекла стихийная демонстрация перед памятником Шевченко, в основном сельские женщины в завязанных под подбородком платках и мужики в вышиванках. Местный политический лидер несколько раз вытянутой рукой направляет их движение. Подняв флаги и транспаранты, толпа, которую тот же лидер подбадривает через мегафон, покидает небольшую площадь перед Шевченко, а тот провожает их невеселым взглядом из-под забронзовелого чела. Длинный возвращается к табуретке, за которой уже сидит и терпеливо ждет, когда мы начнем бухать, его начальник. Я замечаю, что сельских женщин, которые пошли посполитым ходом к православной кафедре, сменяют общественные организации с самодельными плакатами: «Прочь от Москвы!», «Смерть коммуне!», «Империи конец» и «Слава Украине!». Плакатов несколько сотен. Устанавливают микрофоны, и выступающие, апеллируя к Шевченко, все время что-то взвинченно бросают в толпу, а сотни рук каждый раз аплодируют им. Жаль, что ничего не слышно: окна плотно закрыты и закрашены толстым слоем краски.

Длинный начинает разливать, кто-то произносит тост, стаканы и баночки из-под майонеза глухо позванивают. После первых трех разговор еще не клеится. Но когда приговорены две поллитровки, разговор входит в привычное русло: Длинный начинает путаться в словах, политических партиях и организациях, ругает коммунистов и вспоминает своего деда-националиста, его начальник, наоборот, вяло защищает Союз и стабильную жизнь и с недоверием относится к новоиспеченным местных лидерам Руха, считая, что все они – бывшие коммуняки и карьеристы. Постепенно, закурив, все переходят на более свободные темы, и ты слушаешь прикольные истории об актерах и актрисах, кое-что из истории бутафорского цеха и их профессиональных секретах.

В осеннюю прохладу ты вываливаешься через черный вход, уже не прощаясь с вахтершей. Длинный с начальником остались запирать свой цех, но в темноте, боясь выдать себя, никак не могут вставить ключ, поэтому тихо спорят. Ты переходишь почти пустую площадь, слабо освещенную желтоватым светом (гастроном уже закрыт), и, пройдя немного дальше, сворачиваешь вправо – заглянуть в «Музу» через дверь возле магазина «Подписные издания».

Внутри Зина, стоя за прилавком, спорит с клиентом. Молодая официантка убирает после какой-то компании столики: вытряхивает наполненные окурками пепельницы, убирает чашки из-под кофе, рюмки, пустые бутылки из-под водки (одна одиноко возвышается на столе, а две другие под столом – понятно, что одну купили здесь, а две принесли с собой). Соседний стол чище: только два бокала и две чашки; на бокалах, как и на чашках, следы помады (наверное, две подружки, так и не дождавшись кавалеров, ушли, возможно, в ресторан «Украина» (значит, им здесь было некого ловить). Окинув взглядом завсегдатая первый зал, ты колеблешься: заходить в другой или вернуться на свежий воздух? Но автоматически движешься внутрь: в углу сидит, склонившись над рюмкой, твой дружбан с филфака С. вместе с подружкой, которую ты видишь впервые. Ты подходишь, здороваешься, подтягиваешь третье кресло и подсаживаешься. С. уже в хорошей кондиции, подружка явно хочет слинять, но не знает, как это сделать, поэтому оба обрадовались твоему появлению. С. идет заказывать еще три по сто, бутерброды, нарезанный лимон, посыпанный сахаром, и три кофе. Но его что-то долго нет – видимо, пользуясь случаем, зашел в туалет. За время отсутствия С. ты узнаешь от его подружки, что они познакомились лишь три часа назад, а это уже третий бар. Ты прикидываешь, сколько С. мог осушить за те три часа. Она – не очень пьяна, говорит, что студентка и до десяти должна быть в общежитии. Появляется улыбающийся С. Через некоторое время его заказ уже на столе. Разговор между С. и тобой дает его подружке удобную возможность слинять. Но С. и ты как-то даже не заметили ее отсутствия. Сегодня это несущественно. С другом ты не виделся несколько недель, он рассказывает, что узнал об измене своей жены, устроил ей сцену и выбросил в окно все ее барахло. Потом сложил чемодан и теперь у родителей. Постепенно распродает фотоаппаратуру и пропивает заработанное. Ты делишься с С. водкой, кофе и бутербродом, и в этот момент вы благодарны той девице, которая вовремя смылась. Как можешь, утешаешь его. Выйдя из «Музы», вы решаете поехать на Дружбу, в ресторан «Москва». На троллейбусной остановке вы ловите такси и минут через пятнадцать уже сидите в «Москве». Из окон ресторана видно озеро, которое отражает огни ночного города. С. без умолку талдычит о подлости своей жены и о любви к своей дочери. Наш вечер только начинается, судя по тому, что друг заказывает снова. Он предупреждает, что сегодня проставляется он. Две девки за столиком напротив радостно принимают приглашение подсесть. Знакомимся. От них пахнет хорошими духами, обе в джинсах, обтягивающих их точеные

лодыжки. Не отказываются от предложенных сигарет. С. прерывает рассказ о семейных проблемах, и мы переключаемся на этих чувих. Оказывается, они живут в разных концах города, что сразу стимулирует каждого из нас решать, что с ними делать дальше: посидеть и побухать (но тогда для С. теряется важная тема беседы), или побухать, провести их домой и договориться о встрече позже, или все-таки побухать и попробовать их раскрутить? В туалете С. предлагает ехать к нему на работу, ключи при нем. Он работает в редакции (которая занимает две комнатки при заводе). На уговоры ушло еще с полчаса, одна согласилась, а второй не оставалось ничего, как составить компанию. С. выбрал ту, что согласилась, и уже в такси начал с ней целоваться. Ты сидишь рядом с водителем. А твоя чувиха по пути поглядывает на действия своей подружки. Где-то около трех ночи мы попали в редакцию. У нас три часа на все, потому что до семи нужно слинять оттуда. Запах слащавых духов, белая шея, длинные распущенные волосы, джинсы, как оказалось, с пуговицами вместо замка, которые трудно расстегивать, импортный лифчик на непонятных застежках. Под действием алкоголя ты время от времени забывал ее имя, но она не обижалась. Вы ничего не обещали друг другу и были благодарны именно за это.

Мы распрощались с С. уже в центре где-то в одиннадцать, чтобы снова встретиться через несколько дней.

Но мы встретились уже при других обстоятельствах: запретили митинг Руха на Певчем поле, и тогда вся толпа двинулась к обкому партии. Всю улицу Энергетическую заполонили люди, под железнодорожным мостом выставили КамАЗы с песком и тем самым преградили путь. На мосту милицейский кордон был прорван. С. в изодранной рубашке, заметив меня издалека, помахал рукой, предложил пройтись к ближайшей кофейне, и мы покинули митинг протеста возле обкома, осажденного теми же КамАЗами. Как оказалось, С. уже развелся. А еще рассчитался в редакции и теперь живет у одной разведенки, с которой когда-то пообещал познакомить меня.

Когда в 1991 году власть перешла к демократам, обком был открыт для посетителей настолько, что по его коридорам сновали жаждущие правды отцы разных конфессий в окружении своих прихожан, новая бизнесово-криминальная поросль, заслуженные руховцы, председатели колхозов, руководители малых предприятий, – все они что-то подписывали, защищали и отстаивали.

С прилавков магазинов и баров исчезала отечественная водка, но появился румынский коньяк. Появилась мафия, частные

рестораны и бары, рынок трясли бывшие спортсмены, в основном борцы классического стиля (хотя были и вольного). Город постепенно превращался в сплошной базар или вокзал. В клеенчатых сумках барыги перевозили в Польшу все, что успела произвести советская промышленность и чего не удалось выменять на бартер предприимчивым директорам. Все что-то продавали, получали, везли и перевозили, по дороге на автобусы с барыгами нападали и грабили. Все киоски и магазинчики тоже были под контролем.

Появились первые фигуранты времен независимости с сумасшедшими деньгами и на дорогих иномарках (они же становились и первыми жертвами внутренней войны за передел сфер влияния).

В «Музе» тоже кое-что изменилось: поскольку всю водку теперь везли в Польшу, найти ее в магазине или баре было почти невозможно. Зарубежные суррогаты, а также подпольные противоправно из-под полы разливала Зина (это приносило какой-то навар ей и ее поставщикам, но у завсегдатаев вызывало сплошные нарекания). Мерилом теперь была качественная водка. Грели душу воспоминания о временах, когда всего было вдоволь и все лилось рекой. Независимость от первых месяцев эйфории перешла в сплошную полосу борьбы за выживание, и лучше было наблюдать за этим процессом из окна бара на диванчике при ста граммах и порезанном лимоне, чем мерзнуть на польской границе, а затем торчать две недели с товаром в каком-то Кросне, убегать от соотечественников на машине пятнадцатилетней давности, которую перегоняешь из Германии, возить кожаные куртки из Турции, отбиваясь от жадных турок, которые предлагают такие недосягаемые доллары за какой-то час секса, или везти колбасы и чайные сервизы в белый горошек в Москву. Проплачивать каждый шаг на тамошнем рынке, пить для согрева с такими же «бизнесменами» и проводить купюрой по товару, когда у тебя что-то купили (хорошая примета).

В городе появились бездомные псы, и их присутствие свидетельствовало об упадке. Целые стаи кобелей бегали за сучкой, а она позволяла приблизиться только сильнейшему, и посреди улицы за их совокуплением наблюдали дети и взрослые, по-своему комментируя это зрелище.

И было понятно, что везде – труба.

10. Искусство принадлежит

В 80-х годах из подземелья вышли художники, появились

большой группой, как выросшие за ночь деревья, держа в руках плакаты, а их усы и чубы напоминали козацко-шевченковские прототипы. Художественно-оформительский комбинат за кинопрокатом, в котором они все подрабатывали, подписывая лозунги или рисуя трафаретные плакаты о коммунизме, партии, счастливом пионерском детстве и отчаянной комсомольськой юности, оказался не совсем пригодным местом для заработков в новые времена, когда каждый образованный гражданин мог самовольно написать на самодельном плакате любой лозунг и с ним выйти на демонстрацию. Комбинат пустовал, спрос на красные краски упал. Мастерские в полуподвальных помещениях, выделенные еще при советской власти, были приватизированы и становились частной территорией. Эта частная территория охранялась не только новой властью и ею же выданным правом собственности (своеобразной охранной грамотой), но и самими владельцами этих спрятанных с поверхности территорий. Художники были суеверны. Иногда их предрассудки были смехотворны: среди твоих приятелей были такие, которые не всех пускали в свои мастерские (не говоря уже о показе новых работ), старались избегать разговоров о том, над чем в это время работают. Тотальное подозрение относительно воровства идей становилось негласным кодексом, который начинали принимать все, кто что-то рисовал. Впоследствии я немного прояснил для себя причины этого общего психоза. Оказывается, в 70-е годы молодые художники, не имея никакой возможности выставляться (не говоря уже о том, чтобы мечтать о Союзе), начали устраивать подпольные выставки на квартирах. На такие выставки приходили только доверенные лица по специальным приглашениям. Искусство там выставлялось без соблюдения канонов социалистического реализма, разговоры велись антисоветские, настроения были воинственными. Все это грозило попасть в поле зрения КГБ (с понятными последствиями). Провинциальность города, в котором художникам пришлось жить, подталкивала их и к другим радикальным шагам. Небольшими группами, словно линию фронта, они переступали провинциальность, приезжая в Москву на открытие выставок известных классиков XX века. Ночевали у кого-то из друзей в подмосковных общежитиях, дважды в день мотаясь в электричках между Москвой и какой-то Балашихой. А возвратившись тихим зимним утром в провинцию снова, чувствовали знакомую приглушенность улиц и непреодолимое желание как можно дольше сохранить в себе раскованность столичной жизни.

Я не пел бы осанну провинции, но и не утверждал бы, что провинциальная жизнь не имеет смысла. Маленькие города

притягивают к себе не только размеренным укладом жизни (который порой не меняется в течение нескольких веков, и даже если изменится, не наполняется столичной нервозностью). Влияние провинции на искусство неоднозначно, но когда ею оправдывают ограниченность своего потенциала, наверное, это губительно. Тогда провинциальность заползает во все уголки улиц, площадей, кофеен и баров, раздражает никчемным репертуаром с афиш местного театра, приглушает любые попытки создавать свежую поэзию, не принимает джазовых вариаций в оркестровой яме филармонии, а большинство жителей ловит кайф оттого, что они – лохи.

Сначала надо было отодвинуть щеколду, которая примерзла, тогда по крутой лестнице сойти вниз и постучать в дверь условно. Во дворе дома в металлическом гараже ветеран ремонтировал свой «запорожец». Зимний вечер, желтый от света фонарей и грязного снега, вливался в темную емкость сумерек. Бутылки в сумке перед посиделками вызванивают хорал радости от предстоящего разговора и ожидаемого тепла мастерской. Условный знак срабатывает – в дверной щели бородатое знакомое лицо. Ударяет запах сигаретного дыма, тепла и только что дожеванного лука.

Дверь приоткрывается, и ты погружаешься в освещенное пространство мастерской скульптора. Пока осматриваешься, куда бросить куртку, хозяин ловко подхватывает твою сумку, что-то радостно гогочут гости (ты их знаешь почти всех), на столах маленькие лампы и свечи раздвигают вокруг себя сумрак помещения. В самой дальней комнате свежевыструганные деревянные заготовки, дальше – несколько металлических сооружений из поржавевшей арматуры, – сплошной авангард. Видно, он подошел вплотную после посещения Братиславы, где мы бродили почти неделю и жили на даче у Петера – бывшего директора национального оперного театра Словакии; Петер спивался, распродавая все и принимая на постой кого угодно. На импровизированном столе – макет церквушки, особая гордость хозяина мастерской, ее формы и пропорции настолько необычны, что, наверное, она так и останется макетом. В комнате все наготове: стол, стулья, горячий никелированный чайник, порезанное сало и лук, зубчики чеснока, самогон и казенка, две массивные бронзовые пепельницы, наполненные окурками, а в стороне несколько пачек дешевых сигарет без фильтра. Окно выходит во двор, оно на уровне асфальта, и когда мы здесь сидим, все время слышно шарканье чьих-то ног. Эта мастерская действительно полуподвальная, в самом центре города, рядом – все удобства (начиная с гастронома). Я встретился с Б.

в Братиславе, когда мы ездили туда с выставкой в конце декабря 1994 года. Авантюрность этой поездки ощущалась с самого начала: в грузовой микроавтобус запихнули картины, скульптуры и нас. Куда мы ехали, какими путями – можно было только догадываться. Первой преградой оказался не Яворовский перевал, а украинско-словацкая граница, на которой таможенная служба словаков продержала нас несколько часов, заставив заплатить приличный налог за художественные ценности, которые всем порядком мешали в течение всей поездки (картины наваливались со всех сторон, сидеть было неудобно). На словацкой границе пряшевские цыгане пихали перед собой поломанные ужгородские машины, в которых сидели полные цыганки и потрясали словацкими паспортами, их родина милостиво принимала своих блудных детей. Когда нам все-таки удалось пересечь границу, то, отъехав несколько километров, мы остановились посреди поля у автозаправки. Сухой словацкий снег рассеивал ветер, двое словаков заливали бензин в старую «шкоду». Старый Ш., который никогда не был за границей, стоя по ветру, блаженно выпускал из себя жидкость и спрашивал: это уже Словакия? Да, отвечал я. Колоссально, сказал довольный Ш., поливая желтой мочой словацкое поле. Я смотрел на банальный пейзаж, ничем не отличающийся от украинского, и ничего «колоссального» не видел. Именно на Николая в Братиславе выпал снег, и мы все маялись на даче Петера, потому что крутая гора, на которой Петер построил свою дачу, не давала нам сойти вниз в ближайшее кафе или магазин. Тогда каждый что-то рисовал, Б. нашел поломанное кресло, отцепил от него сиденье и начал рисовать мой портрет. Через некоторое время наш Петер завалился весь в снегу, в хорошем настроении, начал всех звать в гостиную и доставать из карманов бутылки боровички, рома и пива. Как он все это донес в такой снег и под крутую гору – осталось тайной.

В Братиславе – предрождественские базарчики, Микулаши с колокольчиками на улочках, вкус рома, заснеженный замок Девень, Морава, которая впадает в Дунай, и австрийские парни, которые что-то нам кричали с другого берега.

В Новом Свете спрятались довоенные каменные двух- и трехэтажные дома, полуподвальная мастерская Л. ютилась именно в таком доме. Парадный, или центральный, вход в дом был просто с улицы, а в мастерскую нужно было заходить сбоку. Очень удобно: не приходилось сталкиваться с жителями тех нескольких квартир. Мастерская была перегорожена, бóльшая часть завалена красками, подрамниками, загрунтованными полотнами, баночками со смесями и ацетоном. Дальше – кресло,

столик и умывальник. Сверху над умывальником – шкафчик со стаканами и посудой.

В помещении сырость выедала известь на стенах, а желтые и ржавые пятна от потеков воды появлялись независимо от сезона. Осенними вечерами здесь можно было сидеть только за бутылкой, и хотя грубые стены и потолок имели определенную звукоизоляцию, по вечерам иногда было слышно канализационные завывания санузлов из квартир. Этот особый запах краски, ацетона, засохших кисточек и сырости разбавляли сигаретным дымом и заваренным в турке черным кофе, а к канализационным звукам добавлялись наши голоса и бульканье чайника на газовой плите. Иногда приходилось включать плиту, чтобы прогреть холодное помещение. Чаще всего к такому способу прибегали поздней осенью и зимой. Хозяин, ценитель авангарда, немного запинаясь при разговоре, раскладывает полотна вдоль стен и показывает *искусство*. После выставки в местной галерее, которую чуть ли не первый раз провели как перформанс (открытия галереи все ждали на улице), Л. раздвинул бумажную завесу своей физиономией, разрисованной черной краской, и вся толпа ввалилась в помещение галереи и начала жадно рассматривать картины (после той выставки он нажил себе врагов).

Мы собирались у Л. безо всякой причины: просто нужно было сойтись и поговорить, выпить, спрятаться, пересидеть, переждать, почитать стихи и посмотреть на картины. Просто потому, что это нам нравилось.

Напротив *трипдачи* (вендиспансера, расположение которого было известно многим) санитарки, перебегая улицу, носили эмалированные белые тазики и ведра с надписями красной краской в одноэтажный домик, в котором хранили простыни и полотенца, проштампованные казенными печатями. Медсестры и санитарки в коротких белых халатах, как ангелы, порхали по улице и сверкали упругими икрами. Заведение было известно всем, но попасть туда не желал никто. Лучше было переночевать в медвытрезвителе, чем на трипдаче.

Двери в диспансерный склад были боковыми, поэтому, идя в мастерскую Ч., можно было застать нескольких медсестер, которые, перекидываясь фразами, закрывали или открывали замок двери. Дальше, свернув за угол и подергав щеколду, я слышал, как из глубины мастерской шаркали шаги, щелкали замки и скрипела входная дверь, сначала показывалась борода, и глаза за стеклышками очков, щурясь от дневного света, близоруко всматривались в лицо. На огромном столе – витражная рама, цветные стекла, паяльник. Он рассказывает, что получил

очередной заказ: кто-то из местных *крутых* решил все двери своего нового дома декорировать витражами. Они встретились в одном из ресторанов и договорились, что Ч. сделает для начала десять витражей, а дальше – будет видно. Между тем, когда Ч. почти завершил последний витраж, того чувака расстреляли в иномарке вместе с двумя его братанами. За витражами никто к Ч. не обращался, поэтому он сложил их вдоль стен своей мастерской. И когда открывалась дверь и свет попадал на витражи, подсвеченное стекло отражало цветовую гамму.

11. Диалоги

а)

– Приводы в милицию были?

– Нет.

– А у тебя? – Сержант смотрит на твоего одноклассника.

– Были.

– За что?

– Мелкое хулиганство.

– Когда?

– Год назад за драку на Фабричной, а полгода – за распитие спиртных напитков в парке.

– Ты на учете в детской комнате?

– Да.

– Где работают родители?

– Мамка на ХБК, отца нету.

– Умер?

– Не знаю, нету.

– Кем работает мать?

– Не знаю, в цехе каком-то.

– 12 сентября тебя задержал участковый инспектор Д. Вы пытались влезть в окно общежития. Двое убежали. Кто это был?

– Не знаю.

– Почему вы лезли в окно общежития?

– Не знаю. Мы никуда не лезли.

– Вы разбили окно и пытались…

– Я не разбивал!

– А кто?

– Не знаю.

– С какого по какой класс ты учился в школе-интернате?

– С третьего по седьмой.

– Дальше?

– В деревне, у мамкиной родни.

– Сколько?

– Год.

– Когда восстановили родительские права?

– Полгода назад, и мамка меня забрала.

– В последней характеристике из школы написано, что ты плохо учишься и бьешь одноклассников.

– Спросите его… – показывает в твою сторону.

– Мы его еще спросим! А вот в характеристике из интерната сказано: «Склонен к непредсказуемым поступкам, часто убегает из интерната…» Сколько раз убегал?

– Пять.

– Почему?

– Не знаю.

b)

– Меня замели в 1982 году.

– На сколько?

– Три с половиной дали. Уволился досрочно, за полгода. Приехал к мамке – дом-голяк, маменькин хахаль – алик, мамка спилась, жить негде. Нашел одну разведенку, перекантовался у нее пару месяцев… Устроился в АТП 2224, слесарем-автомехаником.

– Некоторые из наших служили в армии, некоторые учились.

– Я ту разведенку бросил… Клевая была баба, давала безотказно, но хотела оформить наши отношения. Короче, я от нее слинял.

– А помнишь Юрку из параллельного класса, единственный из наших, кого призвали в Афган?

– Ну, он еще так смешно выговаривал «р».

– Ну да, он был похож на зайца.

– Погоняло его – «Заяц» или «Кроль». Короче, покрутился я в том АТП. Знаешь, на зоне иногда мы слушали музыку. Ты любишь музыку?

– Ну да, люблю…

– Да нет, я спрашиваю о музыке серьезной?

– Ну да, иногда слушаю…

– А Бетховена?

– Слышал, даже кое-что читал…

– Прикинь, я там на зоне вспомнил наши уроки музыки (это было где-то в шестом классе). Помнишь, у нас вел уроки лысый с баяном, я еще однажды ему ноты залил чернилами. И он дрожащими руками складывал те ноты, вымазал себя, и свой баян, и большой портфель. Бля, прикинь, я помню, как он, глядя на меня (хотя доказательств никаких не было), сказал, что если я

когда-нибудь получу удовольствие от Бетховена, а не от западла, то его уроки не прошли даром. Он так и сказал – от Бетховена.

– Ну я так не думаю…

– Давай, братан, за музыку…

c)

– Привет, – в телефонной трубке легкое потрескивание.

– Здорово, чувак. Как там Нью-Йорк?

– Стоит.

– Ты знаешь, несколько дней тому назад на Пушкина нашли мертвого Р. Говорят, он жил там у какой-то стервы. Ну вроде выбросился с восьмого этажа, но я слышал, что за старые долги его же кенты и пришили, а потом выкинули – ну, пьянки-гулянки, разборки, то-сё…

– Жаль, он когда-то в десятом классе вступился за меня…

– You have one minute.

– Куда ты исчез?

– У меня одна минута – говори скорее.

– Что? Что говорить?

– Ты читал роман Энтони Берджесса?

– Кого-кого?

– Берджесса-а-а.

– Да не слышал я ни о каком Берджесе!

– Берджесса-а-а, Берджесса-а-а.

– Не читал.

– У Берджесса есть эта история о Р., мне кажется, точно о нем. Энтони Берджесс создал язык надсат, вводя в текст русские слова, ну, преимущественно жаргонные… И весь роман «Механический апельсин» изобилует ими, записанными латиницей, что мешает любому англоязычному читателю связать узлы смысла… Ну, смысл в приколе… Он заключается в том, что эти русские слова в латинской транскрипции на самом деле употреблены точно и стоят в нужном месте. Стэнли Кубрик перемолол этот текст своей кубриковской эстетикой в удачный коммерческий кинопроект, не слишком отходя от текста романа. И в романе, и в фильме звучит музыка Бетховена… Как контраст к действиям молодых хулиганов, как альтернатива злу… Правда, не знаю, почему я это тебе говорю… И при чем здесь Берджесс…

– Алло, алло…

12. Три музыкальные вариации

a) Людвиг ван Бетховен

Бетховену не повезло с нашими уроками химии. Дело в том, что химичка, закрывая половину периодической таблицы Менделеева (и заодно бородатое лицо тестя поэта Блока), сыпала громы и молнии на нас за очередную контрольную по органической или неорганической химии. Ее коронным номером было под конец вспомнить Бетховена как любимого композитора товарища Ленина, а она как коммунистка, ясное дело, не может и не имеет права допустить, чтобы мы не расслышали «музыку» ее предмета – химии, которую она считает симфонией Бетховена, ведь все там, в химии, связано музыкальными нитями, и даже периодическая система за ее спиной (точнее, за ее задницей) – это закодированная музыка, это Бетховен! (Эту фамилию она почему-то произносила с ударением на первом слоге.) Почему товарищ Ленин любил музыку Бетховена, химичка не объясняла. Просто любил вождь – и точка. Химический кабинет с колбами, химикатами, портретами знаменитых химиков, учебными плакатами, которые объясняли достижения химической промышленности страны, никак не увязывался с музыкой, а Бетховен – тем более. Каждый раз, костеря нас почем зря и не объясняя ошибок в формулах и химических задачах, химичка взывала к Бетховену. Она рассказывала о его музыке, о его глухоте, о симфониях, об исполнении их симфоническими оркестрами.

Валера поднимает руку, химичка падает, как коршун, с высоты своей симфонической эйфории и стеклянными глазами смотрит на Валеру.

– У меня вопрос.

– Какой?

– О Бетховене.

Класс оживляется.

– Бетховен – немец? – спрашивает Валера.

– Немец, – отвечает химичка и добавляет, что его предки, вероятно, из Голландии.

– Но немец? – уточняет еще раз Валера.

– Ну немец, немец, – с нажимом отвечает химичка.

– А чего мы о немцах должны слушать? Они нам войну проиграли!

Химичка подается всем телом к доске, вытирая спиной и задницей записанные мелом тему урока и химические формулы. Симфонии Бетховена в одно мгновение становятся гильотиной для ее массивной головы, которую она склоняет под топором аргументов Валеры.

– Но товарищ Ленин… – как-то неуверенно пытается оправдаться химичка.

– Товарищ Ленин не знал, что немцы проиграют войну! – отражает атаку химички Валера.

– Не знал… – соглашается химичка.

На второй урок отстаивать Бетховена прибежали директор, парторг школы и председатель профсоюза. Они наперебой вместе с химичкой защищали Бетховена и его музыку, выпросили у учителя музыки портрет композитора и, отодвинув стеклянные колбы, примостили его на учительском столе в качестве доказательства, что Бетховен может вполне стоять среди химических реактивов и растворов, а его музыка переживет даже Валеру…

«Задолбала она этим своим Бетховеном, лучше бы опыты свои показывала», – сокрушался Валера.

«Та-да-да-да», – эта бетховенская тема, прошитая струнной слаженностью симфонического оркестра и усиленная трубами и тарелками, а музыканты, как пауки, ткут тонкую паутину этой непостижимой музыки, этой тайны, которая взмывает в небо концертного зала и осыпается на головы слушателей звуками конфетти, – это нашествие звуковой гармонии, подступы к божественному, какое-то неописуемое познание, слом сознания, эта музыка, приходящая с возрастом, с поисками ответов между жизнью и смертью, конечно, переживет Валеру и не только его.

Что она означала для химички?

И что она значит для тебя сегодня?

б) Духовой оркестр мясокомбината

На мясокомбинате, кроме рабочих, начальников цехов, скота, который свозили ЗИЛы и ГАЗоны, существовала своя художественная самодеятельность, которую возглавлял духовой оркестр. Инструментов закупили достаточно, но музыкантов приходилось приглашать из других организаций и коллективов, чтобы доукомплектовать вакантные места. Так в этот оркестр попали духовики, которые подрабатывали, играя на похоронах, преимущественно когда хоронили отставных военных, начальников разных уровней, бывших поголовно атеистами, ну и еще когда кто-то заказывал духовую музыку от семьи. Поэтому ударными инструментами здесь заведовал пенсионер Миша, а медными тарелками – тоже пенсионер, музыкант-отставник Коля. Самая большая морока была с бас-трубой, но нашли студента местного музучилища, мать которого работала на каком-то складе комбината. Обычно оркестр играл три раза в год: на первомайской демонстрации, празднике урожая и октябрьской демонстрации, которая приходилась на ноябрь. Летом мясокомбинатский духовой оркестр был обязан играть в парке

им. Шевченко, на деревянной эстраде, обрамленной двумя огромными портретами: Карла Маркса – слева и Фридриха Энгельса – справа. Рядом – островок и узкие каналы, по которым плавали катамараны, лодки и белые лебеди. Вожди мирового пролетариата, наслушавшись за летний период различных духовых маршей и мелодий, срывались со своих мест, как птицы, но весной их снова ловили и выставляли на публику. Пенсионеры Миша, Коля и студент музучилища, который страдал из-за своей мамы, работницы комбината, больше всего любили эти летние концерты для публики на открытом воздухе. Мише не нужно было таскать впереди себя огромный бубен, а студенту – массивную бас-трубу. Ведь когда оркестр маршировал, он от веса трубы и оттого, что постоянно сбивался с марша, не всегда успевал хватать губами мундштук. Поэтому басовая партия в оркестре мясокомбината «зависала», а через несколько метров снова появлялась, как поезд из туннеля. В парке Шевченко играть было приятно, немногочисленные слушатели сидели на скамейках, на торговых лотках продавали мороженое, пиво и сладости. Работали аттракционы, визжали дети, в бильярдной гоняли шары местные игроки (иногда играли и на деньги). В кустах молодые девицы мяли шары молодым ребятам. После концерта в грузовик бросали все инструменты, и кто-то из водителей отвозил их на склад, расположенный рядом с бойней. И только пенсионер Коля не сдавал своих медных тарелок, поскольку это была его собственность, которую он привез из Германии, где служил в полковом оркестре как сверхсрочник. Пенсионеры Миша и Коля тайно от всех подрабатывали игрой на похоронах с несколькими такими же шабашниками из других оркестров: милицейского, облпотребсоюза или пивзавода. Они постоянно звали и студента, но тот не всегда мог (для молодого парня тащиться с огромной трубой через весь город было не с руки, поэтому он часто отказывался).

Самым тяжелым периодом в жизни мясокомбинатского оркестра была первая половина августа, потому что во второй он открывал ежегодный праздник города на стадионе. На центральных лавках сидел обком, могли притащить еще какого-нибудь летчика-космонавта из Москвы. Разные там передовики с комбайнового завода или хлопчатобумажного комбината, доярки-героини, комсомольцы в униформе студенческих отрядов, голосистые пионеры со своими речевками, ветераны с медалями, и впереди всех маршировал оркестр мясокомбината. Они обходили трижды 800-метровый стадион, а конец марша доигрывали лицом к обкому и почетным гостям. Для этого нужно было тренироваться (а времени, как всегда, в обрез), дирижеры

менялись, оркестрантов всегда не хватало. Пенсионеров Мишу и Колю заманивали мясопродуктами, выпивкой, месячной зарплатой кладовщика и почетной грамотой мясокомбинатского профсоюза. Студент пахал за маму. Оставшихся (тех, кто работал на комбинате) освобождали на это время от работы. Тренировались на колхозном поле, которое подходило вплотную к территории комбината. В августе пшеничную или ржаную солому оркестр вытаптывал за две недели репетиций, как табун лошадей. Оркестр ходил от центральных ворот комбината к шоссе, на территории репетировать было невозможно, потому что скот на бойню поступал бесперебойно, и вся небольшая заасфальтированная площадь перед домом дирекции всегда была заполнена машинами, которые подъезжали к бойне, и машинами, которые вывозили готовую продукцию.

Перед главными воротами комбината несколько грузовиков постоянно ждали разрешения на въезд. Их ожидало, может, с полдесятка. Водители открывали двери и окна (август), а коровы, скучившись в кузовах машин, смотрели большими глазами то на металлические ворота пропускного пункта, то на духовой оркестр, который в полном составе выстраивался для репетиции на свежевыкошенном поле. Водители, впервые привозившие коров, ошибочно считали, что это мясокомбинат встречает их коров, но опытные разочаровывали их, объясняя, что так, мол, и так.

Дирижер держал под мышкой ноты, мокрые от пота, и кричал на худого студента-басиста, который никак не мог нацепить на себя огромную трубу. Наконец, все выстроились и прошлись в сторону шоссе и обратно. В последнем ряду два пенсионера Миша и Коля и этот молокосос-басист плелись, не соблюдая никаких правил маршировки. Пенсионеры тяжело дышали и смотрели на коров, клавших свои мокрые морды на деревянные борта грузовиков и, слюнявя их, сочувственно сопровождавших последний ряд духового оркестра своей коровьей песней. Когда оркестр доходил почти до въездных ворот мясокомбината, дирижер выкрикивал что-то оркестрантам, а также махал рукой водителю первого грузовика, ведь контролеру Михаилу Ивановичу не хотелось выходить из прохладной будки. Тогда водитель хряпал дверью, заводил мотор – и три первые коровы в кузове его грузовика въезжали на территорию комбината. Последнее, что они видели перед бойней с высоты кузова, – был оркестр, который собирался снова идти маршем к шоссе.

Оркестранты сплевывали августовскую пыль и протирали мундштуки. Они ждали, когда дирижер даст команду правой, чтобы жадно впиться распухшими губами в мундштуки труб. И

оркестр снова нес музыку над собой, проходя мимо остальных грузовиков, ждавших своего часа. Снова плелись пенсионеры и молокосос, опять что-то кричал дирижер, и очередная машина, заведясь, въезжала в ворота комбината, в который раз накрыв пылью уставших музыкантов.

На трех грузовиках, ждавших команды начальника, а точнее – знака от Михаила Ивановича из будки для въезда на комбинат, несколько коров начали реветь неистовым ревом, предсмертным животным хрипом. То ли их растревожил оркестр, то ли они слышали, как, сопротивляясь, хрипели их сестры, которых мясники впихивали на бойню, но нервозность коров на грузовиках доходила до бешенства: они били рогами друг друга, ревели, терлись об борта от безысходности.

В это время оркестр возвращался с шоссе с триумфальным маршем Джузеппе Верди из оперы «Аида», и дирижер дирижировал, а коровы ревели, трубили в свои коровьи горла, широко вбирая ноздрями воздух так же, как оркестранты дули в трубы, надрывая свои легкие.

Пенсионер Миша сидел на своем бубне и смотрел, как оркестр сопровождает все три грузовика, которым Михаил Иванович дал из будки команду, продублированную дирижером (последний от жары был похож на оглушенную обухом корову).

Миша сидел и думал, что, наверное, уйдет из этого оркестра. Заработать копейку можно и шабашкой на похоронах, да и здесь можно было бы остаться, но эти августовские репетиции, ну их на х…

За последним грузовиком в ворота входил оркестр, бешено играя свой придурковатый марш.

в) Pink Floyd, The Wall

We do not need no education
We do not need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers leave the kids alone
Hey, teacher, leave the kids alone!
All in all it’s just another brick in the wall
All in all you’re just another brick in the wall

В тот день, когда Г. принес в школу обернутую в двойной целлофан новенькую пластинку «The Wall» группы «Pink Floyd», он стал королем класса.

На следующий день он пришел уже без пластинки, но с невидимой короной, которая крепко сжимала его голову. Р.

попытался несколькими словами сбросить ее с Г., и трон под ним пошатнулся.

– Ну, а где пластинка, чувак? – спросил Р.

– Дома.

– Дома? Трындишь! Взял у кого-то, чтобы повыделываться здесь.

– Бля’ буду, мой диск! – отвечал Г., чувствуя, что значительная часть класса начала сомневаться в правдивости его слов, а это было уже дело чести.

– Чем клянешься? – не отступал Р.

– На пидараса, – и сделал характерный жест.

– Ну хорошо, завтра принесешь, – сказал спокойно Р. и обвел взглядом класс. Поклясться *на пидараса* в случае невыполнения обещания означало такой облом, что Г. и Р. понимали, чем рискует Г. (понимал, конечно, и класс).

– Обломайся, – выдавил из себя Г. и поправил волосы (но также и корону, которая до завтра еще держалась на его голове).

Р. точно знал, что в городе было только два диска «Pink Floyd». Первый был у сына ректора местного института, а второй – у музыканта ресторана «Калина», который что-то мутил с московскими фарцовщиками (этим с Р. поделился на дискотеке диск-жокей, точно знавший, какие диски курсируют по музыкальному черному рынку города). Диск сына ректора, рассказал он, оценивался в 70 рублей, потому что обертка была порвана, правый верхний угол запачкан. А у ресторанного лабуха была новая и могла уйти за 100–120 р. (Р. прикинул, что Г. как-то достал на один день диск лабуха и приволок в школу).

Ну а теперь он, Р., опустит его перед всем классом и будет называть только пидором, вонючим пидором.

На второй день Г. не пришел на первый урок.

Р. сидел довольный. Он знал, что Г. все равно появится – не сейчас, так завтра, разве что перейдет в другую школу. Но Р. имеет кентов повсюду – в центре, на Новом Мире, на Восточном (и о том, что Г. поклялся *на пидараса,* будут знать все).

Перед вторым уроком, английским, в коридоре на третьем этаже увидели Г., который направлялся к Р. Тот что-то заливал компании одноклассников. Г. снова шел по-королевски, держа в руке пинкфлойдовский диск с нарисованной стеной на титуле. Р. не мог поверить в это.

– Опять взял у лабуха из «Калины»?

– Обломайся, чувак, моя пластинка, понял?

И помахал ею перед лицом Р., который без понтов учуял запах, характерный для зарубежных товаров (этот запах был лучше любых духов в Советском Союзе).

– Смотри, новая. Только что из Англии. Музон клевый, некоторые песни я уже перевел.

И насвистывая «We do not need no education, We do not need no thought control», пошел к открытым дверям класса – королем, а не пидором, которым его хотел сделать Р. Одноклассники также поодиночке обходили Р. в коридоре, где еще возились шестиклассники, которых в тот момент «Pink Floyd» вовсе не интересовал.

* * *

У Г. было два проигрывателя. На советском со знаком качества он слушал советские диски фирмы «Мелодия», а на фирменном «Sony» – диски, которые его отец привез из Канады. Все объяснялось просто: у Г. были родственники в Канаде, его старик ездил к ним и через два месяца привез кучу шмоток, аппаратуры и диски. Г. никому об этом не рассказывал, потому Р. и не мог подозревать о такой лаже. Г. тоже не слишком хвастался, ведь диски могли забрать, да еще и приписать распространение враждебной идеологии. Он знал, что на крайняк сможет спихнуть эти диски за приличные бабки, по крайней мере дисков у него было где-то на полторы тысячи.

Самая красивая девушка школы О., дочь физички, тоже знала, что она королева. Но о том, что Г. – король, она, видимо, не догадывалась, поскольку музыка ее интересовала только на дискотеках (остальное время бдительная мама заставляла ее учиться). У нее была подружка М., конечно, клевая, но некрасивая, к тому же ей мешал высокий (для ее возраста) рост – почти метр девяносто, – отчего она немного комплексовала, горбилась и носила обувь без каблуков. Правда, она была знакома с чуваками из Центра, криминальным авторитетом Гачиком, бывала на подпольных видеопросмотрах порнофильмов, рассказывала О. о французских поцелуях, о дисках, которые слушает весь Центр, – и вызывала в О. настоящую зависть, даже несмотря на свои метр девяносто.

Однажды М. позвонила О. и как бы между прочим сказала, что в их школе у Г. есть редкий диск «Pink Floyd», который сам Гачик занимал для прослушивания у гитариста из «Калины», и тот дал послушать только потому, что это Гачик. О. заметила, что это клево, на что М. еще успела ответить, что надо этого Г. как-то раскрутить. Но разговор прервался, потому что М. звонила из автомата.

Своим планом по поводу диска М. поделилась на следующий

день, когда они обе ехали на учебу в производственный комбинат. План выглядел так: О. подойдет к Г., намекнет ему, что было бы клево послушать диск. Скажет, что может прийти с ней, М., к нему домой, когда *старики* Г. уйдут, а потом они будут всем рассказывать, как слушали диск всем, и все будут им завидовать (если сам Гачик слушает эту группу, то, сделала вывод М., это ништяк).

Несколько дней спустя план М. осуществился наполовину: Г. согласился на предложение О., но задержка была за его стариками, и заговорщики ждали.

Через некоторое время Г. позвонил О. и сказал, что *старики* едут на два дня в село. О. спросила, что принести с собой. Г. ответил, что *бухло* в принципе есть, *хавку* ему на два дня оставили, так что все *чин чинарем*.

Г. жил в девятиэтажке на верхнем БАМе, в трехкомнатной квартире. О. в новых джинсах на гибкой фигурке собирала взгляды встречных парней и мужиков, они раскрывали рты и таращились, а М. в юбке-клеш сверкала своими длинными икрами, на которых пробивались светлые волоски (встречные парни и мужчины мысленно называли ее кобылой). О. была королевой, за которую сражались на дискотеках, М. сопровождала ее в качестве придворной дамы. В лифте О. и М. поправили фризуры и, позвонив, оказались в квартире Г. Начало было скучным: *чернила*, которые откупорил Г., не пошли, второго чувака Г. не пригласил, поэтому М. скучала. Г. не нравился О., но «Pink Floyd» она хотела послушать.

Смеркалось. Г. принес в гостиную проигрыватель «Sony» и пластинку «Pink Floyd». Он размышлял, под каким бы предлогом отшить М. Но она, разлегшись на диване, что-то непрерывно трещала о Центре, серьезных чуваках, Старом парке. О. рассматривала библиотеку Г., а также фотки с последней экскурсии его класса в Черновцы. Пить девушки отказались, но набросились на шоколадные конфеты. Г. заварил львовский кофе и предложил покурить на балконе. М. закурила, О. отказалась, рассказав последнюю историю о том, как ее мама унюхала табачный дым после ее возвращения с очередной дискотеки и устроила скандал, поэтому сегодня курить она не будет. Время шло, М. спросила Г. о музыке – мол, пора идти домой, а музыки они так еще и не слышали. Ведь Г. пригласил их не только курить и пить кофе (покурить, по мнению М., она могла и у подъезда или на спортивной площадке возле школы). Г. ответил, что если они настаивают, то он сейчас включит проигрыватель. Но еще не поздно, и он проведет их домой. Поэтому, он считал, время слушать пинков еще есть. Наконец, покурив, они начали слушать

диск. М. хвалила группу, их музыку, говорила, что все западное – это *ништяк,* и добавила, что ее мамка заказала одному моряку торгового флота новые джинсы из Америки, и тот обещал привезти. О., демонстрируя свои джинсы, танцевала под «Pink Floyd», выламывалась, мотая головой с длинными каштановыми волосами, М. пила вино и понемногу пьянела, О. пила морщась (видно было, что с алкоголем она не дружила). В голове Г. кружили сексуальные мысли, усиленные «Pink Floyd», стройными икрами О. и массивными коленями М. На крайняк он даже готов был на флирт с М., и после фужера вина его уже не отпугивал даже ее длиннющий рост. Телки балдели, а Г. никак не удавалось оставить с собой хоть кого-то из них. Под последнюю песню «PF» они втроем тащились, как на дискотеке. Г. прижимал обеих, чувствуя их грудь и бедра. Он снял с проигрывателя пластинку, и в тот момент О. о чем-то его спросила. М. как-то неосторожно подхватила виниловый диск своей длинной рукой, он соскользнул и, падая, зацепился за журнальный столик, ударился ребром о хрустальную вазу и, отскочив рикошетом, плавно приземлился возле батареи. Г. смотрел на пластинку, М. уставилась на Г., а О., не понимая до конца, что случилось, напевала пинкфлойдовский мотив «All in all it's just another brick in the wall, All in all you're just another brick in the wall». Когда Г. подбежал и поднял слетевший «PF», маленький черный кусок винила остался лежать у батареи.

Так в городе снова осталось две пластинки «Pink Floyd». И об этом знали Г. и две телки, которые быстро ушли от Г. и теперь перекуривали у подъезда, обмениваясь пережитым.

«Я вообще не хотела слушать эту группу», – сказала одна.

«А я не знала, что эти диски летают и лопаются. Какая-то халтура, а не Запад», – заметила небрежно другая.

13. Песня бомжихи

На Театральной площади пела бомжиха. Из ее рта несло, как из туалетов общих вагонов поезда Трускавец – Харьков, который на несколько минут останавливается на железнодорожной станции Тернополь.

Бомжиха с баяном пела оперные арии, сидя на стуле, в ногах примадонны лежали рыжая сука и мужская фуражка, наполовину наполненная гривнами. Голос порывами ветра заносило в театр, в бар «Коза» и в гостиницу «Украина». Но ресторан «Ретро» и сгорбленный Шевченко, печально смотревший на официанток, разносивших алкогольные напитки за стеклом, вынуждены были

настороженно прислушиваться.

В центре города бомжиха пела сердцем, разрывая меха баяна, притопывая тапочками, перевязанными белыми шнурками. Она хваталась за высокие ноты, как гимнаст за перекладину, и выводила своим голосом фигуры высшего пилотажа. Разрывала себя и свое сердце (а сердце рыжей суки тоже обливалось псовой кровью, ведь ее хозяйка никогда не выйдет на сцену, как Сьюзен Бойл).

Бомжиха гладила суку по голове, а та с собачьей преданностью грела ей ноги своим телом.

Группки тернопольских неформалов пили пиво и плевали на асфальт. По площади разгонялись и тормозили велосипедисты, становились на дыбы передними колесами, весело комментировали свои падения.

Опера на свежем воздухе, ужин на обочине, вокзал – как жизнь и смерть.

Поезда, которые опаздывали на пять минут, нумерация с хвоста поезда, зэки, которых переправляли этапом, новобранцы, ждущие казатинский поезд, менты, патрулирующие станцию, проститутки, работающие на выходе, кассирши с пятиминутным техническим перерывом, кассы для международных направлений и випов, залы ожидания, буфеты, туалеты с уборщицами, которые отрывают по желанию клиента куски бумаги, запахи и звуки, заполняющие вокзал, музыка, снующая между таксистами, обменными пунктами, торговцами сигарет поштучно и пачками, продавцы яблок и слив, семечек, закарпатские цыгане, ставшие табором в привокзальном скверике, прося милостыню и гадая на картах, – а поезда приходят и уходят, а пассажиры покупают билеты и ждут свои рейсы, а диспетчеры кричат по радио о путях, о пассажирских и товарняках, а железнодорожники постукивают по колесам и подсвечивают своими фонарями мои слова…

Бомжиху захватит ночь, и рыжая сука будет покорно плестись за ней в направлении вокзала. Где-то там они подночевывают и там прячут свою музыку, где-то далеко я еще вылавливаю их тени в подгоревшем осеннем воздухе, зная, что в мой нью-йоркский самолет эта музыка и город попадут, не замеченные таможенниками, в фразе вечной свободы: «Чувак, врубай свою музыку громче, если сможешь…»

2009

«Vis-À-vis». Rynek GłÓwny, 29

Краков

Поезд

Утренний pociąg pospieszny мчится из Перемышля в Краков, удаляясь от восточной границы Польши. Для поляков эта граница восточная, для нас – западная (разница невероятная, в этом и весь прикол).

На пограничных переездах торчат машины и автобусы в оба направления: из Украины в Польшу и наоборот. Пограничники и таможенники ловят халяву и делают бабки: или потрошат украинских туристов, выводя их на таможенный и паспортный контроль из автобусов, или держат километровые очереди машин, ссылаясь на пересменку, хотя на самом деле просто изматывают ожидающим нервы. Сплошная контрабанда, в основном спирт и сигареты. Перевезти можно что угодно.

Крутые на иномарках предлагают быстрый переезд через границу за соответствующую плату, и тот, кто платит, на самом деле вне очереди в сопровождении какого-то «форда» за считанные минуты проскакивает мимо украинских таможенников и пограничников, нейтральную полосу и, наконец, поляков – уже в Польше. Там, где освещенные улицы и дороги, по которым можно катать яйцо.

Польские крестьяне продают лук. Луковичные ряды тянутся уже от самой границы вместе с рекламой всевозможных товаров и услуг на польском, русском и украинском языках.

До Перемышля каких-то десять минут от границы, на протяжении всего пути в город также автомобильная очередь. Кажется, что весь автопарк бывшего Советского Союза и автомобильное говно из Европы скопилось именно здесь и сейчас. На капотах едят и пьют мужчины и женщины в спортивных костюмах, *трудовые резервы* нового времени, все – бизнесмены. Бизнес прост: в Польшу – спирт, водку и сигареты, оттуда – доллары. Инкубационный период бизнеса – две-три недели (чтобы получить товар), и неделя-две, чтобы его распродать.

Перемышль превратился в центральный город для торговцев из Украины, вокруг вокзала сотни контор, на местном стадионе огромный рынок. В переходах едят на морозе привезенную с собой колбасу и купленных здесь же жареных кур запивают своей

водкой. Греются. Обменивают злотые на доллары, живо обсуждают, с каким товаром лучше сюда ехать. Нескольконедельное торчание на рынке превращает этих учителей и инженеров в сплошную массу торгашей. По ту сторону границы вообще полный *песец* – все, кто как может, вылезают из-под обломков рухнувшей страны, которая называлась Союзом. Сплошная полундра на Запад, ближайшей и самой доступной оказалась теперь Польша. А до этого были Югославия, Турция и Румыния. Свобода передвижения. Свобода, ё-мое…

Оккупация пригородного вокзала украинскими *бизнесменами* проходит этапами: кто-то спит на лавках, остальные стерегут товар и ждут утра, когда масса людей направится к рынку. В подземном переходе, который соединяет вокзал с автостанцией, – тележки, сумки, пачки и измученные невыспавшиеся люди – шаркающие ноги, скрежет металлических колесиков, – обычный день базарной жизни продвигается вперед к выходу.

Утренним поездом Перемышль – Вроцлав в вагоне второго класса для курения едут поляки и украинцы с клеенчатыми сумками. Сумками заложены все свободные и пригодные для этого места: в купе, в проходах, у туалета, даже на металлических сцеплениях между вагонами. Все курят – поляки и украинцы. Поляки, похоже, позавтракали дома своим бутербродом с кофе, а украинцы с торбами только начинают выставлять на столы в купе бутылки водки, вареные яйца, колбасу, лук с чесноком. Угощают поляков – некоторые угощаются, кое-кто отказывается, а некоторые шипят: *пся крев*…

Поезд все дальше углубляется на запад, попадаются первые железнодорожные переезды, города, поля с грязным январским снегом, шпили костелов, серые добротные дома, дороги, «полонезы», «фиаты», *малюхи*, немецкие «трабанты» и советские «лады».

Железнодорожник в униформе проверяет билеты и просит убрать багаж из узкого прохода, на его просьбу никто не обращает внимания – или не понимают, или делают вид, – и этот утренний поезд, пропахший самогоном и луком, проносится со свистом по Польше, которую постепенно завоевывает клеенчатая орда.

Через несколько часов – Краков.

Ночные мотыльки

Где-то около четырех утра ты выходишь из ночного бара, который закрывается в пять, с болтушкой нескольких кружек пива в желудке и вдыхаешь апрельский краковский воздух после

многочасового сидения в прокуренных и непроветриваемых подвалах.

Чтобы попасть в свой дом возле аллеи Мицкевича, тебе нужно еще перейти несколько улиц, а также площадь Рынок. Воскресенье, еще темно. На одной из улиц стоят несколько проституток, неподалеку – западногерманский «фольксваген» с полуоткрытым окном, из которого валит сигаретный дым. Твой не вполне трезвый вид вызывает интерес проститутки – девицы в короткой юбке и черных узорчатых колготках. Она пытается остановить тебя просьбой о зажигалке.

– Przepraszam, ale mam tylko zapałki, – отвечаешь ей.

Ты уже научился распознавать «своих», эта лахудра – явно не полька, а встреча с бригадами рэкетиров и сутенерами, которые заполонили Польшу и трясут «земляков» на рынках, на трассах, в поездах, на улицах и вокзалах, ничего хорошего не предвещает.

Она еще несколько секунд пристально смотрит, оценивая тебя как потенциального клиента или жертву, потом, повернув голову в сторону «фольксвагена», бросает:

– Подвыпивший поляк. Лажа.

– Dobranoc, – говорю ей в ответ.

Бригада

Мытарства на границе и перевезенный товар не гарантируют безопасность. Вслед за «бизнесменами» с торбами (а может, и наперегонки с ними) тянутся самые разные шайки украинских и российских уголовников, которые решили не оставлять бывших сограждан без присмотра и не отдавать их на растерзание польским злодюгам. Шайки получили контроль над рынками, потрошат автобусы, догоняют и останавливают перегонщиков старых авто, облагают данью даже уличных музыкантов, которые веселят польский уличный люд советскими хитами или фольклором.

Польская пресса и телевидение подавали обеспокоенные репортажи о рвачах с востока и о криминалитете, который уже обосновался в Речи Посполитой. Некий полковник полиции, блуждая глазами, убеждал сограждан, что полиция все знает и всех обязательно разоблачит и арестует, а замминистра внутренних дел объяснял все хозяйственными проблемами в России, Украине и Белоруси: мол, «ничего, господа, не поделаешь, но восточная граница – на замке».

Между тем криминал с востока налаживал свою деятельность, переправляя проституток, цистерны со спиртом,

наркоту, цветные металлы, легко открывая подкупом тот «замок», о котором говорил замминистра. Эти ловкачи чувствовали себя хозяевами на вокзалах, встречая поезда из Украины и России, а также из Перемышля, набитые торгашами с товаром, и сразу требовали у них дань за возможность продвинуться на рынок (хоть там их ожидает уже другая братва, предлагая взять под свою крышу). Они крутились на авторынках, куда приезжали лохи с несколькими тысячами долларов в карманах, чтобы приобрести подержанный автомобиль, который пригнали поляки из Германии или Голландии. Лохов вычисляли безошибочно и заставляли делиться деньгами здесь, на месте, или пеленговали приобретенное авто и догоняли за городом. Платить или не платить – этот гамлетовский вопрос братва решала однозначно в свою пользу.

Даже ты, подойдя на Флорианской к двум уличным музыкантам, преподавателям музучилища, которые подрабатывали пением, согнал их с насиженного доходного места. Они приняли тебя за кого-то из братвы (скорее всего, из-за одежды: прикид ты уже себе приобрел польский и не был похож на человека на рынке). Ты хотел с ними поговорить как с земляками, но они торопливо убрались восвояси.

«Vis-à-vis»

На Плянтах – алкоголики и бездомные, на площади Рынок – туристы, брички с лошадьми, кофейни, памятник Мицкевичу, костел Мариацкий, «Пивница под баранами», книжные магазины. Первым местом, которое ты посетил в Кракове, была кофейня «Vis-à-vis». Ты выбрал ее случайно. За стойкой бара торчал продавец пива, а ему ассистировала немолодая, без нескольких зубов и с неизменной сигаретой, официантка.

Помещение узкое.

Ты выбираешь свободное место с видом на площадь и заказываешь светлое пиво, кладешь на стол пачку сигарет и спички. Беззубая официантка подходит к твоему столику. Быстро протирает его и заменяет пепельницу, небрежно стряхнув на стол пепел. Она перебрасывается парой слов с постоянными клиентами – что-то о погоде и том, что, *сука, при коммунистах была работа, хотя не было свободы*, – механически протирает столики и каждый раз меняет пепельницы.

От такого сервиса у тебя появляется ощущение, что ты, блин, в Европе. Вот же она – за окном этого бара, в баре, в пиве, в дыме, в куреве.

Ты переступил *ее* границу.

Мрожек

Пресса писала о возвращении Мрожека из Мексики в Краков. Как будто бы он продал свое ранчо, потому что долгое время должен был ночью с ружьем в руках охранять его от банд местных преступников, из-за которых страдали все в окрестности. Вроде бы еще спросил жену: Париж или Краков? И та выбрала Краков.

Вообще, в Польше в то время сложилась интересная ситуация: с одной стороны, возвращались эмигранты, а с другой – подросло поколение Брульйон. А еще кибицы.

Мрожек смотрел сквозь свои очки, стоя на Каноничей, а я смотрел на Мрожека, как тот в белых кроссовках и в коротком кремовом пальто оглядывался вокруг. На голове у драматурга была английская шляпа, из-под козырька которой выглядывали стекла очков. Был 1996 год, а за три года до этого Мрожек написал пьесу «Любовь в Крыму». Место действия и героев он выбрал не случайно – дореволюционная чеховская Россия с ее меланхолическими курортными разговорами за чаем и вареньем и поисками выхода менялась на власть «товарищей» с их абсурдом и жестокостью. Именно переходная психология общества и индивидуума, где не только продают и вырубают вишневый сад, а и меняются все роли, смещаются акценты и моральные основы, а вместо сада – пепелище.

Мрожек уловил переходность нового времени, когда пролетариев заменили новые буржуа, которые вышли из тех-таки «товарищей» (симметрия восстановилась уже в конце века).

Мрожек стоял и щурился, приглядываясь к Кракову и к улице Каноничей, его фигура и сам вид как будто спрашивали: что я здесь ищу?

Я так и не решился подойти тогда к нему. Просто стоял рядом на Крупничей с таким же идиотским видом: что я здесь забыл?

Шимборская

На фотографии – Шимборская с сигаретой, дым почти полностью закрывает ее лицо, как легкая дымка. Шимборская молодая и сексуальная, дым завесой прикрывает ее ироничный взгляд, детскую дерзость и мудрость.

«Некоторые любят поэзию», – говорит Шимборская и

сравнивает эту любовь с привычными физиологическими и вкусовыми ощущениями, не возвышая (как это делают русские), но и не умаляя (как это делают американцы), потому что все-таки, перед окончанием своего стихотворения, держится за те золотые перила поэзии. Итак, поэзия держит и поддерживает…

В Кракове о Шимборской не разузнать. Говорят, жила на Крупничей. Но это было давно (теперь где-то какие-то профессора-полонисты стали ее друзьями, но они не дают ни адресов, ни телефонов).

Пьяные беззубые сучки на Плянтах тоже обсуждают литературную новость: «Что? Получила Нобеля? Так пусть принесет хоть бутылку сюда, к нам! Запьем того Нобеля… Ха-ха…»

Кибицы

Трамваем я доехал до вокзала, чтобы успеть на ближайший поезд до Кракова. Уже стоя на платформе, я увидел на табло светящуюся информацию о прибытии местного поезда, который как раз подъехал за несколько минут до краковского.

«Гурник – Забже», – с грохотом понеслось над всей платформой многоголосье, как рык возбужденного быка. Сотни молодых людей высыпались на платформу из того местного поезда, и эта толпа двинулась к выходу, неся над собой шлейф крика: «Гурник – Забже! Гурник – Забже… Гурник – Забже…» У молодых в основном были бритые головы, кожаные куртки, шарфы и шапочки с названием любимой команды. Не было лиц, их сплошная масса, залепив собой выходы из вокзала, еще долго протискивалась под редкие реплики пассажиров на платформе, которые ожидали краковский поезд.

«…Они могут сделать революцию, если проиграет их команда», – подумалось тогда. Просто вывалят на улицы, поднимут над головами шарфики и выкрикнут: «Гурник – Забже!» – и уже ничто их не остановит, просто никто и ничто.

Everything for sale

Анна Фрайлих принесла мне DVD с фильмом Анджея Вайды «Everything for sale». По-моему, мы встретились на углу 34-й улицы и 7-й авеню, в «Starbucks». Анна сама выбрала эту кофейню напротив «Macy's». Раньше я этот фильм никогда не видел.

Как-то после нашего совместного выступления в галерее

«Nowego Dziennika» (собственно, это был мой авторский вечер, который вела Анна, а Эльжбета Чижевская читала переводы моих стихов, которые сделал Богдан Задура) я спросил Анну и Эльжбету об этом фильме. Как оказалось, у Эльжбеты его не было, а у Анны DVD как раз был. (Эти две женщины – мои нью-йоркские польки, Анна и Эльжбета, а также Юлита Карковская и еще Йоанна Ростропович-Кларк.)

Вопрос, вынесенный в название фильма Вайды, тогда, в 60-е, имел смысл. Сегодня на него можно ответить примерно так: «Конечно, продается все – вопрос только почем». Тогда можно было ставить эти неудобные нравственные вопросы и таким образом подтачивать корни коммунизма, а теперь даже левачество кубинско-латиноамериканского покроя модно среди молодежи, которая носит военные френчи à la Фидель Кастро или футболки с лицом молодого Че Гевары. Идолы и идеи коммунизма как-то постепенно стали историей: Ленин и Сталин перекочевали в докторские диссертации, Мао из «азиатского тигра» превратился едва ли не в зачинателя китайского капитализма, который благословляет на площади Тяньаньмэнь с ласковой улыбкой на рыхлом женоподобном лице. Миновали геноциды, ГУЛАГИ и этноциды, а Северная Корея и Куба остались исключением из правил. Уже и мораль стоит денег, а романтическое служение мировой революции против западной или христианской цивилизации хорошо оплачивают. Мусульманские экстремисты, выбрав целью Америку как воплощение зла, объявили миру новую войну…

Тогда, в 60-е, это все еще имело свой смысл.

Но все по порядку.

Я познакомился с Анной (она согласилась модерировать мое выступление в Колумбийском университете, не зная меня). Почему польская поэтесса и преподавательница Колумбийского университета согласилась сказать несколько слов обо мне? Наверное, думал я, она представила себя на моем месте, когда оказалась в конце 60-х в Нью-Йорке, поскольку вынуждена была оставить Польшу из-за антисемитской истерии ПОРП. Может, ей вспомнилось это терпкое ощущение первых дней, недель и месяцев в Нью-Йорке, которое не забывается никогда? Ведь очевидного равнодушия и снобизма этому городу не занимать. И она решила протянуть мне руку.

Именно в ту осеннюю пору 2002 года мы с ней познакомились, а после моего второго выступления в Колумбийском университете выпили на брудершафт и перешли на «ты». Анна подарила мне несколько своих книг, со временем я

взялся переводить ее стихи. При переводе Аннинго «Имени отца» у меня возникли некоторые проблемы с текстом (собственно, мне нужны были объяснения отдельных имен из еврейской истории и Аннинoй биографии).

Я позвонил Анне, и она пригласила меня к себе на манхэттенскую 81-ю улицу. Текст у меня был почти готов. Я пришел с рукописью и быстро внес правки в те места, которые нуждались в пояснениях.

В «Имени отца» речь, разумеется, шла о ее отце, который носил редкое имя Петахия (кажется, оно только раз встречается в «Книге Левит»). Соответствующее место нашла, после долгих поисков, двоюродная сестра Анны – Нурит, которая живет в Израиле. В своем стихотворении (скорее в новелле) Анна выстраивает историю своей семьи – галицких евреев, которым пришлось пережить эвакуацию в глубь Советского Союза, в киргизский город Ош, где родилась Анна. Всю львовскую семью Анны уничтожили. Когда ей было три года, соседский мальчишка кричал ей: «Еврейка, еврейка!» (Как считал он, это должно было быть очень обидно.)

Но что бы там ни кричали, в Киргизии ей с матерью, по крайней мере, было безопаснее.

В одном из своих стихотворений Анна называет Нью-Йорк, где живет уже более 40 лет, *лодкой* и *пристанью* (другими словами – своим домом). Принадлежность к ассимилированной еврейской семье не гарантировала полной безопасности в послевоенной Польше. Хотя было не так и плохо, если вся семья ее дяди вернулась из Израиля в Польшу в 50-х, чтобы снова уехать (на этот раз уже навсегда) в 1968 году. У евреев в послевоенной Европе не было уверенности, точнее, они не могли чувствовать себя уверенно: слишком много свежих ран, слишком много воспоминаний и боли. Справедливости ради следует сказать, что и полякам послевоенный пейзаж напоминал о боли, но европейские евреи (те, кто пережил войну, гетто, лагеря, эвакуацию в Советский Союз) – пытались покинуть Европу. Они выезжали в Америку или Палестину, а те, кто остался, обрекали себя на двойственное положение своих среди чужих и чужих среди своих.

Так впоследствии покинут Польшу (каждый исходя из своих мотивов) Ежи Косинский и Роман Поланский. Но Анна Фрейлих принадлежала не к тем, кто думал, что место ее жизни изменится…

События 1968 года в Польше напоминали аналогичные ситуации, которые создавали искусственно, чтобы заставить евреев уехать и таким образом очиститься от них, хотя именно в

Польше евреи чуть ли не лучше всех ассимилировались с этой страной, с ее культурой еще со Средних веков. Но, разумеется, не все было так безоблачно.

Для меня неоспоримым фактом является то, что именно выезд, принудительная эмиграция ускорила появление поэтессы Анны Фрейлих.

Недавно в ее квартире на вечеринке, устроенной по случаю выхода в американском издательстве «EccoPress» полного Збигнева Герберта на английском, я потусовался в обществе многих известных нью-йоркских поляков. Анна суетилась, приветствовала гостей, знакомила, сыпала комплиментами…

Присутствовавшая там вдова Герберта, Катажина Герберт, припомнила нашу с ней переписку.

Точнее, это я напомнил ей, что в середине 90-х, живя в Кракове, написал на варшавский адрес Збигнева Герберта письмо с предложением встретиться. Ответила мне она, госпожа Катажина. А теперь мы с ней фотографируемся на память в манхэттенском доме Анны.

Эльжбета

С Эльжбетой Чижевской мы часто встречались «у Гертруды» – памятника Гертруде Стайн. (С этой Гертрудой у меня вообще много чего связано – но это другая тема.)

Польская Мэрилин Монро (как в свое время называли юную блестящую актрису кино и театра Эльжбету Чижевскую) жертвует карьерой ради мужа Дэвида Галберстама, тогдашнего корреспондента «New York Times» в Польше, позже прославившегося как автор репортажной прозы о Вьетнаме.

Зная, что коммунистическая Варшава недовольна статьями американского корреспондента и его, очевидно, рано или поздно выгонят-таки из Польши, Эльжбета сделала еще один необдуманный шаг: поехала с мужем в аэропорт, чтобы попрощаться с послом Израиля, отозванным в знак протеста против антисемитской кампании 1968 года.

В фильме Вайды, несмотря на то, что речь идет о Збигневе Цибульском, уже само название «Все на продажу» вызывало вопрос: «А что? Или все на продажу, или все-таки что-то не продается?» Тогда, в 60-е, когда проблема морали в ситуации выбора так часто становилась перед людьми художественного мира в странах социализма, этот вопрос предусматривал другой ответ. Не продавалось и не продается самое главное – чувство достоинства перед соблазнами, запугиваниями, любыми тисками.

Собственное достоинство иногда является врожденным свойством, иногда его приобретаешь в обстоятельствах, которые определяют твой выбор.

Почему по довольно эклектичному сюжету этого фильма персонажи все время ищут главного героя, который, как окажется, трагически погибнет под поездом, что вполне соответствует обстоятельствам гибели Цибульского – самой громкой легенды польского кино 60-х. Однако в фильме Эльжбета, которая играет жену погибшего актера, ищет его так, как будто ищет себя. Или голос своего поколения, ощущение хоть какого-то смысла или свободы, которую подавляли в Народной Польше. Все есть в фильме – и личностное, и общественное, но нужно искать прежде всего себя.

Ее брак с американцем, журналистом, к тому же евреем, не мог не повлиять на ее актерскую карьеру в Польше – этим поступком она обрекла себя на изгнание.

Эльжбета курила темные тонкие сигаретки. Мы сидели «у Гертруды», о чем-то разговаривали. Эльжбета вернулась из Европы (вероятно, из Франции), рассказывала о своих странствиях с американской киногруппой, они что-то снимали там. Брайант-парк заполняли любители классической музыки, за несколько часов симфонический оркестр начал очередной бесплатный концерт, который ежегодно устраивали в течение лета для нью-йоркцев. Эльжбета жила рядом, на 43-й улице (отсюда ей идти домой не больше пяти минут), я допивал пиво, а она гасила окурок.

Эльжбета, позвонив, сказала, что поляки устроили в Нью-Йорке кинофестиваль в ее честь, ретроспективу фильмов с ее участием. У нее был пропуск для меня на все просмотры, она просила обратиться к куратору фестиваля, извиняясь, что все в последний момент, говорила, что ее страшно утомил этот фестиваль. После этого собирается поехать отдохнуть в Нью-Джерси у какой-то приятельницы.

В чикагском театре «Шопен» планировали мое выступление – чтение стихов на нескольких языках. Спрашиваю у Эльжбеты, не хотела бы она выступить со мной (ведь в «Новом Дзеннике» во время презентации моих польских книг Эльжбета обязательно читает переводы Задуры по-польски). Она соглашается. Начинается длительная подготовка: договорились с театром, назначена дата, выяснены подробности о перелете из Нью-Йорка в Чикаго, поиск средств, гостиницы, определенно, кто и за что платит. Согласовываем с Эльжбетой программу выступления, количество стихов, какие читать в польском переводе, а какие – в английском. Из Чикаго присылают подготовленные для прессы

сообщения с нашими полными биографиями. Рассчитываем на украинскую, польскую и американскую публику. Уже назначено время, когда нам должны прислать билеты, но дату меняют, потом что-то случилось с тем театром, потом Эльжбета куда-то улетела. Эти постоянные перемещения и согласования помешали нам выступить вместе в Чикаго. Впоследствии на каком-то приеме в польском консульстве Эльжбета спросила о Чикаго и вздохнула: может, в другой раз.

Наши последние совместные с Эльжбетой чтения – это презентация украинской книги Януша Шубера. Эльжбета – элегантная, изящная, с глубоким и грустным взглядом. У нее почему-то никогда не было веселого взгляда, по крайней мере я такого не помню; ее взгляд – напоминание, отчуждение и отстранение. Но не по отношению к собеседнику, а, скорее, по отношению к пространству или ситуации. Не знаю, любила ли она Нью-Йорк (мы никогда об этом с ней не говорили), мои нью-йоркские стихи ей нравились – может, как текст, может, как эмоция или нотка сомнений, связанных с переездами…

Эльжбета вообще мало вспоминала о прошлом. Только когда я рассказывал, что Исаак Башевис Зингер родился в Белгорае недалеко от села моего отца, могла обронить что-то вроде: «Я с ним встречалась». В Брайант-парке вспомнила Галберстама только в связи с его похоронами, на которые поехала и не смогла перенести встречу с его нынешней женой (или уже вдовой)… Дэвид погиб в автокатастрофе в Калифорнии, кажется, в Лос-Анджелесе. Эльжбета была хранительницей своего прошлого, его живым воплощением, легендой при жизни и мифологемой слухов. Она понимала свое величие, но никогда его не подчеркивала, смотрела глазами, полными печали, а сигаретный дым закрывал тонкие черты ее немолодого лица, стирая следы морщин, как самый лучший французский крем.

Мне импонировало, что эта блестящая актриса, за плечами которой была история – успех, мужья, любовники, – читает мои стихи, и мы вместе выступаем, и что нас связывает не прошлое, а сегодняшний Нью-Йорк, а когда мы прогуливаемся по дорожкам Брайант-парка, на нас никто не обращает внимания. В этом многолюдье парка нас знала только наша Гертруда. Кажется, это место выбрала Эльжбета. Она рассказывала, что из окна своего дома видела, как в 1981 году устанавливали этот памятник американке, прожившей много лет в Париже, помнит, как готовили под него фундамент, как устанавливали мраморный постамент и сам памятник, отлитый из сделанного еще в 20-х годах. Любила, когда я читал свое стихотворение «Гертруда Стайн», но почему-то в английском переводе.

После десяти лет супружеской жизни с Галберстамом они расстались, Эльжбета осталась в Нью-Йорке, жила с собачкой где-то в окрестностях Ист-Виллидж. Говорили, что за эти десять лет ее американский муж натерпелся всего: в их доме постоянно толклись какие-то гости, как правило поляки в первые недели своей эмигрантской жизни. Эльжбета всех принимала и всем помогала. В костюмах Галберстама ходили безработные польские актеры, которых в Нью-Йорке оказалось немало после военного положения, введенного Ярузельським. Их с Дэвидом авто разбил пьяный актер: он торопился куда-то и вызвал подозрение полиции, а услышав требование остановиться, попросту испугался и врезался в крепкий нью-йоркский фонарь, перевернув несколько баков с городским мусором, но, к счастью, не задел никого из пешеходов.

Чтобы подготовить роль в фильме «Everything is illuminating», мы с Эльжбетой встречаемся в «Starbucks». Как всегда – кофе и сигареты. Часто покидаем наш столик, чтобы выйти на улицу покурить. Блумберг запретил курение в барах, поэтому мы выходим и становимся перед ступеньками сабвея «Astor Place» – того, что следует в центр города. Я чувствую, что Эльжбете хочется получить эту роль – украинки, которая рассказывает своим гостям об истреблении евреев в селе. Режиссер хотел, чтобы этот монолог звучал по-украински, поэтому мы сидим в баре и терзаем текст. Слова мучают Эльжбету, она их пережевывает, украинская мягкость твердеет в ее произношении, слова с «л» звучат на польский манер, а ударения летают в украинских предложениях куда и как угодно. Эльжбета устала, и мы снова выходим. Курим долго. Я знаю, что эта роль для нее слишком важна, в течение нескольких лет ей не делали хороших предложений (только одна короткометражка в некоммерческом проекте какого-то молодого режиссера). Мы снова курим, а потом читаем украинскую историю об истреблении евреев, о Торе, о смерти, о памяти. Через некоторое время Эльжбета попадает в произношение слов относительно точно и отчеканивает ударения над словами. «А почему нельзя на английском?» – возмущается она. «Не знаю, – хочу ее утешить. – Знаешь, у этих режиссеров свои прихоти и прибамбасы…»

Эльжбета была настолько одинокой, насколько одиноким может быть человек в Нью-Йорке, ведь этого одиночества можно не замечать (или, по крайней мере, делать вид, что не замечаешь). Нью-Йорк – это город одиночек, которые, чтобы избавиться от одиночества, часто приходят в публичные места и теряются в толпе. У Эльжбеты не было даже этого желания затеряться в толпе, это было ее естественное состояние, в котором

она чувствовала себя так, как хотела.

Теперь уже Эльжбета – молодая и красивая – вернулась в фильм «Все на продажу», как домой. И она останется там, на экране, привлекательной и веселой, а тень Гертруды неправильным конусом – как крыло, меняющее форму от направления ветра, – словно колеблется, как тонкая ладонь Эльжбеты, зависающая в прощании.

Вечер памяти Эльжбеты в Польском консульстве в Нью-Йорке начинался моим стихотворением о ней:

Эльжбета Чижевская распорола каблуком
белый экран 60-х и пришла на встречу со мной
уже в 2004-м
– в Нью-Йорке —

вместе с *ней приплелся*
сигаретный дым
двух скрученных алюминиевым проводом
крыльев…

Дубно

Им разрешили забрать то, что можно было забирать: коров, лошадей, инвентарь, мешки с зерном, роверы, велосипеды, своих стариков и детей, они покидали свои дома и своих умерших. Никто из них не верил, что это навсегда.

На железнодорожной станции Гродзиска Дольного семьи из Дубно ждали отправки. Плакали дети, ревел скот, товарняки стояли в направлении востока, их охраняли советские войска. Война заканчивалась, но их ждали новые испытания: открытые вагоны в восточном направлении, тоска, неуверенность, страх и неизвестность.

В марте 1945-го моему отцу только исполнилось 5 лет.

Мы не разговаривали с ним о том, что он мог помнить, мы вообще с ним ни о чем не разговаривали целую жизнь – так все по-идиотски сложилось, что мы, по сути, чужие люди. Поэтому село Дубно и история его переселения – это история моего отца, его семьи, их общей трагедии, которую они, уже на Тернопольщине, сходясь, вечно обсуждали, вспоминая Дубно. Они – эти старые Махно, Собашко, Зени, Шабаты – так и не привыкнут к новому месту, и эти базарские поля и холмы никогда не заменят им Сяна и его пологих берегов, их земли и дома возле

Лежайска.

Так вот, когда отец разводился с мамой в Ивано-Франковском городском суде, они стояли перед судьей, который, как обычно, вел согласно всем параграфам это дело. Судья еще раз перечитал заявления и взаимные обвинения и подошел к главному вопросу, который задают разводящейся паре: с кем останутся дети? Отец настаивал, чтобы меня оставили с ним, аргументируя, в частности, тем, что меня водят по воскресеньям в церковь, а он воспитает меня в атеистическом духе (собственно, так, как того требует наша родина). Такого поворота событий не ожидал даже судья, который, конечно, был коммунистом и не мог не поддерживать политику партии. Он сочувственно взглянул на маму и развел родителей. А меня оставил маме (вернее, деду и бабе).

После этого все, связанное с отцом, становилось нашей общей борьбой с ним (то есть с памятью о нем), к которой, повзрослев, присоединился и я: уничтожены были все его фотографии, мне рассказывали о нем только плохое, мама вообще отмалчивалась и в наших разговорах эту тему не затрагивала, даже когда я уже заканчивал школу. Это табу прицепилось к нему навсегда.

А он жил себе в деревне, работая завгаром, потом шофером, меняя женщин, их машины, имея по несколько любовниц одновременно, ездил в Горький за запчастями к колхозным грузовикам и бухал, – и мы все больше отдалялись друг от друга.

В моей памяти, на ее дне, – мелкие, как зерна песка, детали: то он подзывает меня к стене, дает шоколадку и червонец, я бегу и рассказываю бабушке, мы с ней возвращаемся к этому месту через некоторое время – никого уже нет. И только червонец из-под шоколадки выглядывает красным петушиным гребнем.

Мама пыталась объясниться с отцом, но у них ничего не получалось. Мамина семья считала, что главная причина в том, что он – из переселенцев, чужой, не наш. Ну, конечно, были еще и другие причины – женщины, алкоголь. Мама обо всем знала, и это отравляло ей жизнь.

Суд назначил отцу также выплату алиментов, эти деньги шли на сберегательную книжку, которую дед держал в конторе колхоза имени Калинина. К моему восемнадцатилетию там собралась какая-то сумма, и только достигнув совершеннолетия, я снял эти деньги, купил джинсы, куртку и кроссовки, а остаток потратил не задумываясь и не жалея об этом, как будто мстил отцу за годы его молчания и нашу отчужденность.

Теперь с остатком наследства – фамилией, алиментами и своим молчанием – отец передал мне еще и Дубно.

Я как-то прикинул, что он ровесник Джона Леннона, но о

«Битлз» отец вряд ли слышал, а если и слышал, то, думаю, не мог быть их фанатом. И вообще, музыка его 60-х ассоциировалась скорее с тарахтением моторов колхозных грузовиков. Впрочем, это не так уж и важно, что поколение отца в основном шоферило, ведь, получив водительское образование в бучацкой водительской школе, эти ребята становились независимыми и современными. Не знаю, какой из отца был водитель, но маме удалось как-то уговорить его сдать экзамены в Ровенский автомобильный техникум на заочное отделение. Такой поворот открывал перед отцом неплохую перспективу пересесть из кабины грузовика в кресло какого-то кабинета. Раз в полгода он выбирался в Ровно на сессию, мама паковала ему самое необходимое: книги, рубашки, зубную щетку, зубной порошок и деньги. Они прощались где-то на две недели. Кто-то из его коллег подбрасывал отца в Чортков, а дальше – автобусом в Ровно. После этих двух недель мама расспрашивала отца об обучении, о сессии, о предметах, на что тот отвечал сбивчиво и нервничал, как будто она ему не доверяет (связать нить рассказов об обучении ему как-то не удавалось). Жил он, кажется, у дальнего родственника, тоже переселенца из Дубно.

Через полгода отец снова поехал на сессию, но кто-то передал маме, будто бы видел отца в Чорткове в компании с какими-то шлюхами (говоря по-нашему, курвами). Мама поехала в Чортков, наведалась к родственникам отца, но ничего толком не узнала. Отец вернулся домой, как побитый пес: видно было, что он пробухал эти две недели. Выглядел он, как мартовский кот, но отрицал, что кто-то мог его видеть в Чорткове, потому что был в Ровно. Все обнаружилось неожиданно: из ровенского техникума пришло письмо, в котором сообщали об отсутствии студента Ивана Махно. А его чортковская любовница завалилась на своем «запорожце» в Базар, расспрашивая об отце. Мама знала, что из техникума письма просто так не приходят. После этого отец снова бросил нас, вернулся в дом, где жила его бабушка и еще незамужняя сестра, и снова стал шоферить. Иногда он подъезжал к нашему с мамой двору и простаивал часами, не выходя из кабины своего «газона».

Отец все пытался вырваться из колхоза, и однажды ему это удалось. Он устроился в чортковское АТП, и мама всерьез задумалась о переезде в Чортков. Отец говорил, что ищет для нас квартиру, где мы сможем все вместе жить. Но этого не случилось, и они таки расстались.

Я забрал с собой в Нью-Йорк черно-белое свадебное фото родителей, которое пролежало несколько десятилетий в альбоме нашей родственницы. На фото – молодые: мама с фатой, отец в

темном костюме в белую полоску, с букетом, сзади – куры и весенний огород. Во время моих нью-йоркских переездов это фото затерялось. Сначала я забыл о нем, а когда вспомнил, то между бумагами и горами книг отыскать его не удалось. Эта свадебная фотка молодоженов 1963 года, на которой по-весеннему роются куры, – пожелтевшая, с заломленными уголками и обрезанным волнистым узором по краям – лежит в моем сердце…

Моника, которая списалась со мной, живет в Дубно. Она считает, что мы с ней родственники, и зовет в гости. Этим летом я поеду в Дубно, где родился мой отец и где на кладбище покоятся мои родственники. В какой-то степени это и мое село. Конечно, поеду без отца. Не знаю, приезжал ли вообще кто-то из переселенцев в Дубно? Если бы они выехали по своей воле, то, может, я и не придавал бы такого символического значения этой поездке (мало ли кто куда выезжает, переезжает, переселяется, перелетает). Но в случае Дубно все закручено другими гайками…

Я не уверен, что мой отец что-то помнит об этом выселении, но его старшие сестры наверняка удерживают в памяти скупые эпизоды выселения, размытые детали села над Сяном и вязкую смолу его говора. Они помнят, что их родители потеряли самое главное – почву под ногами, и не могли передать им ничего, кроме желания вернуться.

И мне суждено это сделать.

Стриптиз

Кристина, с которой мы подружились, напоминала мне настоящую польку. Она курила, пила густой черный кофе, иногда вставляла слово «курва», была владелицей *малюха*, жила во Франции и являлась патриоткой своего небольшого провинциального городка.

Мы шли с Матеем по площади Рынок, и под Сукенницами нас остановил валютчик, который на ломаном русском спросил о рублях (с таким характерным для поляков ударением на первом слоге). Рублей у нас не было, последние червонцы мы выменяли в Закопане, на все злотые набрали пива и пили в какой-то забегаловке, пока остальные экскурсанты метались между рынком (где распродавали электротовары) и магазинами одежды (в которых гребли все, что попадало под руку). В Кракове нас вообще ничего не интересовало, разве что водочный магазин и польки.

Мы как раз вернулись из Закопане.

Там стояла осень.

В Новом Таргу гурали продавали шерстяные свитера, а на местном базаре пахло коровьим навозом и овечьей шерстью.

Кристина по секрету сказала нам с Матеем, что в последний день во время ужина будет стриптиз. Она порекомендовала выбрать лучшее место, откуда можно будет видеть стриптизершу во всей красе. Мы еще походили по Кракову, промочили штаны и обувь (лило почти целый день), посидели в дешевой кофейне и были почти готовы к стриптизу и прощанию с Краковом.

Ужин оказался так себе, ресторан – полупустым. Рядом с нами пила коньяк пожилая пара: он – в замшевом пиджаке, у нее – перстеньки на руках. На нас с Матеем эта пара нагоняла меланхолию (как и сама Польша).

Пани Вера, которую объявил какой-то тип (наверное, официант или антрепренер, короче, лысое мудило), вышла в прозрачной пелерине, и ее плотная фигура свидетельствовала о том, что лучшие времена этой чувихи прошли, а здесь она дорабатывает до пенсии. Я спросил у Матея: знает ли он, когда стриптизерши выходят на пенсию? Матей молчал. По правде говоря, сам стриптиз нас с Матеем очень интересовал (перечитанные сценки западных романов и пропагандистские статьи, разоблачающие гнилые нравы буржуазии, только усиливали наше нетерпение). Пани Вера крутанулась несколько раз возле нас и снова свалила на подиум. Саксофон играл какую-то мелодийку французского шансонье, песенку о любви и так далее. Когда Вера сбросила с себя пелерину, ее расшитый серебром купальник никого уже не интересовал, тем более нас с Матеем. Мы рассматривали ее икры и другие интересующие нас возвышенности. Даже дедушка в замшевом пиджаке, выпив остатки коньяка и держа свою подругу за руку под столом, шарил глазами по ягодицам пани Веры. Как-то мгновенно с ее груди слетел лифчик, и, сделав несколько танцевальных па, она ловко расстегнула сбоку свои трусики. Зал охнул и захлопал в ладоши. На белом теле пани Веры виднелось пятно черной заросли, и все поняли, что на голове у нее светлый парик. Пани Вера ходила туда-сюда за нашими с Матеем спинами (оказалось, Кристина выбрала нам очень неудачные места).

Кристина заметила, что здесь бывают стриптизерши получше и помоложе. Но само ощущение пребывания на таком шоу обеспечивало нам с Матеем почти полгода разговоров о стриптизе, которые ставили нас на такой пьедестал, откуда никто (или почти никто) не мог нас свергнуть. Ведь кто из наших мог похвастаться тем, что видел стриптиз живьем: с музыкой и

серебряным дождем бахромы на купальнике пани Веры, ее манящими телодвижениями, крепкими икрами, лукавой улыбкой, этот стриптиз в Кракове – городе, по крыши залитом дождем!

Зима краем глаза

Я вернулся в Краков через несколько лет и не узнал этот город. Собственно, узнать я его и не мог, ведь те несколько часов от кофейни к кофейне, чтобы спрятаться от дождя между обписанных стен домов, трамваи, разрисованные какой-то рекламой, Рынок в серой пелене дождя и пани Вера в ночном ресторане – это все, что осталось в не совсем трезвой памяти, которую мы с Матеем заливали вином и постоянными разговорами Кристины обо всем на свете.

Теперь, в середине 90-х, Краков был городом страны, которая пережила шоковую терапию, наплодив супермаркетов и алкоголиков на Плянтах, – городом, в котором я начинал узнавать улицы, площади, дома, бары и кофейни. За какие-то пять минут от аллеи Мицкевича я доходил до театра «Богателя», переходил улицу с трамвайными путями, а затем шел к площади Рынок. Я узнавал все – от бричек, гуралей, польских дембелей с широкими флагами их воинских частей (которые они распрямляли над собой, как крылья, и кружили по площади), книжные лавки, «Пивницу под баранами», дом Потоцкого, Мариацкий костел, улицы, расходящиеся от Рынка, ведя за собой в каменное пространство города.

В мои первые краковские дни кружил тонкий снег. А с Вислы дули сильные ветра, которые впоследствии принесли оттепель, и мокрые улицы были похожи на мокрых кур. Мосты застегивали Вислу на металлические пряжки с ажурными перилами, и Вавель, притянув к себе несколько средневековых улиц, смотрел на японский центр и современный отель на другом берегу, перетекая из одной эпохи в другую. Ближайшие улицы предлагали свои лавки, кондитерские, кофейни, даже магазины по продаже гробов. Зимний Краков с грязными машинами и трамвайными путями отгораживался от снега и дождя, защищаясь улицами, площадями и домами, а я шел лабиринтами пивнушек, ведя разговоры о поколении Брульйон. Запомнился стишок из антологии «Имеете своих поэтов»: «no to co, nu leci mi z pizdy». Ирония Шимборской перекрывалась физиологическими откровениями молодых поэтесс, которые гвоздили словами свое время, что оно и вправду было до pizdy (или так они его чувствовали).

По этим прокуренным пивным, где сбивались в кучу юные

студенты и потертая, как джинсы, богема, по средневековым улицам, которыми футбольные фаны сходятся на площадь Рынок в сопровождении сотен полицейских, по этим пластиковым сугробам мусора после визита папы Иоанна Павла II, по этим малолетним убийцам, что до смерти забили студента Ягеллонки бейсбольными битами, за этими краковскими зимами и веснами остаются камень и брусчатка истории, которые ежегодно просачиваются в весеннюю почву, возвращаясь к своему естественному состоянию.

На площади Рынок где-то в конце апреля, когда теплело и каждая кофейня завоевывала пространство и посетителей выставленными наружу столиками и стульями, появлялись музыканты-цыгане. Их было трое: один – калека, скрипач, скрюченный, как скрепка, двое других высматривали молодых сыновей цыганского барона. Скрипач-калека играл на руках одного из этих молодых людей, который держал его, как младенца, а тот, лежа лицом вверх, по-своему изогнувшись своим недоразвитым телом, терзал почерневшую скрипку. Так втроем (тот молодой человек, который играл на бубне, как будто прокладывал путь другому, с калекой на руках) они переходили от столика к столику. Звуки музыки пахли, как магазины с пряностями – корицей, имбирем, мелиссой, мятой, барбарисом, шалфеем, спадающими вместе с пылью с цыганских романсер, мотивов бывших еврейских магазинов на Казимеже, классических популярных мелодий и польских народных песен. Этот, с бубном в придачу, собирал деньги, которые туристы обычно бросали в широкую черную фетровую шляпу. Наконец, скрипач-калека переворачивал скрипку и заводил руки за спину, носильщик подбрасывал его в воздух и ловил за грудь и живот, а калека виртуозно начинал играть за спиной тоскливую мелодию испанских цыган и резкими движениями напрягать свое тело, которое содрогалось в эмоциональных конвульсиях и, казалось, выпрямлялось, избавлялось от увечья и, зарываясь в сгусток звука, улетало в высшие сферы. Даже беззубая официантка из «Vis-à-vis», которая протирала столики на улице, замирала, когда цыганское трио ограждало жгутом своих мелодий площадь Рынок. Она стояла и курила, стряхивая пепел мимо пепельницы.

Я познакомился с местным фотографом Гжегожем – он оказался тонким знатоком пива и научил меня ценить бельгийское, цвета переспевшей вишни, притомленной в духовке. Как выяснилось, этот мой новый знакомый заведует фотомастерской в доме культуры вблизи Гутина (где-то в тех пролетарских районах, которые возникали недалеко от Кракова, чтобы своим плебейским видом показать: королевская история

города завершилась, и началась эра «товарищей»). У Гжегожа был «форд», а еще жена, теща и квартира под Краковом, а у меня – куча свободного времени. Однако наши сеансы пиворезов длились недолго – две-три кружки: Гжегожа ждали фотолаборатория, выставки, жена с тещей, ну и другие дела (о которых я, естественно, не знал). Если Гжегож исчезал из Кракова, то есть не звонил мне, то я знал, что он уехал на какую-то выставку в Германию или Голландию с очередной кучей фотографий. Гжегож без восторга рассказывал о Германии или Голландии, о которых я тогда не имел никакого понятия и выпытывал у него малейшие детали. Однажды он посадил меня в «форд» и повез к своему дому культуры – в район, который уже ничем не напоминал Краков. Гжегож, как оказалось, фотографировал людей и цветы. Говорил, что в Германии лучше продаются портреты, а в Голландии – цветы. Затем он повез меня в самый центр краковского пролетарского района, где большинство домов, построенных в 50–60-х, были похожи на советские сталинки; рядом поднимались трубы Гуты, и оттуда валил дым. Дым заносило и в центр города на головы прохожих, и на старинные здания, которые он годами покрывал рыжей пылью металлургического производства. Гжегож вывернул на главную дорогу к центру, а затем сказал: «Лучше пить пиво». Я не спрашивал, чем лучше и лучше чего (вряд ли Гжегож ответил бы мне на этот вопрос).

Через некоторое время я стал патриотом улицы Крупни-чей, которую проходил тысячи раз и знал наизусть все кофейни, кондитерские, бары, все дома, их почерневшие стены, гладкую поверхность брусчатки. Так же я знал две улицы, ведущие к площади Рынок, – Шевскую и Св. Анны, – потому что ходил по ним чаще всего. Улица Св. Анны была менее многолюдной, на ней располагался академический книжный магазин Ягеллонки, в котором постоянно толпились студенты. По Шевской бродили обвешанные фотоаппаратами туристы, похожие на уставших овец, а по улице Св. Анны – краковская молодежь, у которой не было времени, денег и квартир, но которая набивала рюкзаки новыми изданиями и каждый раз планировала ехать в Закопане.

Крупнича тянулась на каких-то два-три квартала (по европейским меркам – не очень длинная), ее ограничивали Кармелитская и аллея Адама Мицкевича, обе шумные, с потоками машин – по сути, транспортные артерии.

Зато Крупнича была улицей застывшего времени. В меру спокойная, она по-дружески сохраняла свою привлекательность возможностью проплыть по ее каналу, цепляясь глазом за фасады домов, за вазоны герани и ажурные занавески в больших окнах, за

вязь рекламных вывесок. Можно было постоять и неспешно покурить на углу Крупничей и Скарбовой, а потом зайти на какой-то часок в бар «Пйонтка», чтобы снова курить и пить пиво.

А потом опять вернуться к рынку, к каменному сердцу Кракова, путая вечер и утро, улицы и площади, время прибытия и отбытия поездов на вокзал, часы, которые тебе отведены на длинное свидание с этим городом, с его жизнью; слушать перезвон костельных колоколов, смотреть на монахинь и отворачиваться, когда увидишь их ранним утром (день тогда не удастся), наблюдать монахов разных орденов и католических священников, желто-белые флаги Ватикана и портреты папы Иоанна Павла II, который давно побил рекорды всех поп-звезд; слышать, как каждый час труба с башни проигрывает свою мелодию, а органы полной грудью своих медных труб выдохнут какую-нибудь фугу Баха – истинную мелодию творения этого мира.

Город начинается вокзалом, такси, комнатой, в которую тащишь свои чемоданчики, заносишь зимний воздух, снег на козырьке фуражки, усталость от путешествия, запах путей, вагонов, сигаретного дыма и отрывки польской фразы: «poproszę bilecik». Затем он становится привычным и даже банальным с похожими утрами и темными вечерами, с улицами, переполненными пешеходами и бездомными алкоголиками, с тонко нарезанной ветчиной в супермаркете и телевизионными новостями о политике и криминальных событиях, с посещением ближайшего рынка, где крестьяне продают зимние яблоки и дешевые китайские товары, которые привозят почему-то не китайцы, а вьетнамцы. Созерцание у окна внутреннего дворика соседнего дома, из единственного подъезда которого пани каждое утро выводит на прогулку своего ободранного пса (остальных жителей почему-то никогда не видно). Твой стол, заваленный бумагами, с несколькими пачками «Мальборо», запах от двух банок пива, выставленных на подоконник для последующего выращивания зеленого лука (не для витаминов, а просто как вазон в окне, как зеленый протест против зимы и холода). А тогда город, как и все на свете, заканчивается: сначала упаковать чемоданы и собрать со стола бумаги (в итоге написано несколько стихов и куплено несколько новых пиджаков). Еще раз бросить взгляд на стол и стены, поторчать у окна (хотя дамы и ее пса не видно), еще раз пройтись по Крупничей, покурить и выпить пива, зайти в австрийское консульство. Затем – снова такси, вокзал, поезд в Перемышль и длинные ряды польских полей, поселков и сел, а в вагонах – украинская мова тех, кто возвращается в Украину, продав на рынках свои товары и накупив долларов. Они

распивают «Выборову» и рассказывают свои истории, а тебе остается, покуривая в длинном проходе вагона, всматриваться сквозь зимние туманы на восток, туда, куда направляется поезд, – к твоему дому.

2011

Lost in America: история Юджина

Нью-Йорк

G. P.

Когда на Нью-Йорк опускаются сумерки, они приходят с океана: одной рукой стягивают белую простыню дня, а второй – зажигают свет в окнах небоскребов. Тогда Юджин возвращается домой. Он не видит яркого купола на Эмпайр Стэйт Билдинг, потому что никогда не задирает голову так высоко.

Юджин должен быть внимателен: несколько раз он упал споткнувшись. Однажды его даже сбил велосипедист, а еще как-то на него наехал бешеный подросток на скейте, разбив свою дурную голову, а кроме того, плечо и ключицу Юджину. Палец левой руки сросся бугорком после очередного неудачного падения у ирландского паба. Юджин – просто жертва нью-йоркских улиц с их бешеным движением, безумными велосипедистами, шизанутыми на скейтах, многолюдьем на пешеходных дорожках. Все они – враги Юджина. И хотя эти опасности постоянно подстерегают Юджина, он должен выходить из дома, обходить свои улицы и авеню, посещать почту и книжные магазины, столовую в костеле Святого Станислава и возвращаться ночью домой: так было и так должно быть.

Он не принял от меня титул короля Ист-Виллиджа, мой нью-йоркский друг Юджин Перуджини. На самом деле он не король и вовсе не Юджин, а старый мужчина, случаем, совпадением обстоятельств приклеенный аппликацией к пейзажу моего Нью-Йорка. Мне особенно запомнились его слова об одиночестве: «Знаете, я мог бы жить в Праге или в Германии, а сестра зовет в Украину. Но я нигде не смогу побороть одиночества, только в Нью-Йорке его почти не чувствуешь».

Его ежедневный маршрут – от 3-й улицы до Томкинс-сквер парка, от 4-й авеню до Бродвея. Там он посещает книжный магазин «Стрэнд», затем – почту, потом – какое-то кафе. Около полуночи возвращается, свернув с шумной 2-й авеню на 3-ю улицу, в свою квартиру без кондиционера, расположенную на последнем, пятом этаже столетнего дома, владельцы которого менялись, как и постояльцы. Юджин – единственный старожил. Новый владелец охотно избавился бы от него: платит он меньше всех, потому что находится на рентконтроле. И именно поэтому в течение последних лет Юджин вынужден был нанять нескольких

адвокатов, которые в суде отстаивали его право на Ист-Виллидж. Несколько владельцев этого дома жаловались на него в пожарное управление Нью-Йорка: Юджин, мол, захламил жилье так, что возникла опасность пожара. С тех пор и началась судебная тяжба. Она привела к тому, что квартиры пришлось очистить от книг и пластинок, которые Юджин коллекционировал в течение пятидесятилетнего житья-бытья в Нью-Йорке. Погром длился день или два – был нанят металлический контейнер, который Юджин вынужден был наполнить книгами и пластинками. Предприимчивые афро-американцы подъезжали минивэнами и, роясь в богатствах Юджина, забирали редкие издания и диски, чтобы потом перепродать их на блошиных рынках Нью-Йорка и его окрестностей. Если бы не почтенный возраст и защита закона, Юджину пришлось бы променять Ист-Виллидж непонятно на что… А на самом деле – углубить свое одиночество, которое с ним по-братски разделяет Нью-Йорк (за что он и благодарен городу).

«Наши беседы с Юджином никогда не продолжатся», – подумал я после нашего знакомства. И не только потому, что его интересовали книги и музыка. О нью-йоркских букинистических лавках пятидесятых-шестидесятых годов, которые ютились одна возле другой на 4-й авеню и Бродвее, Юджин рассказывал мне с особым трепетом и жалел, что теперь «Стрэнд» остался единственным местом, где рядом с современными книгами есть и десятки стеллажей с редкими изданиями. «Стрэнд» – это действительно популярное место среди нью-йоркских книжников. Отреставрированный многоэтажный магазин всегда гудит, как улей: книгопчелы постоянно слетаются к книгоцветам.

У Юджина со «Стрэндом» свои счеты, потому что вследствие войны с лендлордом его дом опустел и осиротел, а он потерял на время интерес к книгам. Напоминал наркомана или алкаша, которому удалось «завязать»: книг уже не покупал, пластинок не собирал, ходил по Ист-Виллиджу, прибитый несчастьем, которое ударило по нему так внезапно. Вдруг все лендлорды для него стали самыми ужасными преступниками, врагами культуры, ограниченными своим лендлордовским прозябанием.

Вскоре пожарная охрана Нью-Йорка и сам лендлорд (грек по происхождению) признали, что не имеют никаких претензий к квартире Юджина, то есть пожарных норм он придерживался. Но шло время, синдром библиофила-коллекционера у Юджина восстановился, и он начал сносить в дом книги. Сначала только найденные на улицах, впоследствии он уже не мог довольствоваться этим и зачастил в книжные магазины – скупать энциклопедии, словари, исторические монографии, щедро

иллюстрированные справочники. И снова начал читать. Для этого приобрел еще одни очки, и даже нелегально, без ведома лендлорда, вставил новый замок в дверь (на всякий случай, чтобы никому не пришло в голову вдруг поинтересоваться состоянием помещения Юджина). Ежедневно, обходя Ист-Виллидж от авеню С до Бродвея, он страдал, видя возле домов связанные шнурками или скотчем кипы книг, которые ожидали приезда мусорщиков. Юджин хотел спасти все эти книги, забирал их и нес домой.

И снова четырем адвокатам пришлось защищать право Юджина жить там, где он поселился в пятидесятых. Судебная волокита, которую в очередной раз начал собственник дома, продлилась несколько месяцев. Лендлорд предъявлял доказательства того, что Юджин снова нарушил обещание соблюдать порядок в квартире. Адвокаты отбивались правом жителя по своему усмотрению обустраивать свой быт, ссылались на его преклонный возраст, плохое здоровье, моральные стрессы, связанные с этими судебными процессами, – и все-таки отстояли Юджина. За ним стоял суровый американский закон, предоставлявший определенные привилегии пожилым людям. Опять лендлорд, ничего не добившись, накричал на супера[5] дома и приказал мексиканцу следить за Юджином. Даже увеличил расходы и поставил новые закодированные двери, которые можно открыть только карточкой, а еще установил видеокамеру, чтобы подстеречь Юджина с книгами или другим барахлом. И тогда, имея видеозаписи, попытаться выиграть суд и навсегда выгнать его из дома (то есть из Ист-Виллиджа и вообще из Манхэттена).

Преодолевая одиночество, Юджин утром сидел на скамейке в Томкинс-сквер парке и наблюдал за собачниками, которые приводили своих четвероногих питомцев на выгул в специальный вольер. Где-то ближе к десяти с разных концов Ист-Виллиджа сходится местный бомонд с тележками: бездомные, психи, алкоголики. Выползая из своих логовищ, они оккупируют все свободные скамейки и заботятся каждый о своем. Им нужно дождаться двух часов, когда примчится «Армия спасения»: сначала выставят одежду, потом приедет полевая кухня с обедом. Выстроившаяся очередь будет мешать пешеходам. Юджин тогда покинет Томкинс-сквер и пойдет в библиотеку – или тут же, на Томкинсе, или на 2-й авеню, в бывшем немецком Народном доме, от которого осталась только надпись на немецком – на добротном, но архитектурно неприхотливом фасаде из красного кирпича. Все немцы-туристы, которых приводят сюда, щелкают фотоаппаратами, но Юджина это не интересует. Он идет в

прохладные (летом) или теплые (зимой) помещения библиотеки и садится за периодику, начиная с «The New York Times». Иногда ему удается вздремнуть. Хорошо, что вход в библиотеку свободный, не нужно записываться, если не берешь книжки домой, и никто тебя не может выгнать за то, что ты пересиживаешь или убиваешь время. Преследующее Юджина одиночество спрятано в книгах, но книг он здесь не читает, и библиотечная тишина спасает его только от капризов погоды.

В небольших городах всегда есть кто-то, кто привлекает к себе внимание поведением, харизмой или таинственностью: местные к нему привыкли, но он сразу привлекает внимание приезжих. Правда, обычно никто из местных не может ничего толком рассказать о том чудаке. В больших городах таких харизматиков, конечно, больше, но они теряются среди домов, автомобилей и туристов. Их замечают, но только для того, чтобы сразу забыть.

Юджин – это сплошная тайна. Его прошлое всегда переплетено с настоящим: в прошлом, впрочем, он чувствует себя совсем неплохо, ведь там уже ничего не исправишь. Зато настоящее его беспокоит, потому что это жизнь, которую он еще проживает. Вот и вся разница.

Томкинс-сквер – тоже тайна, хотя и выставленная напоказ. Правда, какая же это тайна, когда она – для всех? Это – типичный нью-йоркский парк среди обломков домов, которые свалили, как хлам, и лишь его имя заставляет некоторых порыться в закоулках памяти. И память, прозрев, видит не только молодых жителей этого района, которые лежат на траве с книгой или компьютером. Не только музыкантов, борцов за права животных, активистов социальных программ или собачников, которые тусуются в вольерах. Память увидит войну, она увидит остатки послевоенного поколения, уничтоженного наркотиками и алкоголем, подтоптанных «детей цветов», криминал и социальное дно, которое расцвело сорняками на этом заасфальтированном пространстве. Томкинс-сквер стал легендой и местом паломничества благодаря героической обороне своего права на свободу, которую, однако, не удалось сохранить. Я никогда не слышал от Юджина о событиях 1988 года, когда нью-йоркская полиция уничтожила целую колонию хиппи, наркоманов, художников и просто блудных сыновей американских больших городов или глубокой провинции.

Иногда мне хотелось верить, что город не способен забывать своих жителей, даже тех, которые уже превратились в прах под

его брусчаткой, даже тех, чьим именем смело можно назвать какой-нибудь из его участков или улицу. Но стены домов умеют молчать. Одно из таких имен – Юрий Капралов. Я спрашивал о нем у многих, кому выпало жить в то же время и в том же месте, но никто его не помнил, только отмахивались: мол, такими типами Ист-Виллидж аж кишит.

Даже Юджин, ист-виллиджевский энциклопедист и пересказыватель историй, не сумел его вспомнить. А Капралов мог ходить в те же кофейни, которые тогда посещал Юджин; мог пользоваться той же почтой или прачечной, покупать выпивку в ближайшей лавке, мимо которой проходил и Юджин. Не встретились – разминулись, а если и встречались, то не знали друг друга, просто встречались взглядами и отворачивались, просто не нравились друг другу: капрал Ист-Виллиджа и король Ист-Виллиджа, который отмахнулся от этого титула.

Юрий Капралов, умерший в 2005 году, дольше был жителем Ист-Виллиджа, а именно Алфабет-Сити, постбитников-ского округа. Мне казалось, что я его видел где-то в 2002-м или 2003 году в «Русском самоваре» на 52-й улице: в ресторан на втором этаже вошел мужчина с огромным костылем, в меховой шапке и длинном пальто, похожем на кавказскую бурку, а с ним – какая-то женщина с видеокамерой, которая постоянно его снимала. Запомнилась его патриаршая походка и женщина, которая со всех сторон – то спереди, то сбоку (как фотограф на свадьбе) – снимала экзотического старика. И как потом оказалось, это был вовсе не Капралов, а Константин Кузьминский, другой экзот.

У Юджина с Капраловым было много различий, но было и нечто общее. Юджин – скрипач, математик, коллекционер классической музыки и библиофил – американскую жизнь начинал со сбора кукурузы на ферме. Юрий Капралов – на ферме в Вермонте, а потом в Ньюарке, жил в зоопарке, в клетке белого слона. Еще он выезжал в Калифорнию, а затем осел на 7-й и 11-й улицах. Пока Юджин играл на скрипке, решал задачи по высшей математике, работал слесарем и путешествовал по Америке, Капралов таксовал, учился в художественной школе, воевал в Корее и Лаосе, чтобы впоследствии рисовать, писать, колоться и бухать в Ист-Виллидже. Капралов пропивал свой талант, поскольку было что пропивать; Юджин мог быть при нем только кельнером.

В книге «Однажды было село» Капралов рассказывает историю Ист-Виллиджа о том, что оттуда вытеснили хиппи и заселили в основном пуэрториканцами, украинцами и поляками. Улицы были наполнены опасностями, ежедневно кого-то могли подрезать, побить, обокрасть. Именно в это время Капралов и

Юджин жили где-то рядом. Ну и что с того?

Америка для Капралова была спасением и одновременно способом выживания. Поколение Капралова, Мекаса и Юджина, которое после войны прибилось к Нью-Йорку в возрасте от двадцати до тридцати лет, без родителей и какой-либо поддержки, оказалось перед свободным выбором, с которым нужно было что-то делать. Капралов выбрал искусство и слово, сносил выброшенные из квартир предметы и придавал им художественную форму, выставлял в галереях и просто на улице; Мекас выбрал кинокамеру, которой играл, снимая простые будничные истории о себе и своих друзьях, записывая в форме дневника первые нью-йоркские впечатления; Юджин выбрал все – и ничего, поэтому его истории спрятаны глубоко в шахте его памяти, куда он иногда позволяет заглянуть. Все они в Нью-Йорке перестали трепетно относиться к жизни: они с ней играли – и она играла с ними. Они бунтовали и имели на это основания. К счастью, таких неудовлетворенных оказалось больше, причем не только среди новых эмигрантов. Выпускники Гарварда или Принстона в какой-то момент также полюбили цветы и свободную любовь и принялись искать новых евангелистов, которые объяснили бы им, почему стоит жить так, а не иначе, потому что профессора растолковать им этого не смогли. Рок-н-ролл и Вудсток, вьетнамская война и ложь политиков перевернули им мозги: им хотелось оторваться от социума, который они ненавидели, они плевали на мораль и выходили на улицы в грязных военных рубашках и куртках, оставляя позади обеспеченную жизнь и создавая группы наркоманов и преступников. Они становились грязью, их философия – новой религией, романы Генри Миллера – священным писанием, скромные девушки – их любовницами, мир переворачивался и катился в пропасть.

Капралов принял это (а что ему оставалось?). Он был человеком с окраины, писал прозу и стихи, ваял скульптуры и картины, жил на жалкие гроши, но был свободным от условностей. Его детство схватила за горло война на Северном Кавказе, а дальше была голодная преступная юность в Германии и первые годы в Америке. Он был человеком без родины и именно здесь, в Нью-Йорке, наконец нашел свою свободу, наплевав на ценности и правила.

Окровавленная голова Капралова на главной странице «Village Voice» была похожа на усеченную голову Иоанна Предтечи и знаменовала начало войны Нью-Йорка с детьми цветов, которые давно уже превратились в цветы зла. Нью-Йорк

взял верх над Томкинс-сквер парком, очистил его от наркоманов, алкоголиков и маргинальных художников: в августе 1988 года полицейские, пренебрегши протестом Алена Гинзберга, прорвали уличные баррикады и сломали обессиленную руку с опухшими от шприцов жилами. Томкинс-сквер парк не забыл этой битвы.

Интересно, где был Юджин, когда война, пусть и уличная, снова подошла так близко к нему? Вероятно, где-то поблизости, а весть о бунте и жертвах, наверное, распространяли по Ист-Виллиджу, ведь все телеканалы и радиостанции посвящали этому событию репортажи. Но Юджин был призванный, а не избранный и, наверное, стоял в униформе *дормена* на 95-й улице, когда Капралову пробивали голову, а бомжей травили газом, как крыс, и ударами киев загоняли в полицейские грузовики.

Если Юджин не заходит ко мне несколько дней, это означает, что он или заболел, или поехал к приятелю в Нью-Джерси, или шатается по Ист-Виллиджу в поисках хорошего заказа на копирование фотографий. Юджин все время что-то копирует и все время вспоминает о войне, Германии, Судетах, Праге и Ашафенбурге.

Каждый раз, когда Юджин заходит ко мне, он как будто приходит с войны, которая только что закончилась. Он откладывает клеенчатую сумку, садится в кресло, и война подходит к нему вплотную и долго не отпускает, крепко держа его старческую руку.

1945 год Юджин встретил в Праге, на Вацлавской площади.

Его уже пристроили на работу в социальную помощь: он переводил для пленных и гастарбайтеров. В Прагу он попал из Судет, с заводов Цейса, где шлифовал оптические приборы для немецких подводных лодок. Приближение фронта остановило работу на заводе, и Юджин отправился к пражским родственникам. Но пока Юджин выбирался в Прагу, красные войска уже ее захватили, и железной дорогой управляли «советы» и чешская полиция. На одной из станций пражский поезд остановили для проверки документов. Советский майор, проводивший тот контроль, заметил Юджина, вывел его из вагона и передал рядовому-узбеку, а сам пошел аж в конец поезда. К счастью, к ним подошел чешский чиновник, с которым Юджин успел перекинуться словом-другим, и тот затолкнул Юджина обратно в поезд, объяснив чужаку: *то наш, то чех*. Прага стала для Юджина ловушкой, выход из которой был один – *на родину*. О *родине* Юджин заботился меньше всего. Днем он слонялся по Праге, а на ночь плыл на пароме на другой берег Влтавы, вдыхая

майский запах пражских лип, подсвеченных уличными фонарями.

Юджин попал на шахту «Цехе Генрих Фридрих» осенью 1941 года, вместе с пятьюдесятью украинцами и поляками, которых немцы привезли добывать уголь для Рейха. Там, в рурской угольной шахте, в сорока километрах от Голландии, Юджин, вооруженный киркой и горной лампой, на какое-то время стал кротом Рейха.

Сначала их поселили в бараках, где уже жили итальянцы и югославы. Шленский немец, который, конечно, хорошо говорил по-польски, зарегистрировал их как поляков, ведь прибыли они именно с территории Польши. Через несколько дней начальство выдало приказ всем пришить латинскую букву «P».

Работа была организована в три смены, кормили баландой, иногда давали мармелад, чай из коры, даже что-то платили, поэтому какие-то продукты можно было прикупить в магазине. В январе откуда-то привезли около тысячи пленных «советов», голодных и оборванных. Их поселили в отдельном бараке, а за какой-то месяц тиф выкосил всех. Перекинулся и на бараки итальянцев. В лагере началась паника. Зима была очень холодная, выпало много снега, и смерть, пройдя по одному бараку, переходила к другому, как оберлагерфюрер, сзывала пленных, строила их и выводила навсегда из барака, который затем дезинфицировали или сжигали.

Мертвых в ту зиму сбрасывали в одну большую яму. Но зиму Юджину как-то удалось пережить.

В знак отказа носить нашитый шеврон с «P» украинцы устроили стихийную забастовку. Сначала администрация распорядилась не выдавать обеды, а потом гестапо арестовало Юджина и еще нескольких, чтобы выяснить причины недовольства. За любую провинность можно было попасть в штрафлагерь, где условия были несравнимо более тяжелыми, чем в шахте: спали там на металлических кроватях без матрасов, а за проступки били и издевались. В гестапо Юджин объяснил, что они – никакие не поляки, а дрезденский Арбайтс фронт, которому был подчинен Украинский комитет, выдал документы, которые подтвердили украинскую национальность. Тщательно все проверив, гестапо позволило украинцам носить метрики, а не шевроны.

Юджин победил с нашивкой, но нажил себе лютого врага – шленского немца, который начал следить за ним, чтобы при первой же возможности отправить в штрафлагерь.

Переписываясь со своим приятелем, который тоже работал на

Рейх, но на заводах Цейса в Судетах, Юджин после некоторых раздумий принял непростое решение – бежать. За побег наказывали. И убежать было сложно, хотя бараки не охраняли: шахтерам запрещали отходить дальше, чем на двадцать пять километров. Нужно было смастерить себе какую-то одежду, сэкономить деньги на билет, покинуть барак в субботу-воскресенье, когда не было работы, и сделать это так, чтобы сразу никто не заметил. Юджин понимал, что, хоть их и не охраняют, внимательных глаз хватает.

Побег он готовил несколько месяцев.

В одну из суббот Юджин начал осуществлять свой план.

Он рассматривал окраины из окон трамвая, который направлялся в город Дуйсбург над Рейном. Отрадный после изнурительной зимы и смертей от тифа майский пейзаж 1942 года с разлитой зеленкой травы и клейкими листьями на деревьях будто бы стремился развеять тревогу Юджина. Дуйсбург над Рейном стоял в 60 километрах от рудников, а следовательно, полиция или гестапо уже имели формальные основания арестовать Юджина и отправить в штрафлагерь.

Отъезжая от «Цехе Генрих Фридрих», трамвай плыл, покачиваясь, по пути, проезжал вдоль немецких городков и сел, зазеленевших полей и рудников. Тревога Юджина росла, неизвестность загнала его, как мышь в ловушку.

Юджин вез с собой чемоданчик и свидетельство о рождении.

До вокзала он добрался перед обедом. Для конспирации сошел на несколько остановок раньше, проверил, никто ли не следит. У касс тайные агенты гестапо следили за немногочисленными пассажирами. Они могли проверить личность или даже посмотреть на билет: тотальная слежка военного времени.

Юджин увидел нескольких агентов, как только вошел в помещение вокзала.

Подходить к кассам было опасно. Юджин быстро вышел и какое-то время петлял по окрестным улицам.

Уже стоя у кассы, Юджин больше всего переживал за документы и тайных агентов. Но те, похоже, пошли обедать, а кассирша, выписывая билет, даже не спросила о документах, поэтому Юджин вытащил из кармана девяносто марок и, поблагодарив, скрылся с билетом на дрезденское направление.

Поезда нужно было менять: в Магдебурге пересаживаться на Лейпциг, в Лейпциге – на Дрезден. Все шло гладко до Дрездена. В поезде новобранцы, направлявшиеся на Восточный фронт, угощали Юджина бутербродами и подбадривали себя и его: мол,

победа за нами, все *зер гут*. В Дрездене криминальная полиция устроила проверку документов, и Юджина арестовали – вместе с несколькими другими путешественниками-неудачниками.

Допрос у начальника криминальной полиции проходил по-деловому и быстро. Юджин отвечал без запинки, но споткнулся на вопросе, кто ему продал билет без документов. Впрочем, тут же вспомнил свою метрику, спрятанную в чемоданчике. Спасало ситуацию также и воскресенье: мол, он, Юджин, едет в Яблонец над Нисой к своему приятелю, который как раз приболел и попросил Юджина проведать его. Перечитав несколько раз метрику, которая открыла все тайны появления на свет Юджина в городе, который входил в Генеральную губернию, начальник сказал *гаст ду рехт* – и отпустил Юджина на все четыре стороны рейха.

И Юджин отправился в Судеты.

Так прошел 1942-й, 1943-й, 1944 год. Юджин спокойно шлифовал стекло для подводных лодок, иногда встречал гросс-адмирала Деница, который регулярно наведывался на заводы Цейса – просто слонялся по цехам то с японскими союзниками, то с немецкими конструкторами и инженерами.

В 1944 году завод Цейса решил, что какое-то время справится без Юджина, и гросс-адмирал Дениц также не возражал против путешествия Юджина на восток. Юджин получил двухнедельный отпуск и с чемоданчиком приехал в Богородчаны, а оттуда – пешком в свое село.

Где-то посреди пути Юджин с холма заметил в долине черную толпу: группа людей куда-то направлялась. Когда Юджину удалось их догнать, он увидел, что это евреи из окрестных сел: в черных камзолах, из-под которых болтались белые куски талеса; их под конвоем вели в Солотвино. Юджин понял, что идут именно туда, потому что группу развернула команда старшего из конвоя, они, как овечки, покорно повернули направо. Юджин не запомнил их лиц, но помнил большие широкие глаза и умоляющие взгляды. Те черные мужчины сбились в одно целое, в один организм страха и судорожной неуверенности.

В карабинах их конвоиров затаилась смерть, она тихо выжидала заряженными пулями в стволах.

Юджин зарегистрировался в немецкой комендатуре.

По сравнению с судетскими городками, чистыми и опрятными, как бижутерия, села Генеральной губернии выглядели, как мокрые куры на насесте.

После нескольких дней пребывания там Юджин узнал о казни своих сверстников под божницей в Богородчанах. Местный хлопец, спрятавшись за каменную ограду, видел, как немцы поставили тех несчастных вдоль стены и расстреляли.

Немецкий комендант (бывший учитель из Баварии) нашел Юджина на третий день, посадил напротив себя и посоветовал возвращаться в Цейс, ведь дальнейшее самовольное пребывание на территории Генеральной губернии было по меркам военного времени преступлением.

Война, как понимал Юджин, длилась не только где-то там, на Восточном фронте (о тамошних успехах немецких войск еженедельно сообщала немецкая кинохроника и писали газеты), она перебралась сюда, в его село, в виде расстрелов, вывоза людей в Германию, сопротивления украинского подполья, несчастных евреев, которым никто не мог помочь, коменданта, который знал, где должен находиться Юджин. Земля Юджина – дом со всем добром, река, луга, леса, отец с мачехой, брат с сестрами, лошади и ружье отца, лесники и адвокаты, Австрия и Польша, рынок в Солотвино, директор школы Морской, учительница Эмилия, самодельная скрипка, красноперые птицы, серебряные караси и пескари, сельские цимбалисты и скрипачи – все они не отпускали Юджина, держались за него, держали его. Гросс-адмирал Дениц, правда, тоже ждал Юджина в Берлине, так как для немецких подводных лодок нужно было новое оснащение, – и комендант таки убедил Юджина вернуться.

Война подходила к концу. В феврале 1945 года земля дрожала под Яблонцем и его жителями, дрожали заводы Цейса, дрожала бижутерия, шатались дома, как пьяные судетские чехи, возвращавшиеся из пивнушек. Американская и британская авиация бомбила Дрезден, и волны бомбардировки доходили аж до Судет.

Почти перед приходом «советов» гестапо арестовало молодого чеха (как оказалось, гея). Его вывели из цеха, рабочее место убрали, и никто его больше не вспоминал, ведь война заканчивалась и наступала весна.

Шел третий месяц пребывания Юджина в Праге. На Вацлавскую площадь, как всегда, слетались голуби и загаживали саму площадь, желоба домов и новые коммунистические лозунги на чешском и русском языках.

Становилось опасно: «советы» разыскивали власовцев, остарбайтеров и бывших пленных, заталкивали в лагеря и отправляли *на родину*. По городу пронесся слух, что в

Бельгийском посольстве формируют поезда и отправляют всех (конечно, за деньги) в Баварию, в американскую зону. С бельгийцами Юджину не повезло, но он попал на другой поезд, который сформировали такие же дельцы. Поезд Юджина направлялся только в город Пльзень, в окрестностях которого был небольшой распределительный американский лагерь, а в самом городе «советы» создали два больших сортировочных лагеря. К счастью, поезд был доставлен только в пригород. А оттуда, уже под американским прикрытием, сотни перепуганных и отчаявшихся людей другим поездом добрались до Баварии.

Юджин въехал в Баварию, без сожаления оставив позади бижутерию и заводы Цейса в Яблонце, а также захваченную «советами» Прагу в цветении лип. Он попал в Ашафенбург. Лагерь переселенцев на какое-то время стал Юджину пристанищем: здесь он приобрел скрипку, нашел немецкого учителя, записался в гимназию и запасся терпением, ожидая любого поворота событий и судьбы.

Спасение пришло из Америки. Через организацию, которая помогала «диповцам», Юджин разыскал дальнего родственника. Статуя Свободы уже махала Юджину рукой, вытирая слезы радости, что еще один блудный сын бросится в ее распростертые объятия и стряхнет пыль со своих ботинок на нью-йоркскую мостовую.

В 1949 году военным кораблем «General W. G. Haan» Юджин благополучно доплыл до Нью-Йорка. На пристани его встретил объявившийся родственник, который жил в Америке с 1907 года, и роскошным лимузином завез Юджина на свою ферму в окрестностях Ньюарка.

А уже в 1953 году зеленый двухдверный «понтиак» выпуска 1940 года мчался по дорогам Аризоны. За плечами Юджина было четыре года американской жизни, два города (Ньюарк и Нью-Йорк), несколько мест работы, легочная болезнь, безработица, несколько сотен долларов в кармане, несколько тысяч миль от восточного побережья, а впереди – большая страна Америка. Yahoo-o-o!

«Понтиак» часто ломался. Этот тарантас Юджину отдал владелец заправки в Канзасе – просто сказал: *бери*.

В Канзас Юджин спокойно доехал автобусом из Ньюарка – то есть несколькими автобусами, пересаживаясь в крупных городах. Легочная болезнь прогрессировала, ему назначили лечение в Аризоне, и он уволился из итальянской мастерской, где опять что-то точил (на этот раз не стекло, а металлические детали). Попросил сохранить книги, ноты и привезенную из Германии

скрипку, собрал сумки, купил билет и отправился лечиться.

И вот он сидит в раскаленной машине посреди бесконечного асфальта и каменистого пейзажа, проклинает того заправщика, его сраный «понтиак», эту пустынную Аризону – и только из радиоприемника несется прохладный баритон певца из нью-йоркского Карнеги-холла… Когда уже спускались сумерки, Юджин разглядел темный мираж своего спасения: к нему приближался всадник, кто-то медленно возвращался домой. Прошло еще с полчаса, темнота сползла из-за невысоких гор, пока всадник поравнялся с «понтиаком» Юджина. Юджин рассказал всаднику, кто он и куда направляется, а тот лишь спокойно пообещал, что вышлет за ним кого-то из своего города. На дорогах Аризоны такое случалось часто, поэтому Юджину оставалось упиваться свободой и ночными звуками аризонской природы, ожидая помощи, которая пришла только в полночь: на тракторе приехали какие-то люди, поддели «понтиак» и потащили в город. Прибыли где-то под утро.

Так и началась аризонская жизнь Юджина.

Деньги на лечение исправно пересылала социальная служба, на попечении которой он находился несколько месяцев, пока имел право – как безработный.

По приезде в тот Богом забытый аризонский городок Юджин встретился с местным журналистом, пристроившим его у одинокой вдовы – финки Кааре. Та радушно приняла постояльца за каких-то пару долларов в неделю.

Во дворе дома Кааре Юджин припарковал свой «понтиак», однако ездил он на нем редко, потому что вдова разрешала пользоваться ее новеньким «chevy» 1953 года с никелированными бамперами.

Юджин часами пропадал в парке, разглядывая цветение сагуаро и слушая пение птиц.

Когда Кааре вручала ему ключи от своего автомобиля, она пахла сагуаро (вообще, здесь все пахло сагуаро). Журналист позвонил в пятницу и предложил съездить за ромом в Мексику, в городок Нагалес недалеко от границы. Аризонцы часто наведывались туда за выпивкой (там было дешевле). Юджин спросил у Кааре: может, и она поедет, и та утвердительно кивнула.

Авто журналиста, который набил багажник мексиканским ромом, прошмыгнуло по пограничному Нагалесу. За ним мчался Юджин, одной рукой держа руль «chevy». Рядом сидела загорелая Кааре в цветастом платье и время от времени заливала в себя ром

из открытой бутылки. Вокруг ее нижней губы и на подбородке остались коричневые струйки присохшего рома; слащавые запахи напитка, сагуаро и теплого тела Кааре заполняли кабину. Юджин взял у нее бутылку и тоже хлебнул, выдыхая с алкогольным паром слово «good».

Уже на американской территории «chevy» Юджина начало отставать от машины журналиста. К тому же он еще заехал на заправку, решив, что мало бензина. Выехав оттуда, помчался по равнинной дороге, уже никого перед собой не видя.

Юджин с Кааре пили ром. И когда правая рука Юджина соскользнула с ручки переключения скоростей и оказалась на колене Кааре, «chevy», резко притормозив, съехал с асфальта на песчаную обочину и остановился.

Аризона пахла мексиканским ромом и теплыми губами Кааре.

Юджин припарковал «понтиак», в сердцах хлопнул дверцей и стал перед домом.

В Лос-Анджелесе было три часа ночи.

Морока со свечами задержала его в пути, и намерение добраться засветло провалилось. Юджин еще раз проверил адрес: номер на скомканной бумажке и номер на доме совпадали, как на выигрышном лотерейном билете. Он разбудил приятеля Михаила, с которым списался еще в Аризоне, и вошел в небольшую квартиру, шепотом объясняя причину опоздания. Приятель вытащил встроенную в стену кровать и сказал:

– Ложись, завтра поговорим.

Лос-Анджелес лежал перед Юджином, а Юджин лежал в кровати и вслушивался в калифорнийские звуки, которые доносились сквозь приоткрытое до половины окно. Проснувшись, он смог разглядеть только почти пустую небольшую комнату с одним окном. Устав, заварил на кухне кофе и присел в майке и трусах к столу. Напомнил себе, что нужно убрать из багажника чемоданчик, но ключей от дома не было.

Где-то около шести вечера Михаил вернулся.

В бумажных пакетах он принес еду и несколько бутылок пива. Пока Юджин ходил к машине за вещами, приготовил ужин. Приятель курил и заливал слова пивом.

– Давно из Нью-Йорка?

– Больше года. Восемь месяцев в Аризоне, а теперь – сюда.

– А чего дал деру?

– Интересно, да и легкие надо подлечить.

– А о Насте ты что-то слышал?

– Нет, а кто она такая?

– Из Нью-Йорка. Просто из-за нее я здесь, в Калифорнии, дышу Тихим океаном, но это не связано с легкими…

Они пили пиво, заедая гамбургерами.

Михаилу было под сорок, его жизнь состояла из сплошных побегов, любовных интриг, преследований соперников, сцен ревности. Всюду он оставлял разбитые сердца своих пассий, когда дела заходили слишком далеко. Он любил женщин и секс, но не хотел связывать себя браком и обязанностями.

Михаил решил показать Юджину Лос-Анджелес, и в пятницу они начали знакомство с нескольких голливудских баров. Михаил часто подбирал в этих барах актрис и вез к себе (через некоторое время его знала почти половина Голливуда, особенно женская), иногда дрался за какую-то из своих кисок (довольно умело, как для этого дела). Во время войны он тренировал полицию во Львове, поэтому знал технику кулачного боя и некоторые восточные приемы и всем этим опытом и умениями охотно делился с публикой в барах. Он был известен как Mister Fist.

Юджин с Михаилом бросили «понтиак» за несколько кварталов от голливудского района. В первом баре Михаилу почему-то не понравилось. Пригубив джин с тоником и осмотрев присутствующих, они вышли. Второй они тоже покинули довольно быстро. В третьем баре задержались подольше. Заказав бутылку ирландского виски, Юджин предложил присесть у кирпичной стенки, на которой висело несколько больших фотографий из известных фильмов 30-х годов.

– А что, в Аризоне не понравилось?

– Понравилось. Но хотел увидеть еще и Калифорнию.

– Ну и как?

– Тепло.

– А я почему-то не могу здесь. Ну живу, но…

– А Нью-Йорк?

– Не знаю.

– Мне Нью-Йорк нравится…

– А мне нравится вот та… посмотри.

И Михаил ткнул пальцем на стройную киску в сопровождении крепкого мужика, который был похож на бейсболиста. Михаил назвал имя и фамилию актрисы, но Юджин не интересовался американским кино.

– Ну что?

– Красивая…

– Она торчит здесь уже с полгода, пытается получить какую-то роль…

– …и что?

– Кажется, ее опекают уже.

Михаилу издалека улыбалась блондинка постарше.

– Вон та, из этого бара, – моя первая…

– Сколько ей лет?

– Я не спрашивал. Нравится?

Юджин, у которого был опыт с Кааре, старше его на несколько лет, знал о склонностях этих дам: выбрать мужчину помоложе и играть с ним, как с любимым котиком, выполняя все его прихоти, но не выпуская за очерченную территорию (инстинкт самосохранения и желание ничего не потерять).

Юджину впервые за несколько дней вспомнилась Кааре. Под действием виски он вспомнил запах сагуаро (запах ее тела и их любви).

– Нет, не нравится.

– Старая?

– Дело не в том…

– Она здесь пропустила всех через себя. Приехала в Голливуд, а осталась в этом баре. Киска с опытом.

– Проститутка?

– Не думаю. Дает не за деньги, выпивка и секс – все.

Юджин заметил, что блондинка еще несколько раз бросила взгляд на их столик, но, не увидев ответа, недовольно переключилась на лысеющего розовощекого ковбоя в сапогах со скошенными каблуками, который весело хохотал и жадно смотрел на нее.

– Сегодня ездит на техасском коне…

– А он что, на коне сюда приехал?

Михаил хохотнул.

– Ха, на коне! С огурцом в штанах…

Юджин заметил, что Михаил все время косится на спутницу бейсболиста, а заказанная вторая бутылка виски предвещала, что этот вечер не закончится так просто. Через некоторое время опасения Юджина начали сбываться: Михаил ловко подошел к столику бейсболиста и, положив руку на его плечо, наклонился к молодой актрисе. Бейсболист повернул голову, дернул плечом, но рука Михаила будто бы приросла. Из всех уголков бара доносилось «Mister Fist… Mister Fist».

Начиналась забава.

Юджин не успел опомниться, как бейсболист уже лежал на полу, опрокинутый лихим приемом Михаила. Эта американская горилла, откормленная гамбургерами и бифштексами, тренированная и самоуверенная, эта бейсбольная масса что-то проревела на своем калифорнийском диалекте: крик раненого зверя и обесславленного любовника поняли все в баре, кроме

Михаила и Юджина. Поэтому Михаил, не дав горилле опомниться, сильным ударом заткнул рев бейсболиста ему в глотку, и они вытекли уже струйками крови из расквашенного рта жертвы.

Из зеленой темноты бара, мягкой и бархатной, вышли три тени моряков американского военного флота в белой фланелевой униформе с закатанными рукавами, без беретов на стриженых головах. Они бросились на Михаила, но через несколько секунд тоже легли рядом с бейсболистом, разбросанные вихрем боевых приемов.

Напряжение росло.

И когда на чей-то зов в бар забежало еще шестеро бейсболистов, которые стали молотить всех, кто попадался под руку, Юджин понял, что обречен. Он даже не добежал до Михаила, потому что сразу почувствовал силу калифорнийского бейсбола. Его сбили в нескольких метрах от Михаила, который отбивался от всех, пока калифорнийские гориллы не навалились на него скопом и не начали молотить его об пол, как джазист в бубен.

Потом они же и вынесли Михаила и Юджина к дверям и вышвырнули из бара на мостовую.

Моросил дождь. Через некоторое время они поняли, что дотянули до субботы.

Так или иначе, но Юджину пришлась по душе калифорнийская жизнь, особенно бульвар Сансет и пляж Санта-Моника. Он полюбил Тихий океан и его удивительные пейзажи, горы, залитые солнцем калифорнийские виноградники, предвечернее валянье на пляжном песке и полную безмятежность.

«Понтиак» Юджина часто появлялся на бульваре Сансет: поглаживаемый тенью пальмовых веток, он мчался, отражаясь в витринах дорогих магазинов и выдавливая из себя последние силы циклическими толчками цилиндров. Забрызганные бензином свечи забивали дыхание мотора, и когда тот, закашлявшись, как астматик, терял скорость, Юджин выплевывал на всю автомобильную промышленность Америки немецкое словцо: *шайзе*. А на щедрого владельца заправки – английское *шит*.

Но по сравнению с Нью-Йорком Лос-Анджелес, несмотря на калифорнийскую экзотику, производил на Юджина впечатление провинции. Дни и недели тянулись слишком однообразно, а после драки на голливудском бульваре полиция запретила Михаилу посещать голливудский район, и воцарилась обыденность. Поэтому Юджин уже подумывал об отъезде. Но что-

то его еще держало здесь, в «городе ангелов».

Однажды он сам с бульвара Сансет направился в Голливуд – просто так. Вход в один из кинотеатров был перекрыт: фотографы и кинохроника, свет, актеры и актрисы, дорогие лимузины (была премьера какого-то фильма). Юджин стал неподалеку – поглазеть на этот шик успеха: белые воротнички, бабочки и черный бархат костюмов, мягкие очертания вечерних платьев, вспышки фотоаппаратов, покрывавшие серебряным налетом лица голливудских знаменитостей и красавиц. Юджин стоял в толпе, которая в один голос выкрикивала имена и визжала в восторге, как будто это был ее праздник (хотя, пожалуй, это и был праздник толпы).

Когда все начало медленно рассасываться, Юджин, уже сидя в кофейне на голливудском бульваре, вспомнил, что путь в Америку открыл ему «Der Verlorene Sohn» Луиса Тренкера (он смотрел его в Судетах в конце войны вместе с другими «диповцами», которым показывали кино из немецких архивов). Из того фильма Юджин хорошо запомнил Эмпайр Стэйт Билдинг, рекламу, машины, героя с поиском работы, то есть – современного блудного сына в лабиринте нью-йоркских улиц.

Глядя на голливудский бульвар из окна кофейни, Юджин вдруг заскучал по Нью-Йорку. Калифорнийский воздух, который он вдыхал каждое утро на пляже Санта-Моники, полоскал его легкие нагретым теплом и океанским бризом. Он пригоршнями глотал виноград, а по вечерам пил калифорнийское вино или местное пиво. Через несколько месяцев в Аризоне и Калифорнии Юджин окреп и поправился. (Вместе с подозрением на туберкулез исчезала и любовь Юджина к Лос-Анджелесу.)

После той драки Михаил переключился на другие районы с кофейнями и пабами, куда не заходили ни бейсболисты, ни голливудские актрисы. Он все чаще приходил ночью, оставляя Юджина в одиночестве, а утром снова шел что-то охранять.

«Понтиак» нуждался в ремонте, и в один из дней Юджин приехал в автомастерские, которые скопились в конце голливудского бульвара. Автомеханик поковырялся в моторе, выкрутил свечи, измерил уровень масла и проверил давление в колесах.

– Далеко собрался?

– Еще не знаю; наверное, сначала в Лас-Вегас… – как-то неожиданно вырвалось у Юджина.

– Свечи – мусор.

– И что делать?

– Выбрось на помойку.

– На помойку? – удивился Юджин.

– А куда же? Я там кое-что прочистил, но мотор долго не протянет.

Юджин сел в «понтиак», завел мотор и услышал, что цилиндры ритмично выстукивают увертюру, а карбюратор глотает воздух и топливо без больших усилий. Впрочем, свечи Юджина таки беспокоили – и он решил возвращаться в Нью-Йорк.

Юджин съехал с голливудского бульвара по перпендикулярной улочке на бульвар Сансет. Калифорнийский август, теплый и нежный, как батист, обвевал лицо Юджина через открытое боковое окно. Юджин мчался по городу, уверенно чувствуя в руках сильное и смирное авто. Неизбежная разлука с Лос-Анджелесом не радовала и не огорчала. В калифорнийских долинах созревал синий виноград, переливаясь на солнце, как драгоценные камни, загорелый Юджин насвистывал любимую арию из «Травиаты». Ему подпевали бульвар Сансет, мотор «понтиака», Санта-Моника и Лос-Анджелес.

С бульвара Сансет Юджин волочился за город, за горы, за пределы Калифорнии. И уже ничто не могло его остановить.

Он еще заехал к Михаилу и забросил свои вещи в багажник. У него оставалось в кармане полсотни долларов. «Ну, как раз хватит на бензин и гамбургер», – подумал Юджин, упаковывая вещи. Он знал, что Мишу не дождется, и поэтому на маленькой бумажке написал несколько слов на прощание, захлопнул дверь и сел за руль машины.

Это была Южная Дакота. Юджин уже вторую неделю был в пути: он покинул Лас-Вегас, проехал Монтану и свернул на восток. У него заканчивались деньги: в течение этого времени он выдул весь виски и съел все продукты – оставалось меньше десяти долларов. К счастью, «понтиак» вел себя пристойно и ни разу за время путешествия не потревожил Юджина астматическим захлебом мотора.

Здесь, посреди Америки, по соседству с Миннесотой, Юджин почувствовал дыхание Атлантики, предвкушал шум Бродвея, торчащий ввысь палец Эмпайр Стэйт Билдинга, зовущего к себе.

Съехав ночью на обочину, Юджин решил выспаться. Его измучили горные дороги Невады с опасными поворотами. А здесь, в Южной Дакоте, чередование прерий и гор на горизонте действовало успокаивающе. Юджин заснул в машине, опустив боковое стекло. Во сне он бродил по Бродвею, ездил на сабвее в Бруклин, покупал что-то в магазине на Деленсе, заходил в мастерскую итальянца и обтачивал там детали, которые надо было доработать. Слушал «Тоску» в Метрополитен Опера и Бетховена в Карнеги-холле… Людвиг ван запросто угощал

Юджина хот-догами, жаловался на нью-йоркские дожди, на оркестрантов, на затяжные репетиции и задержки гонораров. Юджин обещал показать Людвигу Ист-Виллидж, немецкую библиотеку, немецкие районы на Глендейл, заглянуть в настоящий немецкий ресторан на пиво и бургеры.

Затем Юджин уже ломал кукурузу в Нью-Джерси, мыл полы в госпитале, ремонтировал лифты, штамповал пуговицы для американской армии, играл на скрипке, покупал диски классических исполнителей и решал задачи по алгебре.

Проснулся он от звенящей тишины, которая повисла на ветках леса, давшего ему приют ночью. В нескольких метрах уже открывалась панорама озера, спрятанная за деревьями. Дикие утки плавали под скалистым берегом, и осень, как рачительная хозяйка, подкрашивала деревья – желтым и красным…

Юджин возвращался автобусом в Нью-Йорк в декабре. Все утро автобус мчался по штату Нью-Джерси, пролетая сонные города, которые встречались на пути.

С «понтиаком» Юджин распрощался в Миннесоте, продав его на запчасти, и за те несколько десятков долларов купил билет. Возвращался в пальто, которое купил за последние центы в магазине «Армии спасения». Он знал, что Нью-Йорк примет блудного сына с распростертыми объятиями только за то, что Юджин не предал огней металлической души этого огромного города, в глубинах улиц которого легче спрятаться от одиночества и, в конце концов, от себя самого.

Декабрьским утром Юджин сошел на Пен-стейшен и поспешил на сабвей. Уже через несколько остановок он оказался на Ист-Виллидж, на своей авеню Би, у дома, который, наверное, успел забыть за эти полтора года.

Некоторые жители, должно быть, уехали, а некоторые уже умерли.

…Из окна второго этажа вылетали подгоревшие матрацы, как гренки черного хлеба к кофе. Юджин стоял перед своим домом и перед окнами, наблюдая, как пожарные заливают водой мебель, одежду, бумаги, которые дотлевали внутри помещения. Пожарные подтягивали гофрированные шланги, а на улице стояло несколько сонных знакомых Юджина – видно, после вчерашнего перепоя. Он узнал высокого старика – старого *айриша*, который любил покурить прямо в постели.

У него Юджин и снимал комнатку. Перед своим путешествием на запад Америки Юджин заплатил старику определенную сумму, чтобы тот не выбрасывал его вещи. И комнатку, на всякий случай, приберег (конечно, поселив нового

жителя, но с условием, что когда Юджин вернется, тот, новый, должен выселиться).

А теперь им всем негде жить, и никакие договоренности уже не действуют.

Старик посмотрел на Юджина и отвернулся к полицейскому, который записывал с его слов детали несчастного случая.

А Юджину ничего не оставалось, как, только постояв, уйти.

Декабрь в Нью-Йорке выдался сравнительно теплый. Приближалась зима, а Юджин потерял свой угол и оказался на улице. Он позвонил знакомому в Квинс и договорился о ночлеге на несколько дней.

На 14-й улице начиналась предрождественская распродажа.

В шахматных клубах доигрывали последние в этом году партии, в пабах допивали последнее в этом году пиво, в букинистических магазинах продавали по сниженной цене залежавшиеся книги и ноты.

На Бродвее было шумно, на 2-й авеню по металлическим конструкциям с ажурными подпорками мчались поезда, позванивая вагонами и рельсами.

На Ловер Ист-Сайд ютились синагоги и еврейские магазины. Большинство жителей этого участка были галицкими евреями, которые говорили на польском и украинском – все они приехали в конце XIX или в начале XX века, и в 1920–1930-е годы идиш все громче звучал на улицах, в магазинах и в ресторанах. Кныши продавали в «Иоганн Шимель Книш Бейкери» на Хаустон-стрит, а Морис Косар и Исидор Мирски выпекали булочки по белостоцким рецептам.

Юджину нравился шум и запах этих улиц, идишский акцент в польском языке, знакомые лица евреев, их воспоминания о Галичине, города и гешефты.

Юджин часто наведывался сюда после возвращения из своего большого американского путешествия, встревал в разговоры в магазинах – особенно когда кто-то из собеседников был из Богородчан или Солотвина. Ловер Ист-Сайд напоминала Юджину меланхолическую песню на идише, какую-то довоенную идиллию, а теплые кныши и булки – спрятанное в сознании ощущение дома и уюта, которого у него никогда не было и, наверное, уже не будет.

О музыке Юджин может говорить часами: о композиторах, певцах, операх, либретто и скрипках, которые он привез из Германии в Нью-Йорк. Это единственное, что у него осталось, –

война и музыка.

Даже в шахтах в тифозном 1941 году Юджин выстукивал о перила металлической кровати мелодии сельских музыкантов со свадеб и забав. В Германии он находился рядом с Бетховеном и Вагнером, о которых тогда еще ничего не знал. Чувствовал, что рядом с шахтами и тифом над землей повисла музыка – огромный пласт, похожий на голубые небесные сферы, – музыка, которую он хотел глотать, как мармелад из своего шахтерского рациона. На шахтах и, потом, в Яблонце над Нисой или в Праге, музыка отбивалась от Юджина, как девушка – от надоедливого поклонника. И только в лагере – в том скоплении послевоенных ужасов, где собирались полуголодные изгнанники с чемоданами или без них, с детьми, – напуганные бомбардировщиками, с единственным желанием выжить, – только в лагере для перемещенных лиц среди разрушенной Германии Юджин нашел немецкого учителя, которому возил в качестве оплаты сигареты, пожертвованные американскими благотворительными организациями. Сам он не курил, поэтому так оплачивать обучение ему было удобно. За несколько лет на шахте и в Цейсе ладони Юджина превратились в рабочие клешни, его пальцы могли разве что довольно грубо держать гриф или смычок; вдобавок Юджин был левша и нуждался в скрипке, переделанной под левую руку. У немецкого учителя нашлась одна такая скрипка, и скоро обрубки, касаясь нежных струн и лакированного тела скрипки, стали выжимать звуки – сначала хриплые и писклявые, как весенние голоса птенцов, которых Юджин как будто душил пальцами.

Юджин любит пересказывать историю скрипичного мастера Дидченко, который застрелил свою бывшую жену в музее Метрополитен, а ее любовник-адвокат, видя это, умер от разрыва сердца.

Начиналось все так: вернувшись из больницы, Дидченко обнаружил, что старинная скрипка и виолончель работы двух средневековых итальянских мастеров исчезли из сейфа. Как оказалось, адвокат, который вел его дела, подговорил его жену, и та продала инструменты по 250 тысяч долларов.

Пока Дидченко добивался правды, тот же адвокат поспособствовал быстрому разводу, и в мгновение ока у скрипача не осталось ни семьи, ни старинных инструментов. Со слов Юджина, Дидченко никак не мог с этим смириться. К тому же суд постановил, что встречаться с дочкой тот сможет только в присутствии бывшей жены – раз в месяц.

И здесь у Дидченко созрел план.

В какое-то воскресенье он попросил встретиться с дочерью. Конечно, бывшая жена, боясь мести, не решалась приходить в места, которые могли показаться опасными, но Дидченко назначил встречу в музее Метрополитен, в людном месте, еще и согласился, чтобы пришел адвокат. Поэтому женщина в конце концов согласилась.

Дома Дидченко вытащил пистолет из ящика и зарядил.

Бывший капитан царской армии, он имел военную подготовку и умел быстро оценивать ситуацию. Музей Метрополитен был едва ли не лучшим местом для мести, надо было только придумать, как спровадить дочь и что ему делать, когда он осуществит свой план. Ждать полицию или убегать? А если бежать, то куда? Никакого места Дидченко заранее не подготовил: подумал об этом в последнюю минуту, но отбросил идею, потому что та мешала сосредоточиться.

От Карнеги-холла до музея Метрополитен Дидченко шел пешком. Это где-то двадцать улиц. Путь, который можно пройти за час, он преодолел за три. Пройдя почти половину расстояния, Дидченко остановился: в воздухе пахло липами, и так же пахло в его мастерской – клеем и смолой, лаком и музыкой.

За поясом торчал пистолет.

С тех пор, как жена переехала к адвокату, Дидченко лишь несколько раз появлялся в мастерской: просто заходил, но ничего не делал, сидел и курил. Срочные заказы пришлось отложить, а для клиентов придумать какие-то объяснения. Его преследовали скрипка и виолончель, которые так коварно похитила эта сука (а иначе Дидченко бывшую жену и не называл). Он даже не пытался вспоминать о цене инструментов – его больше беспокоило, что то итальянское совершенство из Кремоны, которое он ощупывал и обнюхивал, пытался разгадать, измеряя циркулем и линейкой, – теперь продано и уже никогда не будет принадлежать ему.

Процесс самой расправы Юджин с годами подзабыл, хотя репортажи криминальной хроники тогда сообщали, что скрипичный мастер Дидченко смертельно ранил в музее Метрополитен свою бывшую жену. Мотивом преступления, по мнению полиции, была продажа старинных музыкальных инструментов. В музыкальных и адвокатских кругах это событие живо обсуждали еще в течение какого-то времени, пока пресса и салоны Нью-Йорка не заполонили разговоры о новом неординарном преступлении.

В назначенное время дочь Дидченко и бывшая жена в сопровождении адвоката появились в зале древнегреческого искусства.

Дидченко вышел из-за двухметрового Аполлона,

поздоровался, обнял дочь и несколько минут о чем-то с ней шепотом переговаривался. Первоначальный страх и неуверенность бывшей жены притупились, расслабился и адвокат, рассматривая обезглавленную Венеру. Дочь подбежала к матери, что-то ей шепнула и побежала между скульптурами в буфет с десятидолларовой купюрой, которую Дидченко вложил в ее узкую ладонь.

Дидченко вытащил из-за пояса пистолет и хладнокровно, почти в упор расстрелял бывшую жену под крики и вопли нескольких любителей классики. Выстрелы, прозвучавшие за спиной адвоката, отвлекли его внимание от Венеры, он отступил на несколько шагов, обернулся на звук и увидел окровавленную любовницу на мраморном полу с мозаикой. Он вдруг неестественно дернулся, пошатнулся, упал, шевельнув тонкими ножками, и затих. Дидченко спрятал пистолет за пояс, выпрямился и стал ждать полицию среди сотни мраморных скульптур и двух трупов.

Его арестовали и забрали в тюрьму, а убитую и умершего – на медицинскую экспертизу. Из тела несчастной вынули семь пуль: капитан царской армии не оставил ей никаких шансов выжить. У адвоката диагностировали разрыв сердца вследствие шока, пуль в его теле не нашли.

Дочь Дидченко, кажется, временно поместили в приют, а что было с ней дальше – Юджин не знает.

Эту подзабытую историю Юджин рассказывает с большим восторгом, как будто это не Дидченко, а он сам расправился со злоумышленниками.

В 50-х годах в Нью-Йорке на сцене Карнеги-холла царствовал Иегуди Менухин.

Именно игрой Менухина озвучили фильм «Magic Bow» о Паганини – это кино подарил Юджину на Рождество, еще во времена его работы дорменом, один *гей*, тоже музыкоголик и опероман, с которым они часто обменивались музыкальными новинками. Сначала Юджин долго выбирал видеомагнитофон, чтобы иметь возможность посмотреть это кино. Время шло, видеомагнитофон Юджин так и не купил. Прошло еще несколько лет, фильм перешел в категорию ретро, постарел и умер Иегуди Менухин, постарел и Юджин. Только Паганини в том фильме остался неизменным, как и музыка, которую сыпал, как будто из рукава, волшебный смычок Менухина – казалось, что ее зачерпнули из небесных сфер. Когда же еще за несколько лет ультиматум лендлорда привел к полной ликвидации книг и музыки Юджина, на свалку попал и «Magic Bow». Теперь Юджин

жалуется, что этот сукин грек уничтожил и его самого.

В 60-е годы, когда тонкие механизмы, которые Юджину пришлось ремонтировать на фабрике металлических военных пуговиц и других знаков отличия, остались позади, он становился посреди своей комнаты и играл несложные музыкальные произведения. За его спиной стояли близкие друзья, которым он по-настоящему доверял: скрипачи Никколо Паганини, Август Брайтбах, Леопольд Ауэр и Петровский, учитель Ашафенбурга. Они держали руку Юджина, водили смычком, молча, как строгие судьи, слушали его игру. После грохота станков, запаха машинной смазки и скрежета металла Юджин, как одинокий пловец, нырял в волны музыки, похожие на те, что плещут из открытого океана на пляж Лонг-Айленда. Нырял и плыл, заплывая до буйков: дальше ему не хватало сил, ослабевала рука, не слушались пальцы, звучание теряло чистоту и первозданный свет, который так легко высвобождали Паганини или Менухин, касаясь пульсирующей сердцевины звука. В приоткрытом окне соседнего дома пуэрториканские дети, которые ждали ужина, завороженно слушали скрипку Юджина, готовые временно довольствоваться десертом из музыки.

В Нью-Йорке Юджин неожиданно для себя прекратил путешествия: его жизнь теперь состояла из редких посещений знакомых в городе или за его пределами, не дальше Пенсильвании. Большое путешествие Юджина притупило в нем стремление ездить, и он впал в своего рода летаргический сон, из которого выходил, слушая лекции по высшей математике у полковника артиллерии царской армии, выпускника Санкт-Петербургского университета Кондрата Плохого. Бывший артиллерист жил в Бруклине, поэтому почти каждое воскресенье Юджин на сабвее приезжал к нему со своей исписанной тетрадью, в которой решал разнообразные задачи. Это были шестидесятые. По Ист-Виллиджу бродили поэты, в самых дешевых районах селились молодые художники, появлялись хиппи. Начиналась война во Вьетнаме, молодежь тащилась от битлов и Вудстока. Юджин на все это реагировал упражнениями на скрипке и в алгебре, слушанием классики в лучших концертных залах Нью-Йорка и все более глубоким одиночеством, которое прочно схватило его за крепкие плечи, как злая и циничная шлюха, простоявшая без клиентуры целый вечер.

После Кааре у Юджина почти не было женщин.

Может, потому, что Юджин любил детали своей жизни: одинокое жилище на 3-й улице, две скрипки в черных футлярах, книги о музыке, ноты скрипичных партитур. Он любил разговоры

и концерты, свое обучение и музыкальные фильмы, любил свое пространство, которое кто-то другой мог только разрушить. Женщины, которых он все-таки водил к себе, пытались упорядочить хаос, а ему Юджин придавал почти мистическое значение, поэтому после секса он легко прощался с ними. В окрестностях Ист-Виллиджа крутились несколько дешевых местных шлюх, да и среди своих было немало подруг, которые еще в лагерные времена славились безотказностью. А когда появились хиппи и наркоманы, за несколько долларов можно было получить то, что не найдешь и в Камасутре. Были ночные клубы с голыми девками, которые повисали на металлических трубах, символизирующих фаллос: девки блестели и раздевались, звали к себе, предлагали себя, позволяли касаться своих тел, засовывать в цветные трусики мятые долларовые купюры. Они хохотали и визжали от щекотки.

«Нью-Йорк, – говорит мне Юджин, – изменился». И здесь с ним трудно не согласиться.

Юджин сам почти полностью превратился в Нью-Йорк, который залег в его памяти, стал этаким человеком-городом с музыкальной подкладкой, похожим на рваную подкладку своего пальто. Нью-Йорк разделил с ним по-братски пять десятков лет, старость догнала его на 14-й улице, именно по дороге в музыкальный магазин, где приторговывали старыми записями класической музыки.

«Жизнь – это сплошные потери, – говорит Юджин. – Смотри вот: в детстве я потерял мать, затем – свою деревню, затем – Прагу, потом – Баварию, музыку, две скрипки, несколько квартир, Кааре, книги и пластинки, фотографии и тетради, а когда-то Нью-Йорк потеряет меня».

«Музыка, – говорит Юджин, – нынче совершенно испортилась». Он не любит джаз; в магазине на 14-й ему не предлагают ни панк, ни рэп – ничего подобного, уважая выбор и вкус своего клиента. Музыка, сопровождавшая Юджина до старости, и сама стала его старостью, ходит с ним и за ним по нью-йоркским улицам, как подруга, и всегда ждет его, когда он, запыхавшись, отстает. Она поднимает Юджина, когда тот падает на улице, сбитый велосипедистом или замешкавшийся, она повисла на нем своими тяжелыми ангельскими крыльями, и Юджин не может уже их ни сбросить, ни отдать кому-то другому.

В обед возле Св. Станислава собираются старики Манхэттена: это – время дешевого обеда, привезенного католическими благотворительными организациями. Ниже, в Томкинс-сквер

парке, также раздают бесплатную еду, но это уже «Армия спасения»: там полно пожилых китайцев и бомжей, запах супов и жареных кур где-то час стоит на ближайших улицах. Старость – это не только музыка, но и «Армия спасения», пластиковые тарелки и метушня в очереди за своей порцией.

Юджин приходит, шаркая грубыми ботинками «Rock Port», потрескавшимися, со счесанными каблуками, в неизменном синем пальто, с шарфиком на шее и во французском берете. Не засиживается, потому что, как он говорит, должен идти на 14-ю улицу, искать оперу Вагнера «Тристан и Изольда» под дирижированием Эриха Ляйнсдорфа (запись 1943 года в Метрополитен опере). А потом всю ночь, до утра, слушать музыку, пока свет дня не станет в полный рост во всех пяти окнах жилья Юджина.

Я знаю, что когда Юджин завтра придет и я скажу: «Hello, my dear friend», он беззубо улыбнется.

– Все о’кей? – спросит он.

– О’кей, – отвечу я.

И это означает, что действительно все о’кей.

2011

Боксер

Бучачу и его боксерам посвящается

Впервые я увидел его на 14-й улице возле Юнион-сквера – в темной футболке с недельной щетиной на черном лице.

Стив шел прямо, как настоящий боксер, который пробивает себе дорогу: покачиваясь, словно после удара справа или слева, разгребая руками пространство, как рыба, проплывающая между водорослей, цепляя их плавниками.

Юнион-сквер перехватил угасшую славу Томкинс-парка, места, где бунтовали, обирали, убивали, кололись и бухали.

Вот почему в Юнион-сквере с началом весны всплывает на поверхность нью-йоркский бомжатник (ну всякое там дерьмо, которого предостаточно везде, а в Нью-Йорке – тем более). Ночью эти безопасные при свете дня дорожки, кусты и высаженные парковой службой цветы скрывают наркоманов, алкашей, бездомных; а полицейские машины шныряют вокруг парка, наблюдая за ситуацией, и как бы они ни следили, однажды утром умершего от передозировки наркомана или исколотого ножами бомжа завернут в черный целлофан и повезут на кладбище для бездомных.

В Юнион-сквере несколько входов и выходов к сабвею – узловой станции, где сходятся две линии нью-йоркского метро – желтая и зеленая. Каждую среду и каждую пятницу фермеры продают тут свою продукцию и изделия, поэтому воздух, настоянный на аромате яблок и слив, петрушки и укропа, разнообразной выпечки, местных вин, яблочного сидра, выветривается только к утру; а под белыми палатками загорелые фермеры угощают сыром или вином нью-йоркцев, приглашая их купить товар.

По соседству уже намазывает коричневой краской лицо, руки и одежду мим, который подрабатывает часовым стоянием, собирая в ковбойскую шляпу добровольную плату за свое ремесло (или искусство).

С северной стороны Юнион-сквера, за которым просматривается рекреационная зона для пешеходов, стоит серебряный Энди Уорхолл – временный памятник королю поп-арта, который, по договоренности между скульптором и городом, должен убраться через несколько месяцев навсегда (может, перекочует в домашнюю коллекцию какого-нибудь миллионера или вернется обратно – в мастерскую автора). Даже для короля

поп-арта нет места в Нью-Йорке… Но бронзовая фигура Махатмы Ганди тут прописана навечно. Махатму поставили и привинтили в огороженном мини-скверике рядом с небольшим фонтаном, от которого в жаркий день веет прохладой. Вокруг фонтанчика и Махатмы всегда сидят, подобрав ноги, в позе лотоса какие-то люди, а нью-йоркские голуби слетаются сюда пить воду. Шахматисты предложат вам сыграть партию рядом с центральным входом в сабвей, а молодежь и постоянные протестующие собираются вокруг памятника Джорджу Вашингтону. Одновременно, рядом с мирным протестом в защиту прав животных или против китайского захвата Тибета, может выступать группа акробатов или джазовое трио, творческие личности предлагают свои работы в основном туристам: картины, разрисованные футболки, мелкие сувенирчики с портретом Обамы или нью-йоркской урбанистикой.

Стив, за которым наблюдаю, разговаривая с виноделом с севера штата Нью-Йорк, привычно сидит на парапете какого-то магазина на узкой улочке и бухает, наливая в пластиковый стаканчик водку. Вот так он живет и пьет почти тринадцать лет.

В фонтане, возле Махатмы, Стив стирает свои рубашки и футболки, в ближайшем супермаркете – покупает по карточке продукты и потом как-то обменивает на водку. Знает, куда ходить за социальной помощью, к пунктам горячей еды «Армии спасения»; знает, в какое отделение его привезут копы, если арестуют; знает, наконец, дорогу до своего жилища в Бронксе, ну и, конечно, еще помнит, кто он и откуда.

Если бы пришлось как-то обозначить этот синдром, то я назвал бы его «синдромом Чарльза Буковского» или ограничился интересным пояснением из фильма об улице Бовери. Один из его героев рассуждал: *«Есть мужчины, которые любят рыбачить, есть такие, которые сходят с ума от бейсбола, а я люблю пить».*

Бухло – это важная тема любой литературы и любой жизни, даже прямо не связанной с алкоголем. Но если текст связан с именем Буковского, то как же тут без бухла? На могильной плите Чарльза Буковского написано *Don't try* и изображен боксер в боевой стойке. Да, именно боксер. А фильм *«Пьянь»* с Микки Рурком в главной роли приканчивает зрителя голой правдой, в которой алкоголь и секс значат для алкоголика Ченаски все; они не только разрушают жизнь, они создают характер. Да, характер, ибо у бухарика тоже есть характер и своя уверенность в правоте. Я алкаш – этим и интересен.

Стив не пишет, как Буковский, стихов или романов, но бухает не меньше, чем Чарльз. Стив был боксером, а Чарльз – писателем.

Какая разница, кто заливает себе в желудок алкоголь? Это медленное и добровольное «отключение» от жизни. Словно выдернув из розетки подзаряженную батарейку, ты знаешь, что запаса ее энергии хватит на некоторое время. На сколько?

На этот вопрос тебе никто не ответит. Потому и становится бухло самым важным, что может быть в твоей жизни, оно «отключает» тебя, то есть поддерживает такое твое состояние, в котором тебе хочется побыть как можно дольше.

Бокс помог Стиву войти в Юнион-сквер и завоевать здесь авторитет. Побив какого-то мексиканца, а позднее и чувака с Ямайки, Стив, как его называют американские дружки, сразу же проторил себе дорожку среди кустов и цветов Юнион-сквера. Его даже подозревали в убийстве, когда нашли мертвого избитого наркомана, тогда забрали в 13-е отделение и продержали трое суток. Пока экспертиза не подтвердила, что смерть этого несчастного наступила за несколько часов до того, как кто-то отдубасил покойника. Возможно, это были дружки, которым казалось, что таким образом они приведут в чувство «отключившегося» кореша. Стив отпирался, и на третьи сутки полицейские снова привезли его в Юнион-сквер, перед тем покормив в Макдоналдсе.

Лето Стив преимущественно проводит здесь, в Юнион-сквере (это его летняя резиденция). Тут его все знают, тут шумно, знакомые фермеры подсовывают овощи и фрукты, полукриминальный элемент угощает сигаретами, живописцы делятся пятью-десятью долларами, поэтому в Бронкс, в квартиру, которую ему выделил город и которую он делит с наркоманом Дэвидом, Стив не торопится. Все устраивает Стива. Его сосед приводит подружку несколько раз в неделю, но не мешает Стиву медитировать со своими подружками-бутылками. Общение получается спонтанным, так как ни один из них не знает, как сложится его распорядок дня с утра до вечера, точнее, кто из них раньше соскочит с дистанции: он, Стив, алконавт, или его сосед, наркоман Дэвид.

С первыми холодными ночами, примерно от ноября до весны, Стив и Дэвид делят свое жилье и делятся временем. Стив научился понимать соседа (ну, несколько английских слов и идиом он выучил). Дэвиду такая неразговорчивость Стива вполне подходит, поскольку Дэвид не всегда может ворочать как следует языком, прояснить свое сознание и вспомнить нужные слова. Стив и Дэвид в основном молчат, каждый занимаясь любимым делом: соответственно, бухлом и «травкой».

Дэвид – действительно клевый чувак (так считает Стив), потому что однажды, когда в припадке ненависти Дэвид

вышвырнул за дверь очередную свою подружку, провожая ее словами *fuck you, bitch, asshole*, а она, вырвавшись, забежала в комнату Стива и провела с ним всю ночь, Дэвид не выразил никаких обвинений или ревности, приняв ее утром снова к себе. Стиву эта конченая мулатка очень понравилась, единственное, что его обломало, – ее непомерная любовь к бухлу. Гостья выпила за ночь недельные запасы Стива. У Дэвида она прожила еще неделю и убралась восвояси. Потом Дэвид привел другую, но Стив свои двери заранее закрывал и больше никогда не показывался на глаза подружкам Девида.

Дэвид, убежден Стив, еще и надежный друг. Именно Дэвид взял всю вину на себя, когда они сожгли свою общую кухню. Кто-то из них забыл выключить газ, и до утра дым заполнил всю квартиру, сработала сигнализация. Пожарные, выломав двери, очень удивили Стива и Дэвида, которые краем сознания уловили, что в их жилище кто-то заливает кухню из брандспойтов. Тогда Дэвид накинулся на пожарника, но получил затрещину, а Стив, заступаясь за своего дружбана, набросился на другого пожарного и сбил его с ног.

Суд, который состоялся между Пожарным департаментом Бронкса и двумя жителями этого района – Стивом и Дэвидом, выяснив ситуацию, вынес справедливый приговор: поскольку была зима, то выселять этих двух чуваков за нападение на пожарных во время тушения не решились, а обязали их к принудительным работам – подметанию бронксовских улиц.

Стив, который в Америку приехал, по-своему завидовал Дэвиду, который, соответственно, никуда не приезжал, а родился тут, в южном Бронксе, сорок шесть лет назад. Стив однажды видел карточку социальной помощи Дэвида (на ней были указаны дата и место рождения). Но не это важно, размышлял Стив, – с Дэвидом неплохо жить вместе, хоть он и наркоман, а их Стив не выносил. Даже в Юнион-сквере старался держаться особняком, близко к себе наркоманов не подпускать – сладковатый запах марихуаны вызывал у него отвращение, да и вообще не понимал он этих местных американцев. Он, Стив, – другое дело, ведь он приехал в Нью-Йорк в результате фиктивного брака, устроенного львовской фирмой, благодаря которой он выиграл грин-карту. Фиктивная супруга улетела из Нью-Йорка в Атланту, – и Стив даже не успел оформить с ней развод, так как разыскать ее за полгода так и не сумел, а потом забыл о ней. Тогда, в начале своей нью-йоркской жизни, он осознал, что боксерской карьеры тут уже не сделаешь (ну не то что карьеры, даже держать полотенце для облитого потом и кровью боксера не позволят). Сначала Стив думал тренировать юных боксеров, но с этим тоже

не везло – и первые свои дни и месяцы он строил Нью-Йорк, нося вместе с мексиканцами кирпичи и раствор в строительной компании еврея из Одессы, который набирал для своего бизнеса новых эмигрантов и нелегальный элемент. Стив поселился на Боро-парке, и каждое утро, даже в субботу, его подбирал минивэн, в кабине которого уже дремали мексиканцы.

Мексиканцы все время говорили о футболе.

Стив испанского языка, на котором те беспрерывно общались, конечно, не знал, точно так же он не смыслил ничего и в английском, но слово *futbol* ловил и без перевода.

На каком-то телевизионном канале, на бензозаправке, где водитель минивэна со Стивом и мексиканцами останавливался, чтобы заправить машину и купить кофе, Стив увидел рекламу международного боксерского поединка, который должен был состояться в Мэдисон-Сквер-Гарден. Суперизвестный Мухаммед Али, преодолевая болезнь Паркинсона, призывал посетить это событие. К концу дня Стив уже ни о чем не думал – только о боксе. Ему захотелось заехать в морду этим мексиканцам, и от предстоящего удовольствия он даже расслабился и представил себя на ринге Мэдисон-Сквер-Гарден. Но, потрогав свой ломаный-переломанный боксерский нос, направился за подпрыгивающими напарниками в теплую кабину машины.

О Мэдисон-Сквер-Гарден Стив расспросил босса, поскольку сам никогда на Манхэттене не появлялся, тем более выше 14-й улицы; за этой улицей для Стива начиналась зона отчуждения, все эти Таймс-скверы, Колумбус-Сёркл, Централ Парк были для него только словами (почти пустыми словами).

Мэдисон гудел, места за те бабки, которые заплатил Стив, были дешевые и очень далеко от ринга. Там, перед самым рингом, он увидел Мухаммеда Али. Тот сидел полусогнувшись, рядом с ним – то ли жена, то ли помощница, ассистировавшая великому боксеру, которого трясло от Паркинсона. А Леннокс Льюис спокойно позировал перед камерами, раздавая автографы фанам. На ринге в это время два молодых боксера молотили друг друга, но публика только разогревалась, так как знала: поединок, ради которого все пришли, начнется в 10 вечера.

Стив впервые сидел на арене в Мэдисон-Сквер-Гарден.

Он приехал из бруклинского Боро-парка заблаговременно, перекусив несколькими хот-догами, перешел Седьмую авеню и стоял, запрокинув голову, разглядывая дома, Мэдисон-Сквер-Гарден, под которым расположилась одна из центральных железнодорожных станций Нью-Йорка – Пенн-Стейшн. Все плакаты сообщали о боксерском поединке Кличко – Брок, была

суббота, и человеческий нью-йоркский муравейник шевелился на улицах. За этой субботней кутерьмой, этим хаосом, этой нью-йоркской толкотней завороженно наблюдал только Стив, времени у него было, как воздуха в карманах.

Бой длился полтора раунда. Кличко за это время успел вырубить соперника и теперь ходил по рингу, подняв над головой чемпионский пояс. Стив подсчитал, что это зрелище будет стоить два его рабочих дня на стройке с болельщиками футбола. Выйдя из Мэдисон-Сквер-Гарден, он спустился в ночной сабвей; несколько линий были на ремонте, поэтому поезд пришлось ждать почти час. К Боро-парку Стив добрался около трех ночи. На его станции в перевернутом металлическом мусорном контейнере ковырялся енот, чей полосатый хвост закрученно свисал. В скверике сидели бомжи, одиночные машины неспешно проезжали по Девятой авеню. Продуктовая лавка на углу работала, за кассой дремал мексиканец. Стиву захотелось пива, и он зашел (ясное дело, открыв дверь и разбудив мексиканца мелодичным звонком). Продавец протер красные глаза и спросил Стива: «How are you?» Стива тоже кумарило. Он заснул в поезде, проспав всю дорогу, и проснулся, подъезжая к своей станции, это у него уже было на уровне подсознания – просыпаться за несколько секунд до полной остановки поезда на Девятой авеню. Купив бумажный ящичек «Corona», Стив свернул на свою 42-ю улицу и уже в квартире пил на кухне пиво и смотрел, как китайцы из соседнего дома пакуют сумки. Должно быть, куда-то едут или везут что-то продавать на Чайнатаун в Манхэттене, думал Стив, допивая вторую бутылку пива. Из боксерского поединка он мало что помнил: шум, крики, освещенный ринг, тысячи болельщиков, Мухаммеда Али. Но все эти картинки быстро стерлись из его сознания; может, потому, что перед глазами снова были окна его дома, свет в окнах у китайцев, бесконечное упаковывание ими клеенчатых сумок, их постоянно включенный телевизор с китайскими фильмами. Просто это была ежедневная никчемная жизнь.

Стив выключил свет и, не раздеваясь, завалился на кровать.

Рано утром он услышал высокий женский голос.

Женщина разговаривала по телефону.

Стив вспомнил, что сегодня воскресенье. Еженедельно эта женщина звонила в Украину, домой, рассказывала о себе. Поэтому через некоторое время Стив уже знал, что у нее там несовершеннолетний сын и мама, присматривающая за этим парнем, знал, сколько она пересылает каждый месяц денег, какие и где покупает ему шмотки – ну, короче, весь этот бесконечный женский поток сознания. Сегодня она снова расспрашивала обо всем на свете, несколько раз возвращаясь к одной и той же теме:

уже заплатила адвокату, и тот обещал, что письмо работодателя, у которого она работала полную неделю, должно помочь ей получить бумаги, и тогда она подаст на воссоединение с сыном. Стив никак не мог ее вычислить, потому что она жила в другом крыле их дома, но их окна выходили в пустой квадрат, который образовали два соседних здания, – поэтому ее воскресный голос долетал до Стивовых окон. По субботам и воскресеньям, как правило, у нее собирались другие женские и мужские голоса. Они бухали, смеялись, хохотали, делились новостями и рассказывали какие-то глупости, а потом наступала тишина, скрипели кровати, и к Стиву долетал страстный стон. Потом они снова громко разговаривали, и так проходили их воскресенья и их жизнь.

Та, с которой Стив прилетел в Нью-Йорк, как-то позвонила из Атланты и поинтересовалась погодой. Стив удивился не только ее вопросу, но и тому, что она как-то вычислила его телефон. В Нью-Йорке падал снег, и на улицах светились разукрашенные лампочками деревья – пришло Рождество. Снег выпал после оттепели, и улицы были мокрыми и серыми.

Стив ответил, что у них – снег. Пока она трещала, пытался вспомнить ее имя.

Они познакомились в фирме, которая оформляла для Стива грин-карту. Там Стиву предложили фиктивный брак, и таким образом фирма получала двойную выгоду. Стив согласился, поскольку ему, в принципе, было по барабану. Брак оформили тут же, через полчаса фирменная шестерка примчалась из загса с печатями в паспортах. Так Стив и Татьяна – тридцатилетняя учительница английского языка – стали мужем и женой и вместе приехали в Нью-Йорк.

Впервые Стив трахнул Татьяну в варшавском отеле, ожидая получения виз в Америку, а второй раз – здесь, в Нью-Йорке, в первую неделю их американской жизни, потому что у друзей Татьяны не было лишнего матраса и лишней комнаты. Они легли вместе и трахались неделю – до отъезда Татьяны в Атланту.

Стив держал трубку и смотрел на снег.

Татьяна рассказывала об Атланте. О первых месяцах и трудностях. А затем попросила Стива об официальном разводе, поскольку между ними не было ничего серьезного, а здесь она уже нашла клевого американца, у которого живет и с которым спит. Татьяна говорила, что не знает, как будет дальше, но хочет иметь чистый паспорт. Она рассказывала все Стиву так, словно ожидала от него совета, то есть он почувствовал в ее голосе нотки сомнения. Стив сказал, что готов подписать любые бумаги о разводе, но платить ему нечем и заниматься этим он не желает.

Еще через полгода Стив развелся с Татьяной; процессом занимался адвокат из Брайтона, и Стиву это действительно ничего не стоило.

Теперь, в Юнион-сквер или в Бронксе, Стиву трудно вспомнить всех женщин, с которыми он здесь, в Нью-Йорке, жил. Последняя, Жанна, выбросила Стива из своего дома, заподозрив его в краже денег, и почти калекой вытолкала на улицу.

Стиву в Америке не везло с самого начала; постоянное переселение из квартиры в квартиру, стройка, боксерская амнезия и постепенный алкоголизм привели к тому, что он упал с высокой стены и поломал ноги. Владелец компании, чтобы не платить большую страховку, когда приехала «скорая», отказался от Стива: мол, вообще не знает, что он делал на стенах там, где строит его компания. В госпитале Стиву наложили гипс, дали два костыля и через день отправили к Жанне. Владелец строительной компании привез Стиву пять штук баксов наличными и попросил забыть о его компании. Если бы все оформили законно, то Стив мог бы получить крупное возмещение – до полумиллиона долларов, но он совсем не ориентировался в том, что и как должно быть, поэтому пяти тысячам обрадовался, как малый ребенок. Пока были бабки, Жанна еще как-то терпела Стива, а когда те пять тысяч он постепенно пробухал, она вытолкала его из квартиры, обвинив в краже. И хромая, как побитый пес, на костылях, Стив направился в парк Сансет.

Все лето и осень он смотрел, как мексиканцы играют в футбол, а с высокого холма наблюдал за кораблями, заходившими в нью-йоркскую бухту. Еду и одежду ему привозили на «форде» активисты «Армии спасения», предлагая также заменить ночевку в парке на ночевку в более или менее обустроенной комнатке городской ночлежки. Осенью, правда, его приметила харитативная служба протестантской церкви с бруклинской Пятой авеню и приютила у себя. Эта церковь размещалась в трехэтажном доме, первый этаж занимала собственно церковь, а на двух других – жил их священник и такие бездомные, как Стив. Каждое воскресенье его сносили с третьего этажа на первый – на богослужение, и в течение часа Стив сидел в инвалидной коляске, которую пригреб где-то на улице ревностный прихожанин. Службы велись на испанском языке, а посещали их выходцы из Центральной и Южной Америки. Поэтому богослужения проходили непринужденно и весело, прихожане много пели, играли на гитарах, пританцовывая.

Так Стив провел свою первую безработную, но не бездомную зиму. Весной он ходил уже без посторонней помощи, без костылей, хоть и хромая; тащился по улицам в сомбреро и сандалиях. Кости на ногах срослись, и Стиву помогли оформить социальную помощь; получив карточку на продукты, он быстро сообразил, что часть продуктов может загонять китайцам или такой босоте, как сам, за наличные.

В Юнион-сквере Стив появился ниоткуда, покинув протестантских благотворителей из Бруклина. Он почувствовал, что в Юнион-сквере ситуация значительно лучше: фермеры со свежими овощами, художники, у которых можно выпросить пять долларов, полицейский участок, где можно переночевать, ну и вообще – Манхэттен.

…С тех пор как Стив покинул Бучач и приехал в Нью-Йорк, прошло тринадцать лет.

Пока еще жива была мама и пока Стив был приличным человеком, а не нью-йоркским бомжом, она рассказывала ему о бучацких евреях, которых он, Стив, должен найти, потому что среди них есть кто-то, кто жил в одном с ними дворе, и они, эти евреи, могут чем-то (в случае необходимости) Стиву помочь. Мама спрашивала, может ли он разыскать каких-то Зильберов, которые перед войной уехали в Америку. Стив рассказывал маме, что он работает как раз у еврея, отец которого уехал из Одессы в 1970-х годах, но Зильберов он найти не сможет, так как не знает, где они, ну и с тех пор все изменилось. Мама говорила, что с дочерью Зильбера она играла, а дед Стива по субботам ходил к Зильберам разжигать печь. Они, говорила мама, должны меня помнить, мы им зла не делали, и когда они в 1938 году выехали в Америку, то Зильберова Миндл прислала из Нью-Йорка две открытки (так там был и адрес). Но эти открытки дед Стива во время войны сжег, боясь, чтобы их не нашли и не заподозрили в симпатии к евреям, потому что тогда творилось ужасное.

Стив вспомнил об этом разговоре с мамой уже здесь, в Юнион-сквере, когда никакой помощи от Зильберов ему не надо было, потому что обо всем позаботились социальные службы Нью-Йорка. Еще раз вспомнив о маме, Стив потянулся к сумочке с водкой.

Он с утра, бухнув, тупо сидел до семи часов вечера, до того времени, когда августовский базарчик понемногу сворачивается; тогда Стив начинал ходить от стола к столу, собирая в сумку оставшееся от продажи.

Был ли Стив королем бокса?

Сам он никогда не рассказывал об этом (Стива не раскрутишь на такой разговор). Точно так же он повесил большой замок и на свою нью-йоркскую жизнь – он хочет быть человеком без прошлого. И это ему удается. Поскольку Нью-Йорк ничего от Стива не требует, он распростер для него Юнион-сквер и позволил приходить из ниоткуда и убираться в никуда. Стив с Нью-Йорком – запанибрата.

Сегодня в Стиве, друге бронзового Махатмы Ганди и жителе Юнион-сквера, трудно узнать бывшего боксера. Но что-то осталось от профессионального бойца – может, прищуренные глаза, которыми он словно ищет момент для окончательного удара сжатыми кулаками со сбитыми костяшками.

Даже если Стив завершил свой бокс где-то под тридцатку, на его пути были, очевидно, победы и неудачи, часы изнурительной тренировки, драки возле клубов, поломанные носы и разбитые челюсти. Стив, как настоящий боец, не мог обойти рэкетирские 1990-е, когда большинство его кентов сменили боксерские ринги на рынки. Возможно, именно поэтому у него нет прошлого, и, скорее всего, именно тогда он начал бухать, чтобы полностью не сломаться после ограбления автобусов с барахлом на автострадах или разборок на железнодорожных станциях, в тупиках, куда загнали несколько цистерн с бензином, на которые другие крутые пацаны положили глаз. Несколько раз Стив ездил в Польшу помогать своим отбиваться от бригад чеченцев или московской братвы, несколько раз его чуть не пристрелили во время преследования на автомобильных дорогах Словакии, по которым перегонщики доставляли новые иномарки из Германии и Австрии.

Отложив несколько тысяч долларов, Стив сообразил, что его когда-нибудь могут замочить, поэтому нужно сваливать. Во Львове он выбрал фирму, которая занималась заполнением анкет на грин-карты, изменил свою фамилию и все данные в загранпаспорте (за бабло, конечно) и ждал удобного случая. Тогда фирма предложила ему еще и телку для фиктивного брака. Стив прикинул, что с телкой будет безопаснее свалить, к тому же она шпарит по-английски, что на первое время в Америке – почти находка.

Миша, дружбан из Санкт-Петербурга, привлек Стива к общему бизнесу: два или три раза в неделю Миша приезжает около полуночи из Бруклина на Манхэттен. Заходит в ближайший бар, который работает до пяти утра, сидит там и бухает, пьет свою любимую водочку, а затем полирует ее пивком. В Юнион-сквере находит Стива, спящего на скамейке или на теплом бетоне

парковой стены, – и оба занимают лучшие места для продавцов художественных изделий и картин. За это получают по двадцать долларов. Если удается отвоевать большую территорию, обставив ее ящиками или тележками из супермаркета, то гарантировано уже несколько десятков долларов. Миша знает, что со Стивом его дружки по ночевке спорить не будут, поэтому Стив выгодный и необходимый компаньон. Пока Миша сидит и караулит незаконно занятое пространство, Стив направляется в Beth Israel Hospital. Там, в госпитале, принимает душ, бреется, если вечером не забыл у кого-то выцыганить несколько новых лезвий, надевает выстиранную в фонтане футболку и возвращается к Мише. Стив готов к новому дню. В кармане его брюк спрятана засаленная карточка, на которой расписаны дармовые обеды в костелах, церквях и на улицах. Этот список спасает Стива от голода.

Потом Миша предлагает выпить. Они раскладываются и до прихода первых продавцов оба уже «готовченки».

Таким образом, день для Стива начался как обычно и, как всегда, удачно.

Стив родился в городке над зеленой речкой Стрыпой, в городке, который провалился в глубокие ямы своей истории и застроил природные террасы высоких холмов старинными зданиями и улочками. Барочная ратуша была самым высоким зданием в Бучаче, с ней конкурировали разве что Федор-гора, монастырь отцов-василиян и Крестовоздвиженская церковь. Ко времени рождения Стива история города была такой длинной и запутанной, что в ратуше запросто уживались короли и гетманы, турки и татары, пожары и болезни, королевства и империи, войны и убийства. А еще евреи, которые в Средневековье поселились в Бучаче, торгуя и молясь в синагогах, стали местным населением, а теперь все они ждут Стива, который бухает в Нью-Йорке.

Они сходятся и ждут его – Стив это знает и чувствует.

Стив привязан к прошлому лишь слабыми импульсами нынешней памяти, он только в снах возвращается к тем незначительным местам своего городка, в которых ему мысленно приятно бывать, потому что Юнион-сквер слишком шумный. Стив представляет Стрыпу, вербы и кусты бузины, которыми заросли ее берега, карасей и пескарей, которые выпрыгивают, чтобы глотнуть воздуха или посмотреть на людей и снова пуститься по течению реки. Он представляет улицу, брусчатку, окна домов, почти вросшие в землю, громоздкие двери, огромные колодки и замки. Все двери для него закрыты, и улицы пусты, а его, Стива, уже ни одна из них не помнит.

Стив переворачивается на правый бок и слышит вой

пожарной сирены, он просыпается вместе с утренним Нью-Йорком, оставив Бучач на завтра, навсегда для своих снов, в которые нью-йоркские копы не доберутся; это единственное, что осталось с ним. Память места.

Когда чувак с Ямайки спросил Стива, откуда он, тот произнес: «Бучач».

«Buu-chaaa-ch?» – повторил мулат и убедился, что Стив, к их несчастью, действительно свалился с другой планеты.

2011

II

Зеленые собачьи дни

1.

Собачьи дни в середине февраля (или же каникулы) были у меня в Никарагуа. Они были также у никарагуанских школьников, для которых через два дня после моего прилета в Гранаду начинался новый учебный год. На площади Независимости синел национальный флаг, и фарфор синего неба широченной миской накрывал город Гранаду. На рынке продавцы подметали вчерашний мусор, брички с лошадьми стояли в очереди, ожидая клиентов, а юные проститутки, выходившие на угол рынка к полуночи, наверное, в эту раннюю пору еще сладко спали. Бездомные псы рылись в мусорниках. С гостиничной террасы пахло утренним кофе, официанты в белых камзолах обслуживали немногочисленных постояльцев гостиницы. Февраль месяц в Никарагуа теплый, без дождя, только однажды со стороны озера приползла дождевая туча, но сразу же была растерзана ветрами и, брызнув несколькими каплями, словно коровьим молоком, растаяла за зеленой вершиной вулкана Момбачо. Каждое утро, принимая душ, я разглядывал влажную зелень Момбачо, нависшую над почерневшей черепицей кварталов. Окно моей душевой выходило прямо на вулкан, вершину которого часто облепливали белые, словно снег, облака, сдуваемые затем сильными ветрами. За несколько дней в Гранаде я привык к тому, что первое, что бросается в глаза, – вулкан Момбачо, и первое слышимое – неотчетливые звуки человеческих голосов, которые доносятся с соседней улицы; это были голоса уличных торговцев, они уже жарили мясо, бананы, картошку и кукурузу на продажу. Утренний кофе на террасе и зеленый февраль после Нью-Йорка без труда переваривались моим желудком и сознанием, хотя эта коварная листва на деревьях и яркие фонарики цветов среди зимы вызывали чувство легкого недоумения, к которому привыкаешь уже на следующий день после прилета в эту страну.

2.

Приезжая в чужой, совсем незнакомый мне город, ловлю себя на мысли, что эта встреча, эти несколько дней просто даны мне для поиска следов собственного межвременья. Сегодня – это Гранада, средневековый никарагуанский город между вулканами

и озером. И сегодняшний ты – между сорока и пятьюдесятью. Ты требуешь от Гранады откровенности, словно ловишь за руку женщину, которой хочешь сказать несколько слов восхищения. И, будто шелудивый пес с площади Независимости, обостряешь свой нюх и слух, чтобы не ошибиться, в каком именно месте надо возникнуть и какие именно слова следует сказать. В этом тебе могут помочь стихи, но они еще не написаны, может, ради них ты и прилетел в Гранаду? Может, для того, чтобы почувствовать: Гранада – это город твоей усталости, город твоих собачьих дней, город зеленого цвета – колышущихся зеленых деревьев и платья австралийки. Может, потому, что этой временности непременно нужна остановка, город, где цветные стены домов и запыленные сонные дети, – это временность, хотя в Латинской Америке временность демонстративная, колоритная, сексуальная, телесная, музыкальная – и потому постоянная.

3.

С гостиничной террасы ежедневная жизнь наполнена керамическими бутылками и вазами, разрисованными пищиками, непрекращающейся музыкой. Во внутренних гостиничных двориках над пальмами – синее полотнище неба, и фонтаны воркуют, словно голуби. А когда сидишь в кресле-качалке на террасе, мир качается для тебя оттенками зеленого и запахи разливаются кружащим голову дымом жареных бананов и коровьей вырезки. Я не ошибусь, если скажу, что музыка вместе с лошадьми и псами, принесенной ветром вулканической пылью, зелеными тенями деревьев и цветами карнавала захватывает в свои объятия этот город подобно ветреной любовнице. Вначале, примерно после ежедневной *сиесты*, которую заслуживает каждый никарагуанец в гамаке или прямо на улице, на тротуаре или просто опершись о ствол дерева, – музыка приходит с барабаном и огромной деревянной куклой в яркой юбке, с размалеванным лицом, красными губами и щеками, – кукла оживает и вращается, барабан немилосердно трещит, а самый младший участник собирает деньги. Внутри разряженного каркаса – маленький кукловод (какой-нибудь сорвиголова с околиц этого города), а руки этой двухметровой красавицы во время вращения распрямляются и зачерпывают теплый воздух, которым поливают лед, продаваемый как мороженое.

4.

Мне подумалось, что тепло не только подпитывает музыку и с еще большей силой гонит по жилам кровь, оно не только зреет в зеленых плодах кофе, поддерживает рисовые стебли или поблескивает золотыми слитками кукурузного зерна; оно гармонизирует и уравновешивает жизнь и смерть, зелень на склонах и выгоревшие коричневые поля, худых коров и лошадей. Оно убаюкивает утомленных жителей, срывается в карнавальном походе, оно ищет выход, и этим выходом, постоянным выходом в одном направлении, является любовь и бедность. Нищета изменяет историю, но не меняет способов существования и выживания… Я пересекал полуночный притихший базар, а на углу, под деревом, стояли четверо девушек, они первые поздоровались со мной, что-то вроде *hola*, я им что-то ответил. Они стояли и смеялись, как-то не слишком обращая внимание на других прохожих. Под их деревом лежала белая собака, а рядом с собакой – обслюнявленный и грязный пьяница. Было не совсем понятно: заснул ли он от усталости, или набрался в какой-нибудь дешевой забегаловке, да и вообще есть ли у него хоть какой-то дом. Моя гостиница была рядом, в каких-нибудь двух минутах ходьбы от этих девушек, от дерева с псом и спящим мужчиной. Свет в гостинице был уже погашен, только над террасой желтенький луч, как собачья моча, поливал окружающую темень, в которой одиноко виднелись кресла-качалки. Я присел в одно из этих кресел, жизнь и музыка в это время затихли, укрывшись снами. Вверху поблескивали крупные зерна звезд, из-за озера срывался ветер и разносил песок по пустым улицам. Я прикрыл глаза. *«Señor»,* – послышалось рядом, я открыл глаза и увидел, что возле меня сидит в кресле-качалке напротив одна из тех четырех. Ей было не больше пятнадцати (ну, от силы шестнадцать). *«Señor»,* – повторила она, словно белыми зубами разламывала это слово-обращение. *«Three dollars and full service»,* – продолжила несовершеннолетняя проститутка. Видно, бизнес сегодня не пошел, подумалось мне, и я спросил, чтобы как-то поддержать разговор: *«How old are you?» – «Twenty one»,* – солгала она. *«What is your name?» – «Gabriela».* В эту ночь она могла назвать любое имя, любой возраст и выдумать любую причину своего присутствия на углу. В ее взгляде не было ничего необычного или стыдливого. Она пришла торговать своим телом ночью точно так же, как днем на этом месте распродают керамические изделия или бижутерию. *«Señor,* – повторила она, изучая меня, – *three dollars plus Coca Cola». – «Coca Cola is your favorite drink?»* – спросил я Габриэллу. *«You know, man after sex. I like Coca Cola».* Я полез в карман и нащупал сотню кордоба: *«Gabriela, please buy for yourself couple of bottles».*

5.

Я поднимался на вулкан Момбачо, над которым парили орлы; они подставляли свои широкие крылья ветрам и словно чиркали ими по зеленым склонам, словно тренировали свой инстинкт смерти, показывая мне привлекательность полета.

На вулкан надвигались облака, они проваливались в поросший лесами кратер, выстилая собой пушистую перину, которую сметут порывистые ветры – с дырами, с присвистом пищиков. Мокрые деревья, поросшие мхом, сопровождали мой путь с северного склона вулкана. Выйдя из мокрого леса на пологий склон и оставив ветрам и туманам мокрое сердце вулкана, я увидел разнотравье, которое простерлось на южном склоне заросшей щекой передо мной. Вдали, в синеве и зелени, виднелась Гранада, а дальше – озеро Никарагуа, одинокие лодки, несколько островков. Я уже возвышался над вулканом, с высоты которого сильные ветра забивали мне дыхание. Облака проплывали на уровне моих глаз, а город мог запросто поместиться у меня на ладони, я мог накрыть его, собрать в пригоршню. Я мог даже достать рукой те несколько лодок, тех рыбаков или зачерпнуть воды из озера вместе с водорослями и рыбами. Из-под земли пробивался сизый и синий дым пара, сжималось мокрое сердце вулкана, он дышал сквозь ноздри отверстий, он жил рядом с городом и озером. Я видел его каждое утро из окна душевой, его конусоподобные плечи и размытую воздухом зелень, теперь я был частью этой зелени и величия, а город в своей отдаленности был узкой протянутой ладонью, теплой пылью, бурыми апельсинами.

6.

В Никарагуа все, кажется, лишено длительности. Возвращаясь из города Дистингвидо, до которого ехать из Гранады не более сорока минут, успеваешь выхватить из сплошной ленты пейзажа какие-то детали, совсем мелкие: белье на веревке перед деревянной халабудой, тощую корову, крестьянина, лежащего в гамаке, пассажиров в кузове джипа, бурые поля фермы, рейсовые автобусы, на которых возят в Нью-Йорке учеников в школу, а тут – пассажиров. И когда набивается полный автобус, то они выходят через запасные, аварийные, задние двери. Никарагуанская жизнь вдруг обрывается – впереди похоронная процессия, в черной резной карете за стеклом – гроб, кучер в черном камзоле, цилиндре и белых перчатках, похожий на фокусника в цирке. На

двух конях, везущих покойника, – крепкая сбруя, отделанная металлическими застежками. Жара, за каретой – процессия: родственники и близкие под зонтами, процессия движется медленно, задерживая весь транспортный поток. Эта временность, проглянувшая в похоронной процессии, подобна карнавалу. А этих людей, кучера, карету, может, даже позаимствовали с какого-нибудь карнавального действа; жизнь, перетекающая в смерть, и смерть, которая протискивается среди жизни. Если какая-нибудь из примитивных форм жизни, какая-то инфузория-туфелька движется в направлении смерти, для нее важно само движение. Если на гранадской улице движется и переливается формами, звуками и цветами карнавал, то для его участников важно почувствовать себя частью большого действа – невидимой нитки, которая привязывает всех нас к времени этой улицы. Общее время, разделенное, словно апельсинка, которую разрезают уличные торговцы для своих покупателей, подкармливает нас ощущением жизни. Я впервые под февральским солнцем Гранады глотал музыку карнавала, пока карнавальная процессия стояла возле церкви de la Merced, пока оркестранты привалились к почерневшей стене церковного средневековья, группки девушек поправляли чулки на икрах, гребешки в прическах, цветы на платьях, пока сам карнавал еще готовился смыть пыль, принесенную за ночь, – ведь мог же вообразиться мне неудержимым потоком реки, бурным очищением, победным наступлением войска, которое захватывает этот город. Карнавал начался с поэзии, ее читали на каждом углу, ею делились, словно минеральной водой в жару, город, который высыпал на улицы, сам шел навстречу этой стихии – обреченно и послушно.

7.

В один из последующих дней, зеленых и жарких, обойдя рынок для туристов после того, как на нем подмели, а худощавые псы проснулись ради поисков какой-то поживы, я пошел в направлении озера без определенной цели. Просто шел по улицам. Дома, отдаляясь от площади Независимости, становились все менее привлекательными, по улочкам точно так же бродили собаки; утренняя прохлада пришла ночью с озера и еще не успела нагреться, и только аромат кофе все еще гулял сам по себе вместе с псами. Улицы в Гранаде – простой лабиринт разрисованных стен, порой беленных известью, поэтому запахи кофе и утренних помоев гуляют от стены к стене, ударяясь о них

и потом всплывая вверх, становясь облаками для вулкана и легкой пеленой неба. Эта повсеместность стен, которые тянутся от улицы к улице, от перекрестка к перекрестку, похоже, закрывает от постороннего взгляда какую бы то ни было жизнь. Карнавал – это жизнь напоказ; другой жизни напоказ Гранада не признает; все прочее – скрыто, затаено, укреплено замками, узкими квадратами окон и тяжелыми входными дверями. Стены почти одинаковые, двери – тоже, жизнь за этими стенами и дверями тоже одинаковая, хотя подобие лишь внешнее. Любое направление в городе выводит за город, возвращение – всегда на площадь Независимости. Прямые улицы завершаются перекрестками, на площадях построены костелы, эти костелы – средневековые, почерневшие от времени и дождей.

8.

У меня было несколько номеров телефонов (ими я на всякий случай запасся в Нью-Йорке, чтобы встретиться, если получится, с несколькими жителями Никарагуа, в прошлом – европейцами). Один звонок, присыпанный гранадской пылью, я оставил в доме Манагуа. К телефону никто не подошел, должно быть, хозяев не было дома, я пообещал написать им письмо, как только найду Интернет. Еще один звонок – молодой профессорше из Ратгерса, которая после Гондураса перебралась в Гранаду, и третий, последний – французскому художнику. Француз ответил, и оказалось, что он обитает в нескольких кварталах от моей гостиницы. Мы договорились встретиться в полчетвертого, под конец сиесты, когда его жена вернется из гимнастического зала. Жан-Марк ожидал меня в установленное время, стоя в полуоткрытых дверях в футболке и шортах, заляпанных краской. Мы вошли в большую прихожую, раскрашенную в синий цвет, точно такой же, как и внешние стены жилья Жан-Марка. *«Тут у меня частная галерейка, выставляю и продаю свои картины»,* – пояснил хозяин. По всему было видно, что этот дом, комнаты которого находились на первом этаже и переходили одна в другую, словно обнаруживая своеобразную связь времен и цепь пространств, – по мере погружения дарил тебе все новые и новые закутки и ощущение внедрения в аутентичный быт. Тот быт, который спрятан за сплошными стенами этих бесконечных в своем сходстве Calle и Avenida. Жан-Марк на какое-то время исчез, оставив меня рассматривать старинные шкафчики для посуды и серванты. Как оказалось, рядом с гостиной, козырек которой подпирали колонны, – внутренний дворик с небольшим

фонтаном, местной растительностью и крупным попугаем в клетке: хозяин заранее загнал птицу вовнутрь и закрыл на замок. *«Агрессивный, бросается на гостей, что-то вроде верного пса».*

Над внутренним двориком козырек обрывался, растительность, фонтанчик и попугай грелись под открытым небом, стремясь к теням, которые закрывали в эту пору дворик уже наполовину. Жан-Марк вернулся с бутылкой вина и какой-то закуской. Мы выпили по одному фужеру, но жара, еще державшаяся за притолоку этого дома, быстро нас разморила, и следующие фужеры вина выходили из меня виноградным потом. Жан-Марк еще раз исчез и возвратился с кофе. Каких-то двенадцать лет назад он оставил свой Париж и попал в Латинскую Америку, сменив несколько стран. В Гранаде он сперва работал во французском ресторане поваром, потом женился, затем занялся исключительно рисованием. Мои первые впечатления от Никарагуа, которыми делюсь с Жан-Марком, возвращают его память к истокам. Я говорю, что по дороге из Манагуа в Гранаду на зеленых обочинах полно пластиковых бутылок (их, наверное, выбрасывают все кому не лень). А Жан-Марк подтверждает, что да, этого добра тут навалом, но теперь получше. Еще несколько лет назад целые горы пластика лежали повсюду, даже шутили, что национальной эмблемой Никарагуа можно считать пустую бутылку из-под кока-колы. Я говорю, что расклеенные плакаты президента Ортеги проповедуют лозунги социализма, демократии и христианства. Жан-Марк, откинувшись в плетеном кресле, отвечает мне, что социализм давно похерили, относительная дешевизна заманивает иностранный капитал, состав общества иным быть не может, национальная элита давно обитает в Штатах, а те, кто не элита и кому удалось поселиться во Флориде, приезжая в Никарагуа, переходят на английский – это модно, этим они демонстрируют свою инаковость, исключительность и снобизм. Я рассказываю Жан-Марку о своей встрече с малолетними проститутками, спрашивая: что их толкает торчать на тех ночных перекрестках? Ну знаешь, говорит Жан-Марк, бедность; в бедных семьях иногда нет на обед и миски риса, семьи многодетные, к сексу тут относятся несколько иначе, чем в традиционно европейском воспитании. Ранние сексуальные отношения в бедных кварталах – отнюдь не редкость, даже матери могут вытолкнуть их из дома на такой промысел. Ну, секс-туризм тут достаточно развит, посмотри по ресторанам: с кем проводят время иностранцы? Эти старые пердуны ловят, может, последний кайф в своей жизни… *«У них свои каникулы»*, – говорю. *«Что?»* – переспрашивает Жан-Марк, и наш разговор прекращается с приходом его молодой жены, которая выливает на

нас с Жан-Марком целый поток испанских фраз, предназначенный в первую очередь ему. У меня – каникулы.

9.

Эрнесто Карденаль жил в гостинице «Дарио», по другую сторону от площади Независимости. Я видел его, когда он стоял в окне этой гостиницы, приветствуя всех нас, участников поэтического карнавала. Он был в белой рубашке и неизменном черном берете. Белая рубашка напоминала белые одежды Христа и его учеников, а берет – революционный чегеваровский стиль. Я слышал, как читает этот 87-летний апостол свои стихи на площади Независимости, стихи политические и социальные, сотне своих слушателей, для которых история страны прежде всего – в словах, в зеленом мелькании пейзажей, вулканических гор и кофейных плантаций, в шумных протестах возбужденной толпы и стрельбы из «калашникова»; эта история напоминает дом, который они старательно прячут от посторонних глаз. Стихи и воскресные проповеди оседают в памяти, словно вулканическая пыль, – и наращивают новые слова и новую землю. Карденаль проповедует христианство как марксизм и марксизм как христианство: богатство – зло, враг – это американский империализм, революция потерпела поражение, но не завершилась. Его социальные и политические стихи, протесты, статьи на общественные, мировоззренческие темы не обходят стороной Никарагуа (как, например, дожди). В его творчестве как-то равномерно все распределено: кесарю – кесарево, а Богу – Богово (как и должно быть у католического священника и социального активиста, как и должно быть у настоящего поэта). Поэтический карнавал, который зажег в глазах Карденаля искорки поэтического братства, мощным людским потоком огибал гостиницу «Дарио» и оставлял поэта перед ресторанами с противоположной стороны, сытыми западными туристами, музыкой, бившей хвостом, словно пойманная в озере рыба, которую Христос поделил между пятью тысячами, а теперь поэт одаривает толпу своими словами, ибо тот, кто имеет уши, должен их услышать – услышать и понять.

10.

Из Манагуа приехала пара, с которой я списался через Интернет. Они приехали на восьмицилиндровом мощном джипе и

подобрали меня возле гостиницы «Alhambra». Собственно, часа полтора я сидел на веранде гостиницы, пил пиво, отбиваясь от продавцов керамики и орехов и детей, просивших милостыню. Чтобы как-то скрасить ожидание, я на некоторое время оставил веранду и снова прошелся по лабиринтам рынка сувениров. Этот рынок – для туристов, а местный, настоящий, где торгуют продуктами, расположен за несколько кварталов отсюда, но уже на подступах к нему все свободные места на улице заняты продавцами (наверное, на самом рынке всем места не хватает). Я так ни разу и не дошел до настоящего. Каждое утро на меня смотрели картины, на которых яркой темперой была изображена никарагуанская жизнь. Их расставляли продавцы, протирая от пыли вчерашними газетами, – своеобразный национальный китч, в котором преобладали дома с красной черепицей на зеленых склонах некоего города (возможно, Гранады, Манагуа или Леона), китчевая сексуальность выпирала в пышных формах женского тела. Пахло кофе, жареной кукурузой и говядиной, пиво превращалось в сплошную реку, в которой хотелось плавать, время приближалось к одиннадцати; вот-вот жара заполнит эти улицы разморенной усталостью и жаждой. Я замечаю, что продавец семейной керамики Бисмарк, у которого я уже купил несколько изделий, улыбается мне. Бисмарк будет улыбаться, даже если он сегодня ничего еще не продал, даже если он ничего не продаст завтра, он будет улыбаться все равно.

11.

Иногда это происходит (особенно если тебе между сорока и пятьюдесятью), когда ты в чужом городе, в чужой стране. Когда каждое утро сквозь открытое окно в душевой манящие голоса коричневых женщин и девушек залетают с улицы теплым ветром и зеленым теплом. Это возраст, когда пенсию еще не дают, это возраст, когда тело, перестраиваясь к состоянию старости и смерти, хочет запомнить тепло глаз, изгибы губ, слова, случайно попадавшие на язык. Когда душа со множеством, как у херувимов, глаз высматривает другую, ища в ней собеседника и поддержку. Это время, когда в стране февраль, когда дожди и птицы зависли меж облаков и зеленых вулканов, а собачьи дни заканчиваются в феврале, разговоры заканчиваются за полночь; когда собираешь пальцами со стола крупинки песка, – и когда ветер задувает зажженные официантами свечечки, когда дети возвращаются на учебу в школу, – и когда ты возвращаешься к словам, которые должен сказать не на своем языке, боишься ошибиться, но тебя

понимают. И у вас всего три дня, которые вы проведете впроголодь. Может, потому, что, возвращаясь из Леона, ей некуда было позвонить или написать мейл, ты бы все равно его не получил, так как целый день карабкался по склонам вулкана, потом ездил на обед в ресторан, потом искал какую-то мебель, потому что пара, приехавшая к тебе из Манагуа, решила купить себе какие-то тумбочки, и ты с ними объехал несколько городов, несколько придорожных мебельных магазинов. Она в это время плыла по озеру Никарагуа, а ты думал, что она еще в Леоне. Эти снимки потом кто-то выставит в Фейсбук – и ты увидишь на ней зеленое платье, и как все плыли на экскурсионном корабле. И как грязные волны бились о борта этого корабля, и как зелень постепенно переходила с земли на воду, зеленя волны (по сути, ты увидишь, как проходило врозь ваше время). Пара еще предложила съездить в город Масая, там еще какие-то вулканы и вулканические озера. Ты думал о городе Леоне, вы попали на чтения в разные группы. Ты возвратился со своей в тот же день после обеда, а группа из Леона – поздно вечером, ближе к полуночи. Но ты об этом не знал и не спросил. В тот вечер ты долго сидел за столиком на террасе, пил пиво, смотрел на саламандр, ползавших по потолку ресторана, крепко цепляясь растопыренными перепонками своих конечностей, ты наблюдал за ними, потому что их глаза светились зеленым теплом, которым они, сволочи, зарядились в течение дня. Потом короткий разговор на площади Независимости, когда ты спросил, замужем ли она, а она ответила, что нет. И когда она спросила, женат ли ты, ты ответил: да. И потом совсем не было никаких слов. И на следующее утро – совместный завтрак: омлет со свежими помидорами, зелеными измельченными листиками шпината и кофе. К вашему столику все время подходили, что-то говорили, что-то писали, дарили, выменивали время на слова, улыбку – на прикосновение руки, книжку – на мейл-адрес. Итальянец спросил тебя, знаешь ли ты, кто королева этого фестиваля? Ты кивнул, а он, улыбнувшись, похлопал тебя по плечам.

12.

Ну вот, Гранада, наши счеты с тобой сведены. Дни – посчитаны, чемоданы – упакованы, стихи – прочитаны. Ты остаешься со своими улицами и костелами, продавцами и нищими. В гостиницу «Alhambra» приедут новые постояльцы, они будут оставлять чаевые, им точно так же будут улыбаться горничные, гости станут бросать в фонтанчик монеты. За наш

столик сядут другие пары, другие разговоры заведут их языки, развязанные вином или пивом, другие руки станут касаться других рук, неизменными будут лишь озерный песок, пыль, которую каждое утро сбрызгивают и метут, продавцы керамики и бродячие псы, худые и миролюбивые, музыка, карнавал, стихи. И если это будет в феврале, то ко всему этому ты, Гранада, дашь им, кто бы это ни был, еще и собачьи дни, то есть каникулы.

• Прощайте, девушки с полуночного перекрестка, – к вам приедут новые клиенты, и вы напьетесь кока-колы вволю;

• оставайтесь с миром, вечно голодные псы;

• спите, пьяницы, под деревьями на свежем воздухе, вам надо отдохнуть;

• играйте, оркестры;

• бейся о стены улиц и об асфальт, карнавальная рыба;

• читайте, министр культуры Эрнесто Карденале, свои стихи и молитесь за нас;

• летай, Никасио Урбино, вместе со своими книгами;

• улыбайся своей загадочной улыбкой, Джоконда Белли;

• зеленейте, вулканы, расти, кофе, на склонах;

• приходите, дни и ночи, – а я оставлю в стихотворении «Возвращаясь в Гранаду» место для столика на веранде гостиницы «Alhambra», чтобы зарезервировать его навсегда!

Bronwyn – нас местные знают отлично
может над столиком будет табличка
будет в почете поэт после смерти
вижу отчетливо в небе астральном
ты долетаешь уже до Австралии
как хорошо что мы смертны

* * *

Мост Верразано в Нью-Йорке светился зелеными огнями – такими, как воздух в Гранаде. Я глубоко вдыхал морозный воздух, набивал им легкие, чтобы – на мгновение – удержать эти зеленые слова, чтобы забыть их.

2012

Голова слона

Индия похожа на голову слона, который углубляется в Индийский океан и полощет свой хобот в его зеленовато-грязных волнах.

Керала – это игла пальмы на хоботе, погруженном в воды Индийского океана.

Индия – это священные коровы, миллионные города, слащавые мелодии индийских кинофильмов, перекрестки народов и племен, религий и верований.

Керала – это застывшая маска театра танца катакали.

Индия – это темно-желтая глина ежедневных забот и женщины с полными воды кувшинами на головах.

Керала – это алфавит малаямского языка, закрученный, как слоновьи хоботы или хвосты тигров.

* * *

Лучшего маршрута для поездки на литературный фестиваль в Индию, чем через Лондон с двенадцатичасовым ожиданием рейса на Мумбаи, – придумать было невозможно.

Во-первых, это ожидание оказалось не утомительным, как это обычно бывает, ибо, обменяв доллары на фунты (правда, обменный курс меня несколько расстроил) и купив в оба конца билеты Хитроу – Лондон – Хитроу, я подался на Пикадилли. Во вторых, меня встретила вовсе не лондонская погода – ясный безоблачный день (правда, в полдень он сменился затянутой тучами сыростью, но без дождя). В-третьих, попросту убивая время и бесцельно бродя лондонскими улицами без карты, я наткнулся на дом Редьярда Киплинга и именно это воспринял как добрую примету перед полетом в Индию.

Известно, что автор истории о Маугли значительную часть жизни прожил в Индии.

Королевский двор как раз принимал короля Саудовской Аравии, рынок лихорадило ценами на нефть, а доллар колыхался на мировых биржах, словно поплавок одинокого рыбака в Темзе. Лондонские денди и лондонские такси поблескивали полированной чернотой: первые – обуви, вторые – кабин; полисмены верхом на резвых конях невозмутимо патрулировали свой участок перед Вестминстерским дворцом.

Купив несколько сувениров, на которые падки невзыскательные туристы (а продавцы этого товара

преимущественно пакистанцы или индусы), я, наконец, уселся на лондонской улице за столиком случайного ресторана, разглядывая Лондон, точнее, улицу и автобусную остановку, на которой время от времени собирались пассажиры в ожидании красного двухэтажного автобуса.

* * *

В очереди на регистрацию рейса Лондон – Мумбаи я стоял с индусами, которые вылетали из Англии в Индию, – то ли возвращаясь после временного пребывания за границей, то ли просто направляясь в страну, где родились. Очередь медленно двигалась. Багаж, который пассажиры двигали впереди себя, свидетельствовал о том, что нагрузились они ощутимо, а времени до отлета оставалось все меньше и меньше. О том, что было в их заклеенных клейкой лентой огромных картонных коробках, можно было только догадываться. Почему-то мне вспомнились девяностые годы, когда массы людей с Украины двинули в Польшу со всякой всячиной, упакованной в мешки и клеенчатые сумки с шотландским узором.

Индийская эмиграция в Англию, безусловно, начинается с тех времен, когда Индия была английской колонией, и, соответственно, индийская диаспора – явление долгосрочное и многогранное. Скажем, в Америке почти все нью-йоркские таксисты – выходцы из Индии, Бангладеш или Пакистана, сменившие доминировавших здесь в восьмидесятых годах русских. Уличные продавцы бутербродов с сосисками, свежих овощей по всему Манхэттену – тоже они. Практически все автозаправки в штате Нью-Джерси обслуживают индусы.

Возможно, не случайно понятие культурных границ так важно для современной Индии и ее писателей, ибо сама Индия – это сплошное пограничье культур, религий, рас, клубок противоречий, некий дивный эксперимент нашей цивилизации. Не потому ли одна из самых успешных американских писательниц Джумпа Лагири в своем романе «Тезка» предлагает читателю пограничье, в котором сосуществуют и конфликтуют Индия и Америка. Это не только социальный фон повествования об индийской семье, которая поселилась в США. Возможно, это история о сложном переходе человека из одной модели цивилизации в другую, постоянное балансирование между Востоком и Западом. Вопрос о преимуществах – не возникает, ответ относительно смысла – бессмыслен. Главный персонаж Гоголь (Ник), которого отец назвал так в честь своего любимого

писателя Николая Васильевича Гоголя, родился уже в Америке и, само собой, как и всякий подросток, относится с иронией к стране своих родителей, которые однозначно сохраняют в быту традиции и язык. Нику немало достается из-за своего вычурного имени, а также за то, что он ощущает культурный конфликт как рожденный вне Индии представитель первого поколения семьи. Лишь после смерти отца Ник начинает по-иному осмысливать себя, свое происхождение, отношение к Индии и переживает свое перерождение. Словом, если бы изменить имена и биографии, это была бы целиком украинская история с сотнями тысяч модификаций послевоенной и новых волн эмиграции, конфликтом отцов и детей в экстремальных условиях новой реальности, выбором и проблемой выживания в жерновах Америки, которые перемалывают культуры слабые, а также национальную и культурную приверженность. Не случайно эта история побудила Миру Ноир экранизировать роман, и фильм, как и роман, стал успешным проектом.

* * *

До посещения Индии можно пользоваться своим мифом о ней. У кого-то это кришнаиты, металлический перезвон их медных тарелочек и вечная песня, – она вплетается в сандалии, сари и улицы, которыми они ходят, – однако это лишь одна из религий, представленных в Индии. Еще для кого-то это погружение в старинные индийские тексты о мире и его начале. Для кого-то – это санскрит, для кого-то – Арундати Рой или Джумпа Лагири, то есть современная индийская проза на английском языке, получившая международное признание. Одни видят в Индии и ее реалиях сохранение самодостаточности и самобытности в условиях глобализации, некое особое сопротивление, другие – пульсирующий свет, в котором хаос обладает особой, не подвластной чужестранцу гармонией.

После посещения Индии магический круг мифа изменяется, поскольку то, что удается постичь за несколько дней пребывания в этой стране, начинает мигать в сознании, словно движение на улицах какого-нибудь индийского города или местечка. Постепенно начинаешь вникать, что твое приключение – это как нереальный портал – переход из одной системы цивилизации в другую. И уже не удивляешься священным коровам, которые спокойно роняют свои лепешки на улицах, тем самым добавляя к общему букету запахов свой – мазок пейзажа. Или скрючившихся прокаженных, которые сидят посреди улицы в застывших позах,

словно перегнившие овощи на лотке местного продавца, также воспринимаешь как существенное дополнение к тому же пейзажу. А может, харкающий кровью старец на улице, никогда никем не убираемой, пропитанной дождями, мочой, машинным маслом, гниющими овощами, – тоже элементы древней культуры, как и утонченное мастерство медитации или изысканная философия реинкарнации? Безусловно, главное – как на все посмотреть: становится понятно, что западные ценности и жизненные стандарты в Индии сильно видоизменены. Хотя какая-то часть индусов вполне охотно принимает и западные стандарты с техническими достижениями, правилами гигиены. Правда, госпожа президент Индии при посещении Кералы, осторожно приподняв подол сари, входила вместе с охраной, в волны Индийского океана, чтобы показать всем, что купаться там безопасно. Но в своем выступлении она постоянно напоминала о чистой воде и гигиене. Безусловно, Индия – это другая земля, которую мы хотим сберечь как экзотику, подогнав увиденное под свои стандарты и стереотипы.

Открытие Индии происходило несколько раз: начиная не только от средневекового путешественника Васко да Гамы, но и значительно раньше, когда корабли израильского царя Соломона привозили пряности с керальского берега, да и арабские торговцы с давних пор торговали с индусами. Но при этом для западного мира индийское присутствие в философии и литературе начинается только с периодом колонизации этих земель Англией. Интерес Запада к поэзии Рабиндраната Тагора и присуждение ему в 1913 году Нобелевской премии стало чуть ли не наибольшим прорывом индийской литературы в западный мир. В 1960-е годы буддизм, как религия и философия (благодаря «Битлз», Аллену Гинзбергу и сотням тысяч хиппи), превратившись в моду, распространился на Западе во время последовавшего за Второй мировой войной кризиса ценностей западного общества, то есть стал альтернативой и протестом (что дало возможность многим проповедникам индуизма основать на Западе свои весьма успешные в финансовом плане центры медитации).

А можно ли представить индийскую музыку без Рави Шанкара?

* * *

Индия – это разноцветье сари на грациозных женских телах; глаза индийских женщин вобрали цвет кокосовой кожуры, жирной глины берегов, омытых коричневой водой вольно

текущих рек; их словно выточенные из слоновой кости белые зубы упрятаны в мягкий изгиб улыбок; их особый язык движений бровей, темных губ; смуглых гибких рук, звенящих золотыми браслетами; тонких шей, украшенных рядами ожерелий, проколотых ноздрей; лбов с красными метками «третьего глаза». Это особый тип женственности, который обычно блекнет в заправленных в джинсы футболках где-то на улицах Лондона или Нью-Йорка. Но здесь, в Индии, он расцветает тем многоцветьем, которое буйствует после окончания муссонных дождей.

* * *

Каждый день в пять утра меня будил голос муллы на расположенной невдалеке от гостиницы мечети. Потом надвигались тучи, щедро лил дождь, птицы кружили над пальмами и позеленелыми от дождей домами, серая штукатурка которых покрылась черными лишаями пятен. Около шести надвигались звуки автомобильных клаксонов, с каждым часом они усиливались, и до обеда хаотичное движение машин, мотоциклов и рикш на фоне гудящего улья на улицах творили свою симфонию до самой поздней ночи.

Индия – это бог в мелочах, – именно это определение мне хотелось повторять за Арундати Рой – индийской писательницей, которая в своем известном романе «Бог в мелочах» описала историю жизни одной керальской семьи.

В южный штат Керала я и получил приглашение на литературный фестиваль. На всех туристических сайтах, рекламирующих путешествия в этот штат и привлекающих сюда туристов, открытую Васко да Гамой Кералу подают как бесконечное средоточие пляжей, пальм, пестроты древнего театрального действа боевых искусств. Тем не менее, никто не сообщает будущим исследователям экзотики о некотором своеобразии этой страны (весьма непривычном для европейца или американца). Для меня именно с этого началось познание Индии. Я познавал ее сперва через запахи, потом – через визуальные контрасты дорог, улиц, потоков автомобилей, а еще – через тона и полутона неба, морской воды, грунта, песка, пальмовых садов и только потом – через людей, которые белозубо улыбаются вам.

Я читал роман Арундати Рой, забыв обо всех рекламах туристических фирм, которые почему-то всегда многое преувеличивают. В этом романе переплетены сюжетные линии – история семьи главной героини Рахель и общественных движений

в этом штате в 60-е годы, когда к власти пришли индийские коммунисты, которые весьма симпатизировали китайскому маоизму. Но даже не это (и скорее всего, совсем не это) является наиболее значимым элементом прозы Арундати Рой, ибо основной фон развития общественных событий привязывает повествование к определенному времени, а история семьи владельцев небольшой фабрики по переработке фруктов и овощей в сладости и консервные соления смотрится подлинно фамильной. В этом же контексте находится и пронзительное чувство существования человека, своеобразная индийская экзистенция, которую невозможно истолковать и которая делает роман Арундати Рой подлинным романом. Не менее важным мотивом, когда речь идет о жизни, будет мотив смерти как неотъемлемой части жизни. Этот мотив *жизнесмерти* пронизывает все повествование. А еще – мотив любви со всеми свойственными этому чувству атрибутами, без лишнего стыда или жеманности, но и без преувеличений. В этом повествовании птицы питаются переспелыми плодами манго, идут затяжные муссонные дожди, жизнь чередуется со смертью, любовь с ненавистью, компартия Индии с Индийским национальным конгрессом, Индия – с Америкой.

* * *

Первой остановкой в Индии был Ахмадабад.

Большинство пассажиров вышли в аэропорту этого города, оставив в самолете смятые газеты, обертки от чипсов, орешков и шоколада.

После этого появились индийские пограничники и представители таможни, потом вошли молодые парни-уборщики. Первым впечатлением был запах, который они привнесли с собой. Очень медленно они занялись уборкой. Мне показалось, что их больше интересует – не осталось ли чего от вышедших пассажиров.

Из самолета, когда он шел на посадку над Мумбаи, я разглядел множество разнообразных построек, которые примыкали к какому-то пригорку, примитивных, прилепленных одна к другой времянок из досок, картона, фанеры и бумаги.

Пройдя таможенный досмотр и получив багаж, пришлось пройти по улице до другого терминала. Группки людей облепили металлические загородки, тут же стоят такси, перед входом в терминал – военные или полиция, которых я пока еще не различаю. Два офицера и солдат с автоматом попросили

предъявить билет и, после того как я его показал, впустили в зал. На улице жара и высокая влажность. В зале ожидания работают кондиционеры, но запах в помещении вызывает у меня отторжение. Найдя свободное место, я сажусь в ожидании своего рейса, который вылетает после шести вечера. Звоню жене в Нью-Йорк, и мы несколько минут обмениваемся новостями.

Внимание привлекла группа молодых индусов, которые тщательно заполняли декларации. Таких групп становится все больше, молодые ребята выстраиваются в очереди на рейсы в Дубай, Арабские Эмираты или Саудовскую Аравию и исчезают за дверями с надписью «Отправление». Ожидают еще несколько арабских семейств: мужчины в белом, женщины в черном с полностью закрытыми лицами, у кого-то виднеются только очки, а из-под черных балахонов пробивается синий цвет джинсов как протест против черного цвета таинственности. У арабов много багажа. Они шумят. Шумно и вокруг них. Кто-то что-то забыл. Кто-то что-то не расслышал.

* * *

В Каликат, город, где проводится литературный фестиваль, я прилетел ночью, однако на аэродроме стоял неизвестный мне малаяли и держал табличку с надписью на английском языке «Василь Махно». За границей аэропорта начинается настоящая Индия: без посредников, кондиционеров, таможенных деклараций и полиции в форме цвета жирной глины. Тепло. Перед выходом из здания аэропорта – толпа. Тех, кто встречает, больше, чем пассажиров. Похоже, аэропорт – это небольшой аттракцион, запасной выход в другой мир, коридор между средневековьем и современностью.

Такси и рикши ждут потенциальных клиентов. Нас подбирает машина неизвестной мне модели. По пути полумрак сопровождает нас до самого города. Попадаются автомобили и мотоциклисты. По краям – ночные магазинчики с продавцами-хозяевами, продающими свой товар. В свет фар нашей машины то и дело попадают неизвестно куда идущие мужчины и подростки.

Приехали в гостиницу. Номер выглядит на первый взгляд неплохо, но меня постоянно преследует запах кокосового масла и пряностей. Меньше чем через час пришел Тахом Раджеван – малаямский поэт и организатор фестиваля, принес программку и сказал, что завтра эту программку отпечатают на английском языке. Поговорили о том о сем, и я заверил его, что все прекрасно.

Проснулся где-то в четыре утра, с того часа и не спится. Из окон отеля виден пальмовый сад, какие-то здания, небо затянуто дождевыми облаками, около семи пошел дождь. Ночью кричат какие-то птицы, в шесть стали сигналить автомобили и мотоциклы. Вот и начался керальский день. Сегодня – официальное открытие и первые чтения.

Телевидение сообщает о кризисе на биржах, связанном с ценами на нефть, которая подскочила до максимального уровня: 96 баксов за баррель.

2 ноября 2007 г.

Перед открытием фестиваля снова пошел сильный дождь.

Нас, участников, привезли туда, где будут проходить чтения. Как выяснилось, это большой шатер, внутри которого установлено несколько больших вентиляторов, все равно не спасающих от жары. Перед входом в павильоны Международной книжной ярмарки, в рамках которой и проводится Международный литературный фестиваль, нас встречают местной музыкой: несколько труб в виде спортивных луков и бубны мридангам. Мелодия настолько специфическая, что трудно уловить ее структуру. Коричневые торсы, словно греческие колоннады, образуют живой коридор из звучащих тел.

Все началось выступлением местной элиты, сидевшей в национальных костюмах и сандалиях. Длинные речи, много фотографов и кинокамер, представителей газет и телеканалов.

Объявили начало поэтических чтений.

Перед тем я просмотрел специально изданную к событию антологию участников фестиваля (в которой поместили, помимо прочего, несколько моих стихотворений в переводе на малаямский). Мое выступление было первым. Прочитав по-украински «Нитку» и еще несколько стихотворений в переводе на английский и сорвав аплодисменты и белозубые улыбки, я заметил, что слушать наши стихи пришли исключительно мужчины. Не обошлось и без курьеза. После чтения той же «Нитки» малаямский коллега, возможно, что-то напутал и прочитал по-малаямски «Гертруду Стайн». Но все равно аплодисменты были, а после чтения подходили присутствующие и расспрашивали про Гертруду, Америку и Украину.

Город Каликат – это прежде всего потоки уличного движения, которое описать просто невозможно (поскольку никаких правил, по-моему, у индусов не существует). Единственное, чего они придерживаются, – это правосторонняя езда. Рикша (я

неоднократно пользовался этим видом транспорта как самым удобным и, в принципе, недорогим) шмыгал между снующими непрерывно мотоциклами, автомобилями, автобусами и пешеходами, как ненормальный. Это тоже было поэзией. (Какое же нужно иметь чувство дистанции и скорости, чтобы в этих потоках прошмыгивать без проблем!)

Вечером польский поэт Тадеуш Домровский вместе с индийской поэтессой Наврикат Соди из Дели пришли ко мне в номер, и мы пили пиво, которое они принесли, и говорили про Индию, цивилизацию, поэзию и фестиваль. Индийская поэтесса – довольно современная девушка (курит, как впоследствии выяснилось, и легкие наркотики). Одно время жила в Лондоне и соглашается, что индийская литература преимущественно ностальгическая, мифологическая. Поведала, что в Индии начался экономический бум, и все думают о деньгах и способах их приумножения.

И в самом деле, если окинуть взглядом улицы Каликата, то налицо контрасты, грязь и стихийные рынки. Там и тут продавцы еды, которую здесь готовят на свежем воздухе, сапожники, сидящие под навесом халабуды, дорогие арабские магазины, торгующие золотом и украшениями, изысканным текстилем, современной бытовой техникой, и интернет-кафе. Складывается впечатление, будто Средневековье не исчезло и каким-то чудесным способом соприкасается с современной жизнью.

А может, это современность проникла в Средневековье?

Ночной город и его жизнь: одинокие фонари освещают магазины, работающие и за полночь. Огромные рекламные щиты в свете юпитеров, с которых на это бурление керальской жизни смотрят респектабельные красотки и самодовольные мужчины, рекламирующие то джинсы, то мобильные телефоны. И если говорить о буме, то явно наблюдается бум телефонизации.

3 ноября 2007 г.

Снова задождило.

Один из местных жителей на мой вопрос, в чем причина, сезон дождей ведь закончился, ответил: потепление. Мы стояли на первом этаже черного входа в гостиницу и смотрели на дождь. Это была боковая улица, и лишь одинокий мотоциклист изредка проезжал, огибая свежие лужи. На противоположной стороне улицы начинало оживать одноэтажное здание: открывались окна, дети заполняли классные комнаты – это школа. В этом зеленом дожде она также выглядела зеленой.

Все индийские телеканалы передают и комментируют самую последнюю новость из Пакистана: чрезвычайное положение, введенное президентом Мушаррафом, и аресты среди оппозиции.

Вместе с Тадеушем прошлись по городу.

Сперва рикша довез нас до предполагаемого центра, потом прошлись пешком по улице, которая служила рынком. Людей на улице полным-полно, но никто не толкается. Прошли мимо стихийного фруктового рынка – подгнившие и потемневшие бананы, орехи в мешках, тщательно выложенные цитрусовые. Все что-то предлагают.

Увидел автобусную станцию и впервые перешел улицу. Движение здесь никак не регулируется, ибо нет ни светофоров, ни регулировщиков, на это требуется железная выдержка и сосредоточенность.

Вечером Тахом Раджеван пригласил меня на ужин в ресторан, который расположился во внутреннем дворике отеля. Перед ужином пришел мой переводчик, потом к нашему столику подсел тамильский поэт и еще кто-то из местных. Завязался разговор о моем стихотворении «Astor Place», перевод которого был в антологии:

кто-то
разрисовав уличный фонарь
полагает что этим спасет мир —
что практически безумие —

ибо:
напротив активисты компартии Америки
которые тоже считают что спасают мир —
но спасая можно неплохо заработать
поэтому продают по доллару газеты
готовятся к революции – ибо революцию 1917 года
выучили по книгам университетских профессоров
которые кое-что приврали

рослые анархисты с портретами Че Гевары на футболках —
молодой Че дымит кубинской сигарой —
очень анархично раздают листовки прохожим
как они говорят – ласточки надежды —

группка панков или каких-то металлистов
уселась возле передвижного памятника кубу
(не путать с кубизмом)

и ловят ритм легкой музыки
скрипки и саксофона.

Керальцы усмотрели в этом стихотворении политический подтекст. Пришлось объяснять, что я имел в виду. Какой-то местный поэт начал убеждать меня, что поэзия и есть политика, другой шепнул мне, что у того, который меня убеждает, дома висит портрет Сталина.

Арундати Рой в одном из эпизодов описывает марш местных коммунистов. Один из героев романа, Велютта, который принадлежит к низшей касте, идет в голове колонны и несет красное знамя с серпом и молотом. Индийские коммунисты, которые больше исповедовали маоизм, в 1960-е годы демократическим путем, то есть посредством выборов, пришли к власти в штате Керала. С тех пор они с переменным успехом там управляют. Включив один из местных телеканалов, я сперва не поверил в то, что увидел (и это не было экранизацией романа Рой): местный коммунистический лидер в национальной одежде под красочными знаменами и зелеными пальмами перед десятками тысяч благодарных слушателей и сочувствующих изрекал, очевидно, важные истины. Потом кадр изменился: многотысячная толпа уже приближалась к какой-то тумбе, украшенной сверху огромным красным флагом, а те, которые маячили за спиной оратора во время его речи, бросали цветы. Потом промелькнул портрет основателя партии и учителя всех керальских трудящихся – товарища Намбурипада. Даже мне (хоть я значительную часть жизни прожил в Советском Союзе и красные знамена с серпами и молотами для меня – не диковинка) увиденное показалось ирреальным, смесью яви и сна. Но это также индийская экзотика, хотя и политическая.

* * *

Так получилось, что на аэродром (каждый на свой рейс) мы ехали вместе с поэтессой Ушей Акеллой, которая уже лет пятнадцать живет в США, но теперь на какое-то время вернулась в Хайдарабад и планирует прожить там не менее трех лет. Почему? Я не спрашивал.

Был восьмой час утра, и фестивальный джип приехал в нашу гостиницу, опоздав на каких-то 15–20 минут. Выглядел он вполне респектабельно по сравнению со встречными автобусами, окна которых были прикрыты только занавесками, и мотоциклистами,

время от времени попадавшимися на дороге. Наш водитель полностью осознавал свое преимущество в скорости, поэтому сразу сигналил, когда перед нами возникало какое-нибудь транспортное средство, и все послушно отступали влево, давая нам возможность мчаться по шоссе.

Путь до аэропорта лежит сквозь пальмовые рощи, в которых проглядывают виллы, позеленевшие от чрезмерной влажности и воды. Между Каликатом и аэропортом въезжаем в какое-то селение: дети со школьными портфелями за плечами ждут свой автобус, возле магазинов людно, на одном из перекрестков развевается красный флаг – примета местных коммунистов.

Прислонившись к прохладному стеклу, я начал вспоминать Индию, еще даже не покинув ее, и, прикрыв от утомления глаза, пытался зафиксировать в памяти что-нибудь, что могло бы мне помочь ответить на вопрос: а что такое Индия? Однако ничего не получилось. Тогда я снова раскрыл глаза и начал жадно всматриваться в керальские пейзажи, которые через несколько минут станут воспоминанием, одной цельной линией утреннего воздуха, зеленым пальмовым массивом, который плывет глинистой рекой почти без течения. Я всматривался в Индию, и веря, и не веря, что она вообще существует, что ее не выдумал ни Рабиндранат Тагор, ни Редьярд Киплинг, ни Арундати Рой, ни, тем более, я, имеющий на это меньше всего прав.

2008

Если ты не любишь Луи Армстронга?

Эти воспоминания наплывают кинематографической лентой любительской 8-миллиметровой кинокамеры, которая всякий раз расплавляется и рвется из-за перегрева аппарата, – и на экране вместо изображения появляется пятно с треснутой ниткой видеоряда в густом потоке света.

Ранним утром, еще до рассвета, когда созревают лесные ягоды – малина или черника, сельские жители (преимущественно пожилые женщины, но и мужчины, и дети) выбираются в лес. В полутьме их банки напоминают китайские фонарики, только вместо мигающих огоньков в банках светится воздух (когда на них попадают лучи утреннего солнца и, преломляясь, они изменяют свой цвет – от ярко-зеленого до грязно-синего). В просторах леса эти отблески напоминают паутину, которой прошита исчезающая тьма.

К малиннику нужно идти сосняком. Запах хвои густой, еще не выветренный, настоянный за ночь. Под соснами и елями желтый настил – прошлогодние опилки осыпались, и, приминая ногой утрамбованную поверхность, слышишь глухой вздох лежалой хвои.

Руки и губы у собирателей измазаны малиновым соком, липкой, припорошенной пылью. Возле каждого – несколько банок, наполненных малиной.

Осы, пчелы, шмели, исколотые колючками пальцы, истома и сладкая горечь во рту – гудение лесной мошкары наполняет воздух и залитый солнцем малинник.

С этого (по крайней мере для меня) начинается джаз.

И его первые «исполнители» – скопище лесной мошкары.

Пленка прерывается, и вместо залитого солнцем малинника – белеющая в лучах света простыня экрана, вывешенная на стене в густом дыму поэтического клуба «Бауэри».

Сегодня, как и всегда, здесь играют джаз.

* * *

Если ты не любишь Армстронга (а ты, ясное дело, можешь его не любить, как и всякий сукин сын – противник джаза в принципе, считая всю эту трескотню обманкой, мусором, порчей хорошего слуха) – тогда это не для тебя.

В песне, которую в 1949 году записал Луи Армстронг, король джаза хрипит и грызет своими белыми зубами слова песни, как

орехи, дружественно протягивая тебе руку – поехали с нами!

Понятно, что джаз в записи и живой джаз, как говорят в Одессе, *это две большие разницы*. И прочувствовать это можно, только слушая джаз вживую. Джаз – это не только достояние и изобретение афро-американцев с бесконечными вариациями музыкальной темы – их поют, слегка покачивая телом, отбивая такт ногой и щелкая пальцами (о, это целая философия музыки, которая началась с невольничьих спиричуэлсов с их тоской, пылью хлопковых плантаций южных штатов), блестя ослепительной эмалью зубов.

Почему в Советском Союзе и в странах *развитого социализма* джаз считали вражеским, небезопасным, а его исполнителей клеймили едва ли не как прислужников капитализма? Мол, они отравляют сознание строителей коммунизма. Я это до конца так и не уяснил. Собственно, эта ностальгия по утраченному времени без джаза, какая-то непростимая обида на совковый дебилизм прочитывается у Василия Аксенова в книге «В поисках смутного беби» (в той ее части, где рассказывается собственно о джазе).

Йожеф Шкворецки, чешский писатель, страстный любитель джаза и его фанат, написал повесть «Бас-саксофон». Он также рассказывает о невероятной и глупейшей ситуации в Чехии во время Второй мировой войны и в послевоенное время, когда фашизм (а впоследствии и коммунизм) как-то подозрительно относились к джазу и его исполнителям. (Не думаю, что какой-нибудь американский джаз-оркестр имел задание десантироваться в полном составе для подпольной деятельности в тылу или пускать под откос эшелоны для фронта.)

Мой джазовый опыт, по сравнению с опытом Аксенова или Шкворецки, вообще можно не принимать во внимание (хотя и до, и во время *сезона смертей вождей* джаз существовал). Его, безусловно, не популяризировали, но джазовые фестивали проводились, и Алексей Козлов тянул свою джазовую лямку за всех. Возможно, тогдашних радиослушателей не терроризировали джазом так, как, к примеру, оперным пением или симфонической музыкой. Классическая музыка была труднейшим испытанием для простых советских тружеников заводов и полей. Мало того, что на завод мог заявиться квартет, чтобы прямо в цехе пиликать Стравинского или Рахманинова (реже – Равеля или Дебюсси) или выдать арию из «Бориса Годунова», но билеты на эти концерты распространяли через профкомы! И простой работяга, вместо того, чтобы в выходной культурно поваляться возле речки или хотя бы «забить козла» во дворе, вынужден был идти на концерт скрипача или пианиста, где битых два часа томился под *«ёпёрную музыку»!* Террор *ёпёрной* музыкой даже усиливал ненависть к

коммунизму. (Идея! *Ёперная* музыка уничтожила коммунизм!) Или так: *ёперная* музыка и строительство коммунизма – несовместимы. Или так: к консерваториям (анекдот помните про Чапаева?) надо приставить пулеметчиков охраны, чтобы там не воровали консервы (а *ёперный* театр, ё-моё, можно и послать к такой-то бабушке…).

Джаз не удостаивали даже принудительной любовью советских граждан.

В консерваториях его не изучали. С консервами там было все путем, а подпольные джазовые оркестры не пускали на порог не то что филармонии, а и заводских цехов. И все же исполнителей и слушателей джаза хватало. Видимо, джаз стал (из-за запрета) одной из форм протеста (не важно, хоть среди музыкантов-исполнителей, хоть среди слушателей, которые набивались в красные уголки ЖЭКов). Иногда, странствуя по радиоволнам КВ-1 или КВ-2, любители ловили не только «вражеские голоса» среди многоязычья народов Советского Союза, но и, соответственно, радиостанции из Германии, Польши, Франции, Швеции (то есть настоящий Запад). Звучали комментарии на иностранном языке, который в Союзе знало ограниченное число людей, поэтому и передач тех никто, ясное дело, не глушил, а джаз, если везло попасть на музыкальный канал или программу, звучал непрерывно. Хотя настоящим джазом считался джаз из Америки, то есть тот, который сопровождался диктором, говорящим на английском. Понятно, что записи американских джазменов могли крутить и европейские радиостанции (какие-нибудь там шведы или немцы, в крайнем случае – поляки или чехи), но характерное звучание слов, фраз о Луи Армстронге, Дюке Эллингтоне или Бенни Гудмене перед водопадом их импровизаций не спутаешь ни с чем.

Возможно, среди моих ровесников не было особых поклонников джаза. В лучшем случае, наши музыкальные пристрастия и вкусы формировали «ABBA», «Smokie» и Джо Дассен, Высоцкий и «Машина времени». Не припоминаю также и фарцовщиков, торговавших западными дисками, а этот бизнес в свое время считался весьма прибыльным и небезопасным (ибо диск «ABBA» или «Pink Floyd» и «AC/DC» перепродавали по пятьдесят, шестьдесят, семьдесят рублей). Фарцовщики оборачивали диски целлофаном, только в случае крайней необходимости вынимая их из конвертов, когда нужно было убедить клиента, готового заплатить за них месячную зарплату уборщицы, что перед ним – *фирма́*. Опасность подстерегала фарцовщиков в лице милиции, дружинников, комсомольских рейдов, райкомов и КГБ иногда торг заканчивался арестом его

участников со всеми вытекающими последствиями. Чаще всего этим занимались старшеклассники, пэтэушники или студенты. Пришить можно было что угодно: от моральной нестойкости строителя коммунизма до спекуляции, которая уже каралась уголовным правом. Помню случай, когда, перепродавая диск какой-то группы, фарцовщик (ясное дело, не понимая текстов песен, звучавших по-немецки), пойманный на горячем, попал из рук милиции в лапы оперов КГБ, ибо там кто-то усек (возможно, грамотный комсомолец-дружинник), что в одной из песен упомянут Гитлер. Вот так дело из коммерческого сразу перешло в политическое.

Так вот, я не припоминаю, чтобы продавались диски с записями джаза. Понятно, что никто или почти никто из моих одноклассников не учился в музыкальной школе. Это считалось делом хлюпиков, а не крутых пацанов. Но когда кто-нибудь под давлением родителей и приобщался к музыке, то брал в руки только баян – верный спутник музыкально одаренных хлюпиков. Пианино, скрипка или какой-нибудь духовой инструмент – это уже высший пилотаж. Удостаивались уважения почему-то и ударные инструменты. Гитара также была незаменимой спутницей любых посиделок до полуночи. А те, кто начинал играть на баяне, из-за непреодолимого желания вырваться из-под влияния родителей переходили на гитару (этим сразу зарабатывали себе баллы среди ровесников и старших пацанов) и допускались ко всем важным делам, которых у настоящих пацанов всегда было много (в том возрасте, когда появляется пушок на верхней губе и поллюции).

Думаю, что любовь к джазу приходит со временем. Этот час икс приходит когда угодно, где угодно – в соответствующей среде при желании уяснить этот американский феномен, познакомиться поближе с джазовыми течениями, именами исполнителей. Это потом перетекает в необычное удовольствие выламывать язык непривычными именами, заучивать наизусть названия джазовых коллективов и их композиций. Нет, среди всевозможных притягивающих моментов джазовая революция имеет свой запах, звук, свой цвет и ритм. Вот – хрипящий саксофон или бас-саксофон с черным язычком мундштука и серебряным хоботком, со множеством пуговок и клапанов, открывающихся именно тогда, когда надо извлечь необходимый звук… Они похожи на маленькие открытые клювы птенцов. Только роль матери-отца выполняют пальцы саксофониста, которые кормят свой выводок (так когда-то Борис Пастернак кормил «клавишей стаю»).

Как-то в Тернополе, в местном театре, состоялся первый (и последний) джазовый фестиваль. Это было, конечно, не лучшее

место для джаза в целом и для его исполнителей в частности. Да и Тернополь для джазового фестиваля – тоже не фейерверк. Но надвигалась очередная предвыборная компания, и какая-то из политических партий (которая в итоге в парламент так и не попала) решила привлечь внимание потенциальных избирателей джазовым фестивалем. Театр, к моему удивлению, был переполнен. Он трещал от подпольных любителей джаза, которые еще недавно (особенно в советское время) удовлетворялись джазом лишь через «вражеские радиостанции». Так вот, самих любителей оказалось предостаточно, и мой скепсис относительно провинциальности этого города несколько поубавился.

На родине джаза (ну пусть не в Новом Орлеане, а в Нью-Йорке) со слушанием джаза, ясное дело, проблем никогда не было и нет.

Саксофон и тромбон могут где угодно неожиданно остановить своими звуками, оглушив вас ритмами и свободой музыкального выражения; фортепьяно – мельканием черных и белых клавиш, как лакированные штиблеты бродвейского танцора, чтобы слегка толкнуть вас в спину *Good bye, baby*, – для этого нужно очутиться в каком-нибудь злачном месте. Ну, к примеру, в поэтическом клубе «Бауэри» – заказать пиво и слушать неторопливый джазовый наигрыш трех неизвестно откуда взявшихся музыкантов, которые именно сегодня лабают здесь, и именно здесь самый лучший джаз. Почему? Да потому, что здесь ты – а как же иначе?

В полуосвещенном кафе – трое джазистов, которых, кажется, никто не слушает. А может, это безразличие кажущееся, а за ним – скрывается особый интерес и особое наслаждение… Саксофон, контрабас и ударные тянут свою пронзительную и журчащую мелодию… Чувствуется – джазисты классные. Может, и не самые крутые, но классные. По крайней мере, профессионалы. Тот, который играет на саксофоне, кажется, лучше управляется с тромбоном. Он менял саксофон на тромбон, его распухшие до неприличия губы напоминали женскую вульву, а манипуляции с шейкой саксофона – фрагменты из порнофильмов. С каким-то сладострастием он выкручивал саксофон в руках, облизывая мундштук, как мороженое, красным слюнявым языком. Тромбон брызгал джазовой музыкой вместе со слюной. Тромбоно саксофонист атлетического телосложения в цветной сорочке навыпуск с расстегнутыми пуговицами, в черных очках, играл каждым мускулом своего ухоженного и тренированного тела. Он задавал тон и вел своих парней чащами джазовой классики, прибавляя что-то свое, что пришло ему в голову этой ночью. Его соло иногда напоминало хрипы раненого слона. Контрабас

поддерживал худой высокий музыкант. Казалось, этому парню тяжело даже держать инструмент, а не то что играть на нем. Прислушавшись, ухо сразу улавливало среди фигур высшего пилотажа саксофонотромбона басовые звуки контрабаса: *бу-пу-бу-пу-пу-пу-пу-бу*. Контрабас все норовил выскользнуть из его рук или придавить своим покрытым лаком тяжелым телом.

И хотя сегодня не Луи Армстронг прижимает к распухшим губам тромбон и мелодия слишком банальна, а слушатели больше заняты собой, чем мастерством исполнителя, ты все-таки выбрал самое подходящее место.

Иногда кажется, что джазисты – это собиратели ягод – малины, черники, ежевики. От густой сочности музыки их руки и лица вымазаны темным соком ягод. Они выдавливают черный липкий сок джаза.

И что с того, что ты не слышал Луи Армстронга и никогда не был в Гарлеме, и никогда не будешь в Новом Орлеане? (Хотя, возможно, в твоей памяти стрекочет лента кинопроектора, как попавшая в велосипедное колесо прищепка для белья, возвращающая тебя в твое детство, где ты весь обмазан малиновым соком – лицо, губы, руки.) Над тобой летают лесные пчелы и шмели, а ты никак не можешь насытиться этой вкуснотищей, как джазисты никак не насытятся звуками джаза, даже не оботрут пот. И ты еще не догадываешься, что собирать малину – это как слушать джаз.

Ты вообще еще ничего не знаешь о джазе, и он тебе сейчас не нужен. Он придет к тебе, когда, слушая музыку покрытого виноградинами пота джазмена, ты вспомнишь сладко-терпкий сок малины…

И что с того, что ты не любишь Луи Армстронга?

Relax, baby.

2007

Колесо обозрения

В нью-йоркском районе Кони-Айленд штормит нечасто, однако осенью 2006 года, после очередного урагана, которые принято называть женскими именами (хотя нежности в них мало, и они с разрушительной силой набрасываются на Флориду несколько раз в году), какая-то из штормовых феминисток добралась и до Нью-Йорка.

Всю ночь дул сильный ветер, и вдоль улиц летали остатки неубранного мусора: газеты, пластик. С утра полил дождь, и потоки воды заливали улицы и дома.

Я пришел на Кони-Айленд с единственной целью – поглядеть на океан и пляжи. По телевидению передавали, что штормит, и показывали, как огромные для этих мест волны серыми валами накатываются на берег. Наверное, только в это время и в такую погоду выпадает уникальная возможность увидеть Кони-Айленд без пляжников или просто отдыхающих, ибо какой ненормальный забредет сюда в такой шторм?

Доехав на метро до последней остановки перед океаном, я перешел улицу и площадку с аттракционами.

Хлестал дождь. Ветер менял направление, и зонт оказался бесполезным, так что, пройдя под этим шквальным ливнем несколько десятков метров, я промок до нитки. К тому же зонт постоянно вырывало из рук, а перед самым пляжем задул ветер такой силы, что спицы зонта просто выломало, и мне не оставалось ничего другого, как выбросить его в ближайший мусорный бак.

На берегу мокли чайки.

Они почему-то посерели, приобретя расцветку мокрого песка. А океан гремел валунами волн, они воинственно катились к берегу, с грохотом нападая на него, и откатывались назад, чтобы снова продолжить свой сизифов труд. На нескольких скамейках спали бомжи, укрывшись с головой спальными мешками. На них не действовали ни дождь, ни шторм, ни холод.

Вокруг было пустынно.

Когда поезд метро линии «Q» поворачивает в направлении Манхэттена со станции Кони-Айленд, на какое-то мгновение открывается интересная панорама: целый городок кони-айлендских аттракционов. Сумерки, опускаясь на Кони-Айленд, расцвечиваются огнями аттракционов: вращается колесо чудес, а с ним – огромное колесо жизни и развлечений.

Пол Мазурски снял фильм по роману Исаака Башевиса Зингера «Враги», действие которого разворачивается в 1949 году.

Именно тогда происходил великий исход из Европы в Америку тех, кто пережил Вторую мировую войну, ужас немецкой оккупации, советских освободителей, холокост, лагеря для перемещенных лиц.

Зингер описывает еврейский Кони-Айленд и еврейскую историю в Америке. Я читал его роман, как путеводитель по этим местам (с поправкой на несколько десятилетий, поскольку многое изменилось, многое перестроено, а некоторые здания и вовсе исчезли). Понятно, что аттракционы тоже изменились, но Мазурски, снимая здесь, на Кони-Айленд, свой фильм, в одном из эпизодов показывает это огромное колесо, под которым стоят двое: герой фильма Герман Бродер и его нынешняя жена Ядвига, спасшая ему жизнь.

Колесо, как пропеллер, мелькает огнями, методично перемалывая время и судьбы людей.

Не знаю, кто из американцев, но двое европейцев – Лорка в стихотворении «Сумерки на Кони-Айленд» и Зингер в романе «Враги» – зафиксировали это место соответственно в 1930-х и в 1940-х годах. У Лорки это – поэтическая аллюзия, а у Зингера – тщательно выписанная топография: там ходят по реальным улицам, живут в дешевых квартирах, сидят в кафе и просто живут герои его романа.

Зимой Кони-Айленд замирает. На все надевают чехлы, и закрываются разнообразные аттракционы. Всю зиму, до самой весны, отсвечивают металлическими ребрами колесо чудес и американские горки. Стихают музыка и радостные возгласы детей и взрослых. Пустеет деревянный прогулочный бульвар; лишь редкие одинокие фигуры пешеходов встречаются на нем. С океана приходят дождь, туман, резкий соленый ветер; закрываются кофейни и ресторанчики, которые летом расставляют на открытом воздухе свои столики и кресла. Все замирает, чтобы возродиться весной.

Кони-айлендский цикл жизни разделен на эти два периода.

Колесо чудес поскрипывает своими металлическими костями, раскачиваются кабины, ветер набирает силу – кутаешься в куртку и надвигаешь поглубже кепку с накладными клапанами.

Желтый пляжный песок почернел, одинокие чайки проносятся над пляжем или сидят на пустых скамейках и покрикивают.

Праздник закончился. Закрываются кабинки, опускаются металлические жалюзи, закрываются на замки решетки и двери. Еще можно пройтись между каруселями с лошадками, слонами, медведями и жирафами, на которых сидели дети и взрослые и где

еще несколько недель назад бурлила карнавальная жизнь.

Городок развлечений пустеет, все его покинули, и только один свидетель – океан – всегда рядом.

Всё.

Конец карнавалу.

Прибрежная линия светится огнями, какие-то корабли неспешно направляются в нью-йоркский порт, серое осеннее небо и серый океан переливаются друг в друга, словно сообщающиеся сосуды.

Летом, когда сезон аттракционов в самом разгаре, а поезда метро привозят все новых и новых любителей развлечений, пляжей и купаний в океане, когда отовсюду гремит музыка, из мегафонов звучат приглашения принять участие в розыгрыше призов, а в толпах бродят продавцы мороженого, шипят и дымят жаровни со всевозможными гамбургерами, кукурузой и прочими деликатесами, а на пляже лежат тысячи тел – все это наполнено гулом жизни со всевозможными запахами (вполне возможно, что сюда приехал бы Зюскинд), – но с приходом первых холодов все мгновенно меняется. Осенняя погода невидимой рукой срывает этот пейзаж и бросает, как пустую бутылку из-под кока-колы, в металлический мусорный бак на кони-айлендском пляже.

Перестроенная станция метро «Стилвел авеню» обклеена фотографиями из ее истории, а также городка аттракционов: здесь можно увидеть старинных посетителей из минувших эпох в старомодных одеждах, мужчин в шляпах, мороженое в вафельных стаканчиках, газированную воду, рекламных девушек 1940–1950-х годов в купальниках (в отличие от современных, они прикрывают бóльшую часть тела).

Конечно же этими кони-айлендскими улицами ходил Зингер (а потом, в 1949 году, – герой его романа «Враги» Герман Бродер), поскольку сам писатель жил там с 1935-го по 1940 год, до самого переезда в Манхэттен. Собственно, Зингер жил на Си Гейт (и тогда, и сегодня населенный преимущественно евреями).

Восточноевропейский Нью-Йорк или Бруклин представлен в литературе так, как его видели евреи, может, иногда поляки, но не украинцы (хотя и украинские писатели в свое время жили здесь – в Бруклине и в Манхэттене). Точнее сказать, случайные упоминания этих мест и их топография встречаются и в украинских текстах, но это не создает украинского Нью-Йорка.

Шаббат

В пятницу, когда сирена, пронзительно завывая, оповещает о приходе субботы (которая на иврите звучит «Шабба́т»), всякая жизнь в бруклинском районе Боро-парка практически останавливается: закрываются до воскресенья магазины на Тринадцатой авеню, весь район пустеет и замирает – не только хасиды, но и украинцы, поляки и мексиканцы, которые здесь работают, тоже вынуждены праздновать Шаббат. Правда, хасиды и гои (неевреи) празднуют по-разному.

Хасиды одеваются в черные шелковые халаты, белые чулки, на них талес, на головах круглые широкие меховые шапки – это мужчины; женщины – в праздничных париках и, как правило, в длинных темных платьях. Подростки и детвора – в черных штанах и белых рубашках. Девушки также в темных длинных платьях. На улицах, где живут приверженцы хасидизма, прохожие спешат, быстро обходя друг друга, – все идут в синагоги. Дома́ празднично убраны, в больших комнатах на столах – серебряные приборы, бокалы для вина, горят свечи. Согласно ритуалу, нельзя дотрагиваться до определенных предметов на протяжении всей субботы – поэтому все приготавливается заранее. Праздничную процедуру сопровождают молитвы и песни в синагогах, а потом – дома.

Гои празднуют по-другому: для них это – заслуженный выходной, во время которого можно расслабиться. Они образуют очереди в магазинах, закупая продукты на выходные. Владельцы алкогольных магазинов тоже довольны – лучших покупателей не найти. И все вместе – бородатые, пейсатые хасиды и гои – фланируют по одним и тем же полупустым улицам.

У каждого – свой праздник.

Это повторяется каждую субботу из года в год, столетиями…

Точно так же было несколько столетий назад в маленьких местечках Речи Посполитой, откуда хасиды перебрались в Америку.

Хасидов больше всего в Боро-парке, хотя их анклавы имеются и в других нью-йоркских районах – Вильямсбурге и Ривердейле. О принадлежности к различным ветвям хасидизма свидетельствует их одежда и прически: одни носят шляпы, костюмы и белые сорочки, другие, кроме всего, еще и полотняные плащи и талесы. В Боро-парке распущенные и раскрученные пейсы – разной длины, когда же хасиды выбираются в Манхэттен, то заправляют их за уши (видимо, чтобы не вызывать неодобрительных взглядов у гоев).

Синагоги и ешивы здесь на каждом шагу, и всегда можно

увидеть хасида с книжкой в руке – и на улице, и в вагоне метро – где угодно.

Общаются они на трех языках: английском, идише и иврите.

Путеводитель Зингера «День на Кони-Айленде»

В фильме Пола Мазурски «Враги: история любви» Кони-Айленд показан как топос западно-европейскости. Волны Атлантического океана – как волны океана, любовь – как любовь, секс – как секс, только все это пронизано острым зингеровским ощущением изгнанника. Имя ему – Герман Бродер, который воплощает разнообразные превращения пережившего холокост еврея, человека, чья жизнь надломлена событиями Второй мировой войны.

На протяжении 1935–1942 годов Зингер жил в Кони-Айленде. Лучшего экскурсовода, чем Зингер, не может быть еще и потому, что первое место проживания в Америке запоминается на всю жизнь…

В Нью-Йорке 30-х годов у Зингера, писавшего на идиш, была неплохая перспектива. Во-первых, около трех миллионов говорящих на идиш проживали именно в Нью-Йорке, во-вторых, культурная жизнь здесь была значительно разнообразней, чем где бы то ни было, в-третьих, пишущий на идиш переездом в Америку просто спас себе жизнь.

Но сначала в Америке и у Зингера не все складывалось. Не то чтобы все валилось из рук, но он осознавал, что, уехав из Польши, он расстался не только со знакомыми варшавскими улочками и кафе, но и с чем-то таким, что невозможно объяснить даже себе, не то что другим. Для него, польского еврея, сам воздух Варшавы или Люблина, сосны, местечки на всей территории Восточной Европы, которые со временем превратятся в гетто, стали тягучей памятью, а единственной улицей, которую он хорошо знал и помнил, была улица Крахмальная в Варшаве.

Вначале Нью-Йорк разочаровал и напугал Зингера, показался ему монстром, еще более ужасным, чем мифологические персонажи, вынесенные из хасидского фольклора его детства.

Позади – варшавские улицы и клуб писателей, оставленная родина, впереди – ничего. Впереди не было *ничего*, но были: Кони-Айленд, океан, еврейские переселенцы, синагоги, кафетерии. Особенно кафетерии. Они служили Зингеру и рабочим кабинетом, и местом встречи с жизненными историями своих персонажей.

В Нью-Йорк Исаака вызвал его преуспевающий старший брат, писатель Йошуа Зингер. Возможно, у него было предчувствие будущей катастрофы. Йошуа умер в 1944 году, что означало для Исаака утрату поддержки и утрату авторитета, хотя братья

Зингеры были не единственными писателями на своей родине, ибо их сестра тоже писала (она издала два романа, но так и не добилась ощутимой славы).

На протяжении почти двух десятилетий Зингер перебивается в Америке заработками писательского и журналистского труда, печатая свои прозаические произведения на идиш в еврейских газетах, которых со временем становилось все меньше, так как последующие поколения еврейских эмигрантов переходили на английский язык.

Путеводитель по Кони-Айленду можно прочесть в Интернете или купить в любом киоске, где продается печатная продукция о городе. История Кони-Айленда с начала века прослеживается на фотографиях, которые выставлены на станции метро.

Зингер жил на улице Си-Гейт, где снимал за 16 долларов комнату, причем в оплату входил и завтрак. Цены в кафетериях в его время, то есть в 30-е годы, были смешными: за 60 центов можно было пообедать.

В его «Днях на Кони-Айленде» мы застаем Зингера квартирантом миссис Бергер, разочарованным не только своими неудачами в получении постоянной визы (он приехал в Америку на полгода), не только существованием почти впроголодь – он мог рассчитывать только на гонорары за свои произведения, которые печатала газета «Форвард». Его беспокоит и другое: в еврейской среде разгораются разнообразные и часто противоположные по взглядам политические дискуссии. Коммунисты, социалисты, анархисты, троцкисты, сионисты (далеко от Европы, в Америке), отождествляющие себя с тем или иным направлением, восхваляющие то Сталина, то Троцкого, одолевают Исаака своей энергией и политическими пристрастиями.

Зингер остается восточноевропейским евреем, с традиционным воспитанием и религиозным мировосприятием, а его пристрастие к истории на пограничье реального и мифологического становится его профессией.

Другим пристрастием Исаака Зингера были женщины. Сперва – его неудачный брак с Руней, которая кипела энергией и жаждой политической борьбы (в противоположность спокойному и по-спинозовски мудрому Исааку). Ее несколько раз арестовывали еще в Польше. В итоге она уедет в Советскую Россию, а после – в Палестину. После того как они в последний раз виделись в Варшаве в 1935 году, Исаак и Руня никогда больше не встречались, хотя их сын Замир навещал отца в Нью-Йорке, а также сопровождал его во время нобелевской поездки в Швецию.

В Нью-Йорке до сих пор живут женщины, утверждающие, что

у них были романтические отношения с Зингером. Да и сам Зингер особо ничего не скрывал. Его второй брак с Альмой Вассерман, которая ради него оставила двоих детей и свою довольно обеспеченную жизнь, только подтверждает догадку о том, что этот голубоглазый, облысевший к тридцати годам человек обладал своеобразным магнетизмом, на который, как бабочки на огонь, слетались женщины. Зингер платил им тем, что почти в каждом его романе присутствует любовный треугольник.

Существенным элементом маргинальности, глухим углом, в котором мог оказаться Зингер, был язык, и языком этим был идиш. Идиш он безусловно знал досконально. Знал он и польский (но не писал на нем, как, например, Бруно Шульц). Возможно, он мог спокойно писать и на немецком (как Томас Манн, Йозеф Рот или Поль Целан), но этого не случилось. Он не писал и на иврите, хотя некоторые письма к сыну, который жил в Израиле, написаны именно на этом языке. Об английском – молчу, ибо все биографы Зингера упоминают, что по-английски он до конца жизни говорил так, как будто только что прибыл из Польши.

Оставался идиш, который после войны стал мертвым языком испепеленного народа. Осознавал ли это Зингер? Думаю, что да. Он даже пытался убедить израильские власти в том, что идиш был несправедливо исключен из активного употребления в израильском обществе. В Нобелевской лекции 1978 года писатель назвал идиш «языком изгнания – без земли, без границ, без какой-либо помощи властей, языком, в котором нет слов, обозначающих оружие, амуницию, военную муштру и военную тактику». Нетрудно догадаться, что он имел в виду…

Нью-Йорк Зингера всегда имеет конкретную привязанность, что проистекает не только из географии или хронологии. Этот город у него имеет важную особенность: он – еврейский. Такое же чувство не покидало меня, когда я читал Шмуэля Агнона, у которого Бучач также представляется исключительно еврейским поселением.

У Зингера не так уж и много написано о Нью-Йорке: он присутствует в романе «Враги» и «Тени Гудзона». Другими словами, Нью-Йорк как таковой не был его темой. В этих романах действие происходит в Нью-Йорке, но это – город эмигранта, чужака, совсем не такой, как, скажем, у Сола Беллоу.

С Зингером не все так просто. Например, религиозные радикалы не воспринимают его творчество. Ходят легенды о его скупости, скандальном характере и пр.

Выбирая как-то новую оправу для очков в бруклинской оптике «Минцтер», я перекинулся словом-другим с продавцом, который, прочитав мою фамилию на рецепте, спросил, знаю ли я

Дрогобыч. Я ответил, что знаю, и, чтобы продемонстрировать свои по-настоящему глубокие познания об этом городе, в котором я никогда не бывал, сказал: «Бруно Шульц». Это должно было подействовать как пароль. «Шульц, Шульц», – задумчиво повторил рыжеватый хасид, а потом сказал, что из Дрогобыча его мать, и несколько лет тому назад он побывал в этом городе. Более всего его поразило то, что мясо продавали прямо на улице, разложив куски на газетах. Я ответил, что, возможно, теперь все по-другому. Чтобы как-то продолжить разговор (мои стекла к оправе только начали обтачивать), я спросил его об Исааке Башевице Зингере и объяснил это тем, что как раз пишу про него эссе. «Его дед и отец были раввинами и религиозными евреями, – эмоционально сказал мой собеседник. – Исаак пошел не тем путем». На мои возражения, что Зингер – хороший писатель, которого знает мир, он только усмехнулся и повернулся к другому клиенту, показывая, что разговор со мной его больше не интересует.

* * *

Выбирая место действия для героев своей пьесы, я не случайно остановился именно на Кони-Айленде. Во-первых, такое контрастное единение карнавала жизни и карнавала аттракционов просто трудно найти; во-вторых, эти двух- и трехэтажные дома, воплощение незатейливой архитектурной мысли столетней давности, сохраняют особую привлекательность.

Для моего Вани Сумского (в этом случае не имеет существенного значения, является ли Сумской фамилией или прозвищем; пусть он будет сумской, или черниговский, или полтавский) главное, что он Ваня и место его жительства – весь Кони-Айленд. Повсюду и нигде. У него есть излюбленный «Макдональдс», где он, открывая двери, зарабатывает себе на хлеб насущный, точнее на бутылку. Поскольку в Америке можно купить бутылку водки за десять долларов, то вполне вероятно, что Ваня таким промыслом обеспечивал себе достаточно пристойную для себя жизнь. Ну бог с ним, с Ваней, он, считай, дно общества, совковый элемент новых эмигрантов, хотя таких «вань» можно встретить не только на Кони-Айленде: целые группы поляков, разрушенных алкоголем и постоянным пребыванием на улице под дождем и под снегом, посиневшие и физически истощенные, сидят на детских площадках и обходятся в общении несколькими словами. Почему-то думается, что не только пристрастие к питию вытолкнуло их на обочину жизни. У

каждого – свой путь и своя история. Как и у них, история Вани Сумского спрятана, ибо у него нет ни прошлого, ни будущего.

Кто-то катается на колесе обозрения, а по кому-то и оно катается. Этот металлический круг с тысячью лампочек, раскрашенных во все цвета радуги, которые мигают, освещая (точнее, вырывая из темноты) лица: то Зингера, то Германа Бродера, то Вани Сумского…

У каждого – своя история, связанная с Кони-Айлендом и Америкой.

С утра, когда на Кони-Айленде аттракционы еще не работают и бомжи спят в спальных мешках с обязательной металлической тележкой для продуктов неподалеку, украденной из близлежащего супермаркета, бруклинские чайки усаживаются на пляжный песок или кружатся над океаном, зависая на легких потоках воздуха, как планеры. Со временем, когда толпа хаотически заполняет пляж, городок аттракционов и места для прогулок, бомжи с непонятной периодичностью возникают в толпе, толкая перед собой тележку со всякой ерундой. Эта тележка занимает в жизни Вани Сумского почти мифическое место. Она – не только место хранения пожитков, не только наилучший способ передвижения по городским улицам или обустройства жизни под мостами и в парках; это верный друг, который не покинет, не предаст, ничего не отберет, не подведет, которого можно любить, о котором можно заботиться, с которым можно поговорить.

Почему-то бомжей и пьяниц, как и чаек, притягивает Кони-Айленд – может, простором и относительной свободой, возможностью покинуть каменный лес города и остановиться перед океаном, прислушаться к гулкому шуму волн, подставляя лицо ветру, провожая и встречая корабли…

* * *

Во время проливного дождя, принесенного ураганом, я тоже стоял на деревянном настиле и не мог оторвать взгляд от нервного океана, который набрасывался на берега, словно метил свою новую территорию, никому не собираясь ее отдавать.

2008

Колумбийская зима

Герман Гвера (по-нашему – Герман Война), горный инженер, улыбается и говорит мне, что Колумбии, которую придумал Маркес, не существует.

Фамилия молодого инженера, ясное дело, испанская, хотя среди его предков были не только конкистадоры: прабабушка Германа – местная индианка, и, должно быть, единственное, что она дала ему в наследство, – это более темный пигмент кожи и глаза цвета хорошо прожаренного кофе. Все остальное – испанское, от фамилии до темперамента. Его предки прибыли, вероятно, из Эстремадуры несколько поколений тому назад, то есть Германово колумбийское время измеряется тремя или четырьмя сотнями лет.

К площади Ботеро ведут узкие улочки, по которым едва пропихиваются такси лимонного цвета, словно кто-то ненароком зацепил уличного торговца лимонами и они покатились из его деревянной коробки врассыпную. Шальные мотоциклисты дерзко прошмыгивают между машинами, не оставляя никакого шанса ни себе, ни прохожим.

Идет дождь, он низвергается по улицам к выбоинам в канализационных решетках, собираясь в грязную пену. Зима в Колумбию приходит с дождями, две ладони гор зажали Меделин в ложбину, центральная улица расползается множеством боковых. Ночью, когда тьма глотает красный кирпич домов, которыми, словно кустарником, поросли оба склона, свет от уличных фонарей и из окон напоминает дырявую крышу какой-то заброшенной хибары, сквозь которую просеивается звездное небо. Это сияющее ожерелье Меделин каждую ночь дарит женщинам и девушкам, оно сияет серебром и лимоном, манго и папайей вместе с мутным серпом меделинской луны.

На площади Ботеро дождь прекращается, но небо все еще затянуто грязным полотнищем облаков, и по чернобронзовым статуям стекают последние капли утреннего дождя. Появляются торговцы медальончиками, пончо, сомбреро, браслетиками, а также самым ходовым товаром – символикой картин и скульптур Ботеро.

Герман время от времени отбивается от худых подростков, которые просят несколько песо, жалостливо скуля, сопровождают пешехода почетным караулом. Ночью они – короли своих улиц и кварталов, и если подвернется случай, то обчистят тебя, не спрашивая фамилии. Стайками, словно уличные собаки, кружат свои ночные смены, прячась от полиции и света, курят, обсуждая

свои планы. Эта уличная голытьба, объясняет Герман, не меньшая проблема, чем наркокартели и коммунистические партизанские отряды в Андах. Город пропах дождями и принесенной с гор прохладой вместе с криками птиц, тучностью размокшей почвы, густым ароматом цветов, спелых овощей и свежего коровьего навоза. Вечером к загазованному машинами и мотоциклами воздуху добавляется черный запах тинто и сладкая головокружительность марихуаны.

На площади Ботеро искусство выплеснулось на улицы. Колумбийцы совсем не похожи на толстяков, наоборот, они жилистые и мускулистые. Колумбийский этнический коктейль из испанцев, африканцев, индейцев заполонил эту страну мулатами и метисами и особенной женской красотой, которая расплывается едва уловимыми чертами широкого африканского рта с пухлыми губами и рядом белых зубов, или индейскими намеками в разрезе глаз, по-особенному заломленных уголков и линий губ, или приплюснутым до верхней губы кончиком носа. Они энергичные, наэлектризованные, их горячая кровь стынет в черных больших глазах, они азартные, и достаточно вспышки ритмичного танца сальсы или ча-ча-ча, чтобы привести к нервным подрагиваниям ягодиц и бедер, к демонстрации сексуальности в танце. Фигуры Ботеро – сонные, со складками жира на лицах и животах – контрастируют с колумбийской музыкой и колумбийцами, – это тоже Колумбия, которую придумал Ботеро, магический реализм живописи и скульптуры.

La muerte y el amor с нажимом на «р» – возможно, этими двумя испанскими словами можно описать всю историю Колумбии. Гражданские войны, левые партизаны, криминал и наркокартели наполнили *la muerte* содержанием, в котором кровь и выстрелы становятся привычными, как хлеб и жизнь, как трубки и тромбоны в колумбийской музыке, пахнущей женским потом под гладкими подмышками. В Ботеро толстяк Пабло Эскобар останавливает своим телом тысячи пуль, летящих в него, словно пчелы, чтобы ужалить, и тело истекает кровью. Пабло, покачнувшись, в ослабевшей руке сжимая пистолет, стоит босиком на крыше из красной черепицы в бедняцком квартале Меделина. Одна пуля, выпущенная снайпером, продырявила лоб, на этом полотне Пабло Эскобар похож на медведя в цирке. Эта живописная смерть короля кокаина – такая же реальность для Меделина, как и его зимние дожди. С идеей справедливости, которую он позаимствовал из рассказов колумбийских бедняков о том, как *bandidos* – младшие братья украинских опришков – чистили карманы богачей и делились с бедными, Пабло со временем превратился в одного из самых состоятельных

колумбийцев, подмяв под себя весь наркобизнес. В течение длительного времени он строил дома, дороги, помогал нуждающимся, даже вошел в состав парламента и попробовал свои силы в президентской гонке. Некоторые политики старались откреститься от Эскобара, зная происхождение его денег, поэтому его подрывали, подкупали, запугивали. Колумбия превратилась в место кровавой резни, дошло до того, что Эскобар заказал левых партизан, которые захватили Дворец правосудия, и война выплеснулась на улицы Боготы. Эскобар торговался с руководством страны, разными способами покупал себе право не быть высланным в США, чье правительство требовало этого от колумбийцев. Игра со смертью и в смерть превратила Эскобара в мишень, спецподразделения подстерегали его, как загнанного зверя, он находился в бегах. По телефону с семьей он мог разговаривать не больше двух минут (это было время, за которое его не могли зафиксировать). Но 2 декабря 1993 года Пабло Эскобар почему-то говорил по телефону почти 5 минут. Эти минуты стоили ему жизни. Эскобара выследили и убили. Он стал такой же легендой, как герои романов Маркеса и полотна Ботеро. Он тот, кого до сих пор половина Колумбии ненавидит, а вторая половина обожествляет.

Пабло Эскобар рос в местечке Энвигадо (это полчаса езды на машине от центра Меделина на юг). Меделин он сделал своей столицей, оставив для Энвигадо роль скромной заводи для тихой семейной жизни в имении с дорогими лимузинами, катерами, бассейнами и зоопарком. После его смерти дома и бассейны пришли в упадок, подожженные машины заржавели, по зоопарку бродят гиппопотамы и жирафы.

Тот, кто обязывался выплатить все внешние долги Колумбии в обмен на легальное выращивание коки, погиб не в бассейне своего поместья, всплыв на поверхность дохлой рыбой, или в кабине бронированного лимузина, развороченного взрывом, а на крыше из красной черепицы на одной из окраин меделинской бедноты. И этим хоть частично подтвердил юношеские мечты о социальной справедливости, а остальным – логику своей смерти.

Герман говорит, что в горах идет война.

Но где эти горы и в какой части Колумбии? Очевидно, что Герман знает об этом, но мне, иностранцу, не сообщает. Война и в самом деле не оставляла Колумбию с тех пор, как латиноамериканским странам подбросили идею сопротивления молодые бородачи с Кубы, а крестьяне, организовываясь в партизанские отряды, со временем подпали под влияние левых лидеров, и революционные вооруженные силы Колумбии – Армия

народа, руководствуясь учением Маркса, Ленина и Боливара, стала учинять вооруженные нападения, террористические акции и захват заложников.

Герман говорит, что это где-то на юге, в джунглях.

Петляя в течение четырех часов по дороге к городу Хардину, находящемуся в горах, водитель нашего джипа совсем не обращал внимания на дорожные знаки, которые каждый раз предписывали ему придерживаться скорости не более 30 км в час. Нас швыряло на задних сиденьях, но мы терпели.

Водитель выжимал все 100 километров, притормаживая лишь на очень крутых поворотах или же на скальных разломах, где заканчивался асфальт. Он напевал песню, которую ловил его приемник.

На склонах Анд паслись коровы, черные и белые, высоко вверху, где не видно было никаких построек, и непонятно было, как пастухи добираются до своего стада. Виднелись поросшие густой растительностью поля, несколько мужчин (похоже, индейцы) расчищали их своими мачете. Горные реки бурлили коричневой водой, очевидно, вчера тут прошел ливень.

Над рекой – деревянные хибары, местные женщины, по колено в воде, развешивают белье, собаки бегут за машиной, копошатся куры.

Горные оползни из камней и земли часто заваливают дороги, и приходится ждать, пока дорожные службы расчистят путь. Иногда у моста – полицейский пост. Почему-то вспомнился эпизод из романа Варгаса Льосы. Перуанец – в его стране тоже хватает левых партизан – описывает не джип, а местный автобус, который ночью ползет через перевалы, возможно, по такой же крутой горной дороге. Он везет местных крестьян и молодую французскую пару – студентов, приехавших в Перу изучать древнюю культуру инков или что-то подобное. То ли им не хватило денег на самолет, то ли молодой человек, кажется, убедил свою подружку, что такое путешествие более романтично и так они лучше узнают страну и ее жителей. Где-то посреди пути автобус останавливают партизаны – борцы с империализмом, а поскольку документы несчастных французов подтверждали, что они таки французы, то автобус после вынужденной остановки поехал дальше уже без них – их просто расстреляли молодые приверженцы коммунизма.

В Хардине водитель джипа, счастливо довезя нас до места назначения, наконец включил свою мобилку, так как в горах она не всегда соединяла его с теми, кому он хотел дозвониться, – и сплошной поток испанских слов возвестил, что мы, очевидно, уже

в городе. Из огромного костела на центральной площади выходили после воскресной мессы мужчины в праздничных пончо и белых шляпах, женщины в платьях и юбках с индейским орнаментом. Повсюду открыты кофейни, столики и стулья занимают узкие тротуары и даже часть улицы. Хардин – город сплошных стен, они тянутся кварталами, раскрашенные то синими, то зелеными красками, размежевывая кафе, магазинчики и жилища.

После выступления в Casa de la Cultura директриса с подружкой, ни слова не знающие по-английски, любезно пригласили нас с Полом Дакейо, франкоязычным поэтом из Камеруна, на кофе. Колумбийский поэт Дарио Харамило Агудело, который тоже выступал с нами, сразу возвращался в Меделин, так как утренним рейсом вылетал в Боготу. Мы оставались в Хардине, город уже придавила густая тьма и обволокла мягкая прохлада. Вскоре появилась Пилар с сыном. Пилар, которая немного знала английский, спасла нас, нарушив наше молчание, поскольку директриса только улыбалась и обращалась к своей подруге, наверное спрашивая: «Почему они не говорят по-испански?». Сын Пилар тоже не говорил по-английски, а только прихлебывал кофе, пеной оседавший на его усах и бороде (почему-то он смахивал на партизана, и не только потому, что из-под его полувоенной рубашки выглядывал портрет Че Гевары, – юнец с пронзительным взглядом вполне мог быть команданте).

Мы пили кофе и смотрели друг на друга – колумбийцы и gringo, – и у каждого из нас в этом ночном городе были свои тревоги и свои мысли.

С утра кричали птицы и впотьмах срывались с деревьев.

По зеленой подстриженной траве бегали цесарки. Ржали в стойле кони, вдали белели два готических шпиля костела, коровы паслись среди густой зелени Анд. Мандариновое дерево, росшее тут, в гостиничном садике, просвечивало янтарной кожицей своих плодов. В этом забытом Богом закутке гостиница с бассейном и футбольным полем, коровами, утренними птицами казалась смесью яви и сна.

Меделин воспринимается как возвращение, даже если ты выехал из этого города лишь на несколько дней (это возвращение не твое в Меделин, а города – к тебе). После горных дорог меделинские улицы с сотнями мотоциклистов, попрошайками, банками, с вооруженной охраной, музеями, бульварами с магазинами и зимними дождями воспринимаются как нечто родное, но временно утраченное.

Черный кофе «тинто» с горьковатым привкусом, который

колумбийцы пьют каждый день, выливается запахами на улицу вслед за дождем, – даже он не в состоянии растворить в себе этот аромат.

Герман знает одно кафе, в котором, говорит он, готовят лучший кофе в этом городе. Оказалось, это совсем рядом с местами, где мы почти каждый день бродили, встречая нескольких постоянных клиентов. Один из них наматывал кружок теста на свою руку и довольно ловко его перебрасывал, словно месил в воздухе. Другой – местный попрошайка, стучал чем-то и этой музыкой кормил прохожих, словно голубей хлебом и семечками. Третий – торговец часами и зонтами – терпеливо ожидал дождя и покупателей. Остальные – продавцы сувениров, клерки – прогуливались в обеденное время в белых рубашках и галстуках, а молодые девушки – в униформах своих магазинов. Тут же грязные подростки в шортах, неизвестно откуда взявшиеся, идя за тобой, тянули свою унылую сирот-скую песню-просьбу.

Параллельная улица была более оживленной, с большим количеством магазинов и кафе, пальмами и металлическими фонарями. Она напоминала стометровку относительного благополучия, и Герман безошибочно вывел нас на нужную кофейню. Он вел нас на запах, на эти несколько минут кофеманного кайфа, этой вкусовой какофонии: первый глоток, остающийся коричневым налетом на зубах, затем горечь, прибывающая со слюной.

Герман смеется над тупыми иностранцами, которые, начитавшись Маркеса, толпами повалили в Колумбию искать «сто лет одиночества», отставных полковников, город Макондо, ну и еще всякую фигню, почерпнутую со страниц в полупустых залах университетских библиотек. Каждый раз, приближаясь к концу романа, они впадали в эйфорию, как пилот при фигуре высшего пилотажа (представляя Колумбию по Маркесу). А приехав в эту страну, новейшие конкистадоры из текстов наталкивались на нечто совсем иное, и это становилось их разочарованием. Коротенький рассказ Маркеса «Море исчезающих времен» никак не объяснит вам, куда эти времена исчезли: растворились ли они в море, пахнущем розами, или в поселке, покидаемом его жителями. Не объяснит целесообразности путешествия Тобиаса с Эрбертом, которые плавают среди затопленных селений, людей, цветов и чувствуют аромат роз там, под водой, в морских глубинах, почти недоступных простым смертным. Что это – сон или реальность? И когда Тобиас попытается в очередной раз рассказать о подводных путешествиях своей Клотильде, она его в

который раз обругает. Времена исчезают не только в рассказах – они исчезают с поверхности гор и ложбин, из памяти людей, из запахов кофеен, ночных улиц со стаями подростковых bandidos. Они исчезают, чтобы вернуться в других формах, других людях, скрытые, словно страстные желания в минуту зажигательных колумбийских танцев, когда тела, прижимаясь, жалит крапива сладострастия. Они возвращаются, не распознанные и не понятые – может, строкой из рассказа Маркеса, а может, Меделином.

Некоторые, начитавшись Маркеса, прилетают в Латинскую Америку пополнить партизанские отряды – Лори Беренсон в Перу, Таня Ниймеер в Колумбию. Эти младшие сестры Че Гевары, кроме романтики партизанской войны и рисков, с ней непосредственно связанных, чувствуют разочарование, приходящее со временем. Американка Лори, отсидев срок в перуанской тюрьме, не устала провозглашать призывы к радикальным методам борьбы с империализмом. А датчанка Таня в своем дневнике, случайно найденном во время операции правительственных войск против партизан, иронизируя, спрашивает: когда повстанцы захватят власть, жены и подруги команданте тоже «будут делать косметические операции груди и есть икру»?

Но если времена, которых они ожидают, о которых мечтают и которые приближают каждым выстрелом из своего «калашникова», придут, а на стол будут подавать икру, то не будет ли это наибольшим разочарованием? Ведь икры снова на всех не хватит, а лозунги о справедливости и равенстве будут циркулировать только в ближайшем окружении, так как с несогласными они поступят по-революционному.

А пока что герилья продолжается, и это подтверждает Герман, и не только своей фамилией.

Зима с дождями, пальмами и птицами, проза Маркеса, скульптуры Ботеро, криминальные новостные сообщения телеканалов, полыхание кокаиновых плантаций, мешки с колумбийским кофе в порту на экспорт, изнурительные марши партизанских отрядов в горных джунглях, музыка и танцы, католическая передача о пастыре в бедном горном селении, придорожные угольные шахты, наконец поэзия, которой мы переполнили Меделин, – все воспринимается, словно привычные ежедневные потребности, почти физиологические, – как есть и пить, дышать и заниматься любовью, смотреть на мир и распознавать время.

А может, это ты хочешь видеть Колумбию именно такой, поддавшись маркесовскому методу смешивания реальности со сном, как вина с водой, вернее, превратив воду повседневности в вино искусства? Возможно, хотя непреложным фактом остается то, что среди этих городов, поселков, шахт, театров, парков, современных стеклянных небоскребов на юге Меделина, телевидения, мотоциклистов, коров и лошадей, плодов и птиц, мачо и мучачо, плетется индейская история. Она, словно жгут, связывает колумбийскую наэлектризованность, грустными зелеными и коричневыми глазами приценивается к современной жизни и, должно быть, тоже распознает время.

Я видел, как внешне спокойные колумбийцы меняются, когда, например, зазвучат первые ритмы оркестра. Гитары, саксофоны, тромбоны и трубы знают, когда и как плеснуть масла в огонь. И когда тромбоны, словно грифы, срываются с широких деревьев, а за ними выгибают свои шеи белые лебеди саксофонов и выбивает свой четкий ритм на ударных шоколадный мулат, а солист с трубой запрокидывает ее в рот, словно пластиковую бутылку с минеральной водой, – тогда и наступает время свободы. Музыка стекает по гибким женским бедрам и ногам, ритм выламывает их тела, выпрямляет, заставляет содрогаться, чувственно соблазнять партнера окунуться в наслаждения, радоваться жизни, молодости, телесной привлекательности, подчиняться музыке и подчинять себе музыку. Кажется, что вся Колумбия вот так, пританцовывая, гордо и непринужденно, в ритмах сальсы, кумбии, поро, валенато, с выверенной точностью движений минует эпохи своей истории с улыбкой на устах.

Почему поэзия выбрала Колумбию, и почему этот дождь выбрал поэзию?

Почему эти сотни тысяч пар глаз и ушей, на бетонированных ступеньках амфитеатра, в глубокой яме, в полиэтиленовых накидках и под укрытием зонтов, не покидают поэтов в этот зимний ливень? Из солидарности, жалости, любви, привычки – просто не знают, где убить время, не знают, куда пойти? Что они хотят от нас услышать, и чего еще не слышала эта джинсово-мотоциклетная молодежь, эти сорокалетне-пятидесятилетние мачо и мухерас с желтыми и коричневыми листами ладоней, аплодирующие после каждого стихотворения каждому поэту? Чего они еще не знают о любви и смерти? И что мы можем им об этом сказать?

Ливень начался после первых же выступлений. Телевизионщики поспешно стали сматывать свои кабели и

зачехлять камеры. Оркестр тоже поспешно покинул сцену. Остались только сто поэтов, несколько тысяч слушателей и ливень. Поэты читали, слушатели внимали, ливень перешел в затяжной дождь – это действо напоминало бой быков. Поэт выходил, и тысячи слушателей по-своему реагировали на его стихи.

Когда их что-то цепляло, они хлопали узкими ладонями, кричали, топали ногами, иногда взрывались смехом, порой что-то выкрикивали.

Ты стоишь перед микрофоном под потоками направленного на тебя света, большой экран увеличивает не только твое лицо и мимику, но, казалось, и слова, с которыми ты обращаешься к публике, загоняя свой голос в микрофонный шнур.

Потом ловцы автографов дергали тебя со всех сторон:

«сеньор, поставьте автограф», тыча то антологию, то какие-то листки из блокнота, то тетради, то салфетки, то свои ладони.

В течение пяти часов поэты читали стихи, в течение пяти часов лил дождь, а публика слушала стихи.

Поэзия под дождем – в исполнении колумбийской зимы…

Герман говорит, что время, потраченное на поэзию, продлевает жизнь.

Возможно, он сам придумал эту фразу. Это как поцелуй продлевает любовь, бег продлевает дорогу, море продлевает время, слова продлевают смерть.

Герман мечтает о своей будущей жизни в России или же в Европе, о новой «ниве» (этот российский джип-вездеход он планирует купить, как только насобирает денег). «Я люблю эту страну», – говорит он, и мне трудно в это не поверить, Герман действительно ее любит, должно быть, так же, как свою Марлени.

По моей просьбе Герман узнал, сколько стоит «финкас» (по-нашему – ферма), которую советует мне приобрести вместе с двадцатью коровами и несколькими лошадьми.

Ну, добавляет Герман, еще нужны служанки и слуги. Но ведь молоко и мясо, по его подсчетам, принесут определенную прибыль, так что можно будет наслаждаться жизнью и писать стихи. А каждую субботу ждать своего друга Германа в гости, среди посаженных деревьев со сладкими плодами цветов под мычание коровьего оркестра, объезжая свои владения на гнедом коне с белыми латками, с мачете на боку, в шерстяном пончо.

А вот и Герман – сигналит мне из своей «нивы»…

2010

Сверчки и горлицы

В феврале 2015 года в Иерусалиме выпал снег.

Возле Дамасских ворот стоял хасид в черной шляпе и калошах, обутых на ботинки. Облепленный мокрым снегом, он был похож на мельника, запорошенного мукой. Можно ли было вообразить себе, что золотой, залитый солнцем вечный город когда-нибудь укроет снег?

Должно быть, снег присыпал и сизые крылья горлиц, сидящих на крышах домов и в простенках Старого города. Горлицы были облеплены снегом, словно сладкие булочки в кондитерских лавках, щедро посыпанные сахарной пудрой.

И я подумал, что в Иерусалим снег все-таки приходит чаще, чем Мессия.

Как странно выглядят заснеженные оливковые деревья в Гефсиманском саду! Как непривычно смотреть на заснеженные рельсы иерусалимских трамваев. Больше всех радуются этому снегу дети. Они почему-то везде радуются снегу. Я стараюсь припомнить улицы Иерусалима, их названия, кварталы, чтобы представить, какие они теперь. Но я помню, что, стоя на стене, с которой открывается панорама на Масличную гору и Гефсиманский сад с Церковью всех наций, я смотрел на белые камни домов и могил, сливавшиеся в сплошное сусальное золото, казалось, полностью покрывшее эту землю. Я видел, как за Кедронской долиной, в арабской части города, дети с псом бежали по каменной дорожке в глубь селения. Они и теперь, должно быть, бегут по этой дорожке, но уже по снегу. Дорожка та же, и дети те же.

Самая большая тайна Вечного города – это его дух и запах. Запах белого хлеба из пекарен, пирожных с корицей, сластей, пряной селедки, базаров. А дух его – в словах о старозаветных царях, пророках, каббалистах, новозаветных апостолах – во всем, что перед твоими глазами, и всем, что сокрыто от твоих глаз.

Йоханан говорит, что в другой жизни он хочет быть сверчком и жить в иерусалимской пекарне. Мы едем в Хайфу вместе с солдатами израильской армии, возвращающимися в свои части. Солдаты с автоматами, в зеленой форме, с рюкзаками, набитыми всевозможными вещами. В вагоне гражданские и военные – поровну. Йоханан рассказывает, как он запоминал Иерусалим по запахам, и говорит, что запах хлеба из пекарен в его памяти – самый ранний и всегда возбуждает. Я спрашиваю: «Почему сверчком?» – «Ну что ж тут странного? – рассуждает Йоханан. – Ведь сверчку можно надышаться хлебом и утолить голод».

Подъехав к Хайфе, выходим на станции городских пляжей, где нас подбирает машина. Поезд с солдатами отправился дальше на север. Мы вышли на перроне и пошли на пляж посмотреть на волны Средиземного моря: они, возбужденные предвечерним ветром, затихали на пляжном песке. Было тепло. Тот, кто должен был забрать нас отсюда, наконец-то дозвонился нам.

У торговца я выбрал ангела со скрытым лицом. То есть у него вообще нет лица – это я так сказал, со скрытым. Вытесанный стамеской из ливанского кедра крепкой породы, с округлыми крыльями и серыми поясками, которые отходят от сучков, попадающихся в древесине, – незатертые следы веток. Ангел спрятался в кармане моего летнего пиджака, и с ним я пошел по исшарканным камням узеньких улочек. Почти на каждой тебя сопровождают торговые ряды, шумные продавцы. Но есть и тихие улочки, наполненные особенным смыслом и содержанием. Скрытые от туристов, следующих за своим пастухом-экскурсоводом с белым зонтиком или палкой в руках, которую он поднимает высоко над головой, чтобы его стадо не потерялось.

Мы с Йохананом вышли по узкому проходу и оказались перед железной калиткой в сплошной стене. Что там, за этой калиткой? Трудно догадаться. Калитка не была заперта; среди шелковиц – небольшие мазанки, во дворе умывальник, людей нет. На крыше Храма Господнего поодаль монастырь коптов. Никто из туристов не заглядывает сюда, просто не знает об этом, да и войти внутрь коптского поселения не так-то просто.

Во дворике было пусто. Солнце еще не успело прогреть холодный утренний воздух, легкий ветерок шелестел зеленой листвой, а черные переспелые плоды (кожура на вид как вывязанная крючком) лежали, раздавленные, под деревьями. Похоже, что горлицы охотно прилетают сюда поживиться. Я сказал Йоханану, что можно жить и горлицей на крыше Храма Господнего, а не только сверчком в пекарне.

И тут открылись двери одной мазанки, и через мгновение вышла коптская монахиня в сером одеянии. Она, наверное, не ожидала увидеть нас во дворике – рассматривающих кельи и свободно расхаживающих, словно хозяева. Сначала о чем-то спросила, потом показала рукой на калитку в железных воротах. И мы услышали, уже оказавшись за воротами, лишь железный скрежет ключа.

Когда солнце в Иерусалиме достигает зенита, любая тень становится спасением от жары. Прогретый воздух раскаляет камни. В магазинчиках можно заказать свежий апельсиновый сок, который тут же выжимают из плодов под прессом. Перетертую мякоть продавец выбрасывает в пластиковое ведро.

Жара, которая в десять утра еще не ощутима, теперь заполняет все тело, от нее пересыхает во рту, горло щекочет горечью.

На Храмовой горе, перед воротами – мусульманское кладбище (кстати, если иудейский пророк будет ехать в Старый город, то не сможет въехать из-за кладбища, поскольку даже коэнам нельзя там находиться – путь перекрыт). Мусульмане решили внести коррективы в иудейские тексты и пророчества. В Старый город можно войти и выйти из него через восемь ворот. Если входишь Яффскими воротами, то выйдешь Дамасскими – запад и север, начало и конец, вход и выход.

Из окна студенческого общежития Еврейского университета, что на Французском холме, я выглядываю в ночь. Окно бронированное. Видны только фрагменты иерусалимского пейзажа: какое-то шоссе, по которому мчат машины, а дальше вроде бы Иордания. Я открыл окно, и в мою комнату ворвалась прохлада иерусалимской ночи и тонкое жужжание ночной мошкары. (Я еще не знаю, что это – Западный Иерусалим, где часто происходят террористические акты.)

По телевизору постоянно показывают трех учеников Иерусалимской ешивы, которые возвращались домой автостопом; на одном отрезке пути их подобрала какая-то машина, и они исчезли. Полиция подозревает, что их выкрали террористы. Войска начали прочесывать арабские поселения возле места, где злоумышленники бросили машину. Напряжение нарастает. Я не привык жить в стране, в которой противостояние заканчивается похищением или даже боевыми операциями полиции и армии, поэтому вначале казалось, что все быстро закончится: ребята найдутся, а виновные будут наказаны.

Как-то ночью после посещения Старого города, где мы с Йоханаком провели час возле Западной стены вместе с погруженными в молитву иудеями, – мы решили вернуться на Французский холм на такси. Возле Дамасских ворот остановили машину, и ее водитель согласился нас отвезти. Я с интересом разглядывал улицы вечернего Иерусалима. Окно у водителя было открыто, веял прохладный ветерок. Ехали молча. Через пять минут оказались в районе, где группками стояли парни. Кое-где на тротуарах виднелись кучи мусора, дорогу перебегали коты, сверкая зелеными глазами. Йоханан посмотрел на меня и пристально на водителя. Районщик проезжали долго – улочка, наверное, была боковая. И нетрудно было догадаться, что она не могла похвастаться доброй славой. Наконец мы снова выскочили на автостраду, залитую желтым светом, и через некоторое время прибыли на Французский холм. Рассчитались и вышли из такси.

Йоханан сказал, что мы ехали через арабский квартал и что это была реальная опасность, ведь, учитывая последние события – исчезновение учеников ешивы, – напряжение между евреями и арабами нарастает. Какая цель была у водителя, везущего нас по арабскому кварталу? Сократить путь к нашему с Йохананом дому или (при благоприятных обстоятельствах) умыкнуть нас как заложников? В вечном противостоянии на Святой земле однозначного ответа нет.

В Иерусалиме с утра прохлада держится на остывших за ночь камнях.

В Галилее на высотах, в тени ливанских кедров, она растворяется в трепетном воздухе и густеет вместе с запахами трав и деревьев.

А ветра в Яффском порту беспрерывно гонят к берегу ультрамариновые волны.

Я сажусь в троллейбус на остановке Гиват га Мивтар. Троллейбус довозит меня до центра, где я могу побродить по улицам или же пройтись торговыми рядами базара Махане Иегуда. Если же я выйду на остановке «Дамасские ворота» или, немного проехав, на «Яффа – Центр», то Старый город будет совсем рядом.

Храм Гроба Господнего. Очередь к часовне Кувуклии. У меня за спиной – русские паломницы. Женщины в белых платках на головах. Разговаривают.

– А где здесь Голгофа?

– Дак на втором этаже…

* * *

В Иерусалиме я хотел бы встретиться по крайней мере с двумя писателями: со Шмуэлем Агноном и Иегудой Амихаем – но ни первого, ни второго уже нет среди живых…

С Агноном я поговорил бы в тени деревьев на закате солнца – о Бучаче и Стрыпе (так как именно сейчас – когда пишу о нем – только что вернулся из Украины, где побывал в его родном Шебуше). Как Бучач слушал мои рассказы об Иерусалиме и о доме Агнона! Рядом шумела Стрыпа, майский ливень с громом и молнией накрывал бучацкий центр, а я в городе купцов и книжников чувствовал себя так же естественно, как он в Иерусалиме. В его месте изгнания, в одном из городов, состоящем из холмов и камней, к которому Агнон всегда возвращается. Возможно, потому, что так нам хочется. И ливень наполнял зеленую Стрыпу, и пыль бучацких улиц смывалась дождевой

водой, и только слова оставались сухими.

Амихаю же я пересказал бы, как слушал его стихи в Нью-Йорке. И промокший до нитки, едва попал на тот вечер, потом написал стихотворение об этом событии.

Жаль, что, когда я оказался в Иерусалиме, вот сейчас, прямо на улице царя Давида, по которой иду в темноте, мы не встретимся. Остались только стихи, полные жизненной мудрости. Что ж, нет ничего вечного даже в Вечном городе. Сквозь строки Амихаевых стихов можно увидеть, как цепляется за стены из белого камня виноградная лоза, невесть как выросшая на этой стене (и это так же странно, как видеть взъерошенные крылья горлиц, покрытых снегом).

Я узнал, что дочь Агнона будто бы находится в доме престарелых. Интересно, вспомнила бы она нашу встречу в Тернополе? Могла бы вспомнить? Но, может, ее память уже такая дырявая, как эта тень от шелковицы? Я даже не пытался отыскать ее (ведь в моей записной книжке она написала лишь: «Haim and Emma Yaron 19 Washington Str., Jerusalem, Israel»).

На последний день я отложил посещение музея Агнона. И это удалось. Нас с Йохананом повезла Анна Фляйтман на новеньком красном «ниссане». Мы быстро нашли улицу, где стоял дом Агнона. Похожий на крепость, с узкими глазницами бойниц (во времена, когда его строили, вопрос безопасности представлялся едва ли не главным, ведь предыдущий дом Агнона вместе с библиотекой был уничтожен в 1929 году). В то время Талпийот – участок, где поселился писатель, – был околицей, окруженной каменистыми холмами и заросшими кустарником полями. Я поискал в карманах, что мог бы оставить Агнону. Во внутреннем кармане спряталась скрепка, которой соединяют листы бумаги. Я положил ее в библиотеке, на втором этаже, словно желая скрепить Иерусалим с Бучачем, так как не имел под рукой ничего более подходящего.

* * *

На тель-авивской автобусной станции нас с Йохананом подбирает Эли Рехлес, профессор истории, который преподает в Чикаго, а живет в Тель-Авиве.

Эли знает, что до поезда, на котором мы поедем в Хайфу, остается несколько часов. Сначала он везет нас по бульвару Ротшильда, а затем вереницей улочек. И наконец мы на набережной, откуда открывается панорама Средиземного моря и городских пляжей. Ветер гонит волны на берег. «Тут всегда

ветер», – говорит Эли.

В Яффу мы заезжаем после короткой экскурсии по Тель-Авиву. Эли выезжает на тротуар, останавливает машину и просит подождать. Возвращается с большим пакетом, куда ему упаковали свежие булочки. Из арабской пекарни.

С Яффы начинался Тель-Авив. Суда, на которых плыли в Палестину евреи из Европы еще в начале XX века, останавливались перед яффским побережьем, поскольку волны тут были столь стремительны, что ни один корабль не мог приблизиться к берегу. Оборудованных портов тогда не было, поэтому пассажиры на безопасном расстоянии пересаживались в большие лодки, с помощью которых их препровождали на берег. Яффу населяли арабы, и прибывшие начали обустраиваться неподалеку, на месте теперешнего Тель-Авива, который постепенно разросся до масштабов современного полиса. С расстояния яффского порта виден полукруг тель-авивских пляжей и купальщиков – они стоят по пояс в ультрамариновой воде и ловят волны (плавать там просто невозможно, ведь волны высокие, а ветры спиралеобразные).

Мы едем дальше, и Эли говорит, что познакомит нас с последним коммунистом Палестины. На одной из улочек Яффы мы останавливаемся возле галантерейной лавки. Оттуда выглядывает пожилой араб с газетой в руке. Он, как выясняется, давний приятель Эли, они обнимаются. Владелец галантереи приглашает нас с Йохананом внутрь. Сначала говорят по-арабски (Эли довольно ловко изъясняется), затем переходят на английский. Разговор вращается вокруг обострения конфликта. А потом галантерейщик рассказывает, что бывал в Москве.

Жалуется на внуков, которые не заинтересованы в продолжении его дела – торговли галантереей.

На балконах кварталов сохнет белье.

Жизнь в Яффе продолжается, волны накрывают побережье пляжа, а поодаль стоят на рейде корабли.

Точно так же, как и сто лет назад, – не заходя в порт.

* * *

Хайфа. Двое стоят на горе Кармель возле *Stella Maris Monastery*, откуда открывается панорама порта. Говорят о войне. «Война» – вообще привычное слово для Израиля. Сбоку – парковка для машин и памятник наполеоновским воинам. Раненых переправляли сюда, когда Наполеон держал в осаде соседний город Акко. Монахи-кармелиты должны были заботиться о них,

но Наполеону не удалось взять Акко, поэтому раненые французы были обречены – их вырезали турки. Базилика монахов-кармелитов построена над пещерой пророка Ильи.

Когда мы с Йохананом вышли на станции перед самой Хайфой, то сразу отправились на пляж. Сняв рубашки, уселись на свободных шезлонгах. Приближался вечер. И хотя солнце висело над горизонтом, уже не так пекло. Пляж был почти пуст – будний день. Работали какие-то кафетерии, но посетителей было немного.

За нами собирался приехать профессор Хайфского университета, с которым Йоханан договорился о встрече. Отсюда он подбросит нас до Акко, где мы собирались переночевать в гостинице, а утром на автобусе поехать в Цфат.

Йоханан, словно сверчок, трещит о Цфате. Он говорит, что мы непременно должны успеть до Шаббата поселиться в цфатской гостинице. Так как Цфат – одно из сакральных мест для иудеев и там собирается множество паломников (я убедился в справедливости его слов, как только мы вошли в эту гостиницу).

Но пока что мы – в Хайфе, среди бахайских садов. Я не знаю, самая ли это высокая точка города, но холм, на котором стоит бахайский храм с ухоженным садом, и геометрически расчерченный парк с экзотическим разноцветьем – все возвышается над заливом и портом, словно сады подвешены за невидимые нити.

На скамейке сидят две женщины, не обращая на нас никакого внимания. Разговаривают по-русски, вспоминая молодость в Москве, вспоминают знакомых, каких-то любовников и любовниц, улицы и адреса. Долго говорят о некой Лизе, которой не повезло ни с первым мужем, ни со вторым.

* * *

Вечером мы ужинали в прибрежном ресторанчике. В Акко, который можно видеть с хайфских высот, Средиземное море освещали маяки. Очертания каменных стен средневекового города проступали на неровном чертеже полуострова. Качались лодки и яхты, привязанные к деревянным сваям. Пахло жареной рыбой, крепким ароматом кофе и кисловатым виноградным вином. Молодая пара курила кальян.

С утра в Акко мы решили поплавать. Почти на рассвете пришли на берег, где уже готовились к выходу в море парусники (очевидно, какая-то яхт-школа). Море было еще темное. Спортсмены шумно возились возле своих яхт, натягивали тросы,

расправляли паруса. Пляж был каменистый. Выступ крепости заслонял часть ландшафта, а вдали, на бетонированном волнорезе, стояли с раннего утра рыбаки с удочками. Продавцы начинали день, цедя крепкий кофе. С утра на рынке пахло свежей рыбой, выставленной в синих пластиковых ящиках. К рыбным лоткам сходились местные коты, сонные и упитанные. Пахло кофейными зернами в полотняных мешках, терпкими пряностями, а где-то сладким запахом пахлавы или шербета – все это наполняло воздух улицы.

В свое время Акко-Акр был столицей Иерусалимского царства и прибежищем крестоносцев Ордена тамплиеров.

Для своих нужд тамплиеры построили город под городом – с костелом, трапезной, госпиталем и подземными ходами.

* * *

Мы ехали на автобусе, минуя кибуцы, арабские села, плантации, обсаженные кактусами сабра. Где-то вдали перегоняли небольшое стадо коров, в апельсиновом саду среди низкорослых растений пыхтел трактор. Идеи жить в гармонии с природой и питаться плодами своего труда от земли привезли первые переселенцы из России, – сионисты высадили идеи Льва Толстого на каменистую израильскую почву.

В Цфат ведут серпантины дорог. Автобус петляет до тех пор, пока, въехав в город, ты не достигаешь галилейских гор. На одной из таких гор стоит Цфат – город каббалистов и хасидов. Город паломников. Город десятка синагог. Город раввинов-мистиков, которые в Средневековье здесь поселились; тут они и похоронены.

Наступал Шаббат. Ортодоксальные евреи собирались в столовой гостиницы за определенными столами, где все было приготовленно для Шаббата. Я сидел напротив Йоханана и слушал молитвы, которые тот смиренным голосом нашептывал перед свечкой и блюдами, предназначенными для Субботы. За столами произносили молитвы, звенели приборы о фаянс тарелок. Происходило то, что вот уже тысячелетия происходит каждую субботу. Торжественно одетые взрослые и дети шли на вечернюю молитву в синагогу.

Йоханан сказал, что будет молиться в этот вечер в ашкеназской синагоге.

Я вышел и направился от гостиницы по кривым улочкам с ливанскими кедрами на обочине. Горы обступали город.

Серые с черными крыльями вороны мостились на ночь в

кронах деревьев. Все затихало. Внизу по дорогам мчались машины, а в синагогах хасиды держали этот мир нитями своих молитв и песнопений.

Цфат обшит камнем. Узкие улочки. Исшарканные мостовые.

Суббота приближалась к концу. Я стоял возле стены над огромной долиной и смотрел на синие и зеленые галилейские горы. Горы влекли меня своей величественностью, мягкими цветами в легком мареве июньского воздуха. И хотя город расположен высоко над уровнем моря, в течение жарких дней солнце успевало выжечь травы и репьи, которыми заросли здешние склоны. Королевский репей, словно выкованный из золота, вырос на самой стене с короной из трех чашечек выгоревшего цвета. Растение было еще крепкое. Я смотрел на него, такое гордое и одинокое, такое колючее и золотое.

Рядом играли дети. Мяч каждый раз перепрыгивал через стену и катился вниз. Кто-то из малышей ловко перелезал на ту сторону, бежал вниз и находил мяч среди колючих кустов. А затем карабкался наверх.

На значительном расстоянии, где фигура прохожего выглядела не крупнее спички, брацлавский хасид спускался по тропинке с высокой горы к микве. Густой, напитанный хвоей воздух словно бы замедлял шаг человека в белом халате с полотенцем под мышкой. Замедлял, но не сдерживал.

* * *

Мириам Фейга – иерусалимская горлица, поскольку «Фейга» и означает «птица», – водит нас с Йохананом по старым кварталам, чтобы показать буковинский ресторанчик. Но он закрыт. Тогда мы решаем зайти на рынок Махане Иегуда.

Почти полночь, но работают забегаловки, где можно выпить пива и поужинать рыбным блюдом.

Из шлангов поливают каменные дорожки, истоптанные за день тысячами ног. Смывают запахи овощей и рыбы, раздавленные помидоры и рыбью чешую.

Несколько зеленых кошачьих глаз выглядывают из укромных местечек.

* * *

В Нью-Йорке я писал иерусалимские стихи.

Я помнил, что было изображено на иконах, купленных на

базарах Чорткова и Бучача: горлицы, иерусалимские холмы и камни, Иисус молится в Гефсиманском саду.

А возвратившись из Иерусалима, я нашел в кармане скрепку. И подумал: может, это ключ к поэзии, которой со мной поделился Иерусалим?

2015

III

Француз из Чорткова

1.

За десять лет до Первой мировой войны, в 1904-м, в Берлине умер немецкоязычный писатель Карл Эмиль Француз – галицкий и буковинский еврей, выходец из «наполовину Азии» (как он сам называл бывшие окрестности Австро-Венгерской империи). Он родился в Чорткове в 1848 году, когда по Европе прокатились революции, а ветры «Весны народов» ураганом достигли даже границ Восточной Галиции. Австрийский император Фердинанд I в том году упразднил крепостную повинность, и галицкие крестьяне в честь этого события повсюду сооружали кресты. В селе Базар Чортковского района на Тернопольщине такой крест сохранился и доныне. Его немного отреставрировали, а во времена моего детства каждую весну подновляли синькой и известью. Город, в котором родился Карл Эмиль и которому посвятил сборник рассказов «Евреи из Барнова», назывался Чортков. Земля, где был построен этот город, называлась Червонная Русь, а со временем – Галиция. Все, кто жил на этой земле и в этом городе, были галичанами: рутены, поляки, евреи, караимы, армяне, швабы и немцы. О том, как Червонная Русь превратилась в «наполовину Азию», можно размышлять долго, известно только, что Османская империя в Чорткове имела резиденцию наместника паши, почти на десятилетия приписав город и его жителей к Востоку. Османскую империю сменила Австро-Венгерская, но географическое расположение Чорткова, близкое к Буковине да и к Балканам, словно аккумулировало все будущие исторические распады и противостояния. Торговые пути привлекали евреев, которые осваивали Восток. Фамилия писателя свидетельствует о том, что его семья происходит из Франции, отец, Генрих, был врачом в Чорткове, где и умер. К тому времени, когда Чортков в литературных произведениях Француза станет Барновом, писатель уже поселится далеко от Галиции и Буковины, станет всматриваться в пространство своего детства из величественных окон венских (а позднее и берлинских) домов.

Чортков во времена Карла Эмиля насчитывал несколько тысяч обитателей, а топографически был разделен на Центр, Старый Чортков и Выгнанку (Выгнанка – это был чортковский «исход» за пределы города евреев, которые потом опять вернулись в его центр).

Если биографы Француза точны, то лишь первые 10 лет его

жизни (то есть детство) прошли в Чорткове, а затем были Черновцы, Грац, Вена и Берлин. В провинциальном городке – «наполовину в Азии» – он овладел украинским и польским (немецкий он будет учить в Черновцах).

Чортков превратится в Барнов и таким образом продержится несколько столетий, спрятавшись в текст. В рассказах Францоза Чортков – это местечко со своими персонажами и торговлей, с жизненными перипетиями евреев, запечатлевшими в словах свой мир и свои страдания.

Я не уверен, что какие-то фотографии Чорткова со времен Францоза сохранились. Но именно в год его рождения в Чорткове началось строительство новых домов, появились мостовые, водопровод и электричество.

Ребе Давид Фридман именно в это время переезжает из Садгоры в Чортков, основывая хасидскую династию. А позднее выкупит у графини Борковской замок Старого Чорткова, на месте которого начнет развивать свою династическую линию, продолженную впоследствии его сыновьями (о мудрости ребе, его святости и чудесах последователи станут рассказывать из поколения в поколение).

В середине XIX века Чортков, став окраиной Австро-Венгерской империи, не мог не почувствовать, что штраусовский «Марш Радецкого» символизирует власть кайзера и силу этой власти (а также некую ее легкость, будто бы несерьезность). Но Францоз, который в «Ярмарочном дне в Барнове» собрал весь Чортков и его окрестности, смотрел на этот мир, на эту замусоленную провинцию глазами последователя немецкой культуры и жителя европейских городов.

2.

Францоз мог возвращаться в Чортков по железной дороге. Во всяком случае, из Вены до Черновцов железная дорога была проложена. Европа пересаживалась в вагоны поездов и путешествовала по своим столицам и другим приличным городам, заезжая даже на околицы, в провинции, населенные местными людьми и евреями. По железной дороге путешествовали торговцы, а также солдаты армии кайзера, которых расквартировывали по *чортковам* вблизи восточных границ. Галицкая провинция должна была невероятно радоваться тому, что железнодорожный «дворец» (то есть вокзал) и пути «пришли» к ней вместе с электричеством и водопроводом, став миниатюрной копией венских.

3.

Берлин, где Француз прожил почти двадцать лет, выгодно отличался от Чорткова, хотя не принадлежал Австро-Венгерской империи. Интересуясь Берлином 1890-х, я наткнулся на фотографию «Marktstände zwischen Französischer Straße und Charlottenstraße, um 1890» – торговые ряды между Французской улицей и улицей Шарлотты. В Чорткове, во времена Француза, рынок размещался, наверное, где-то в центре города, а принимая во внимание его холмистый рельеф, выбор должен был пасть на более-менее пологое место, чтобы могли съезжаться также и крестьяне из близлежащих сел, торговавшие скотом, привязанным к возам. А может, эта улочка, петляющая от здания Старого рынка, и была местом торжища?

Берлинские торговые ряды 1890 года расположены посреди большой площади, окруженной стенами высоких домов (фотограф выхватил трамвай, который едет по рельсам, правда, запряженный еще лошадьми). На прилавках все разложено аккуратно, нет суеты покупателей (да их и немного). Такой рынок Француз мог бы описывать десятки раз, но не запечатлеть в тексте ни его многоголосья, ни суеты – человеческой комедии в миниатюре. Берлинские торговые ряды были пригодны для утренней закупки свежих овощей, но не для литературы. И если его, Карла Эмиля, томила привязанность к запыленным улочкам Чорткова, к его простецким обитателям с их песнями, к поэту Шевченко, к зеленым берегам Серета, ко всем мелочам провинции, то с Берлином он вел диалог как равноправный партнер по сделке. Из Берлина и Вены, из уютных кафе, с широких улиц, из пространства цивилизации, культуры и прогресса Карл Эмиль Француз стремился почувствовать и понять обстоятельства, в которых жила его семья, торговавшая вином и лечившая, а он вынужден был сохранить в словах этот семейный опыт – с открытым сердцем.

В Берлине с Французом произошло также некое событие, связавшее его с именем Георга Бюхнера, его драматическим произведением «Войцек». Это пьеса, которую Карл Эмиль отыскал и опубликовал.

4.

Для меня ощущение Восточной Галиции, ее заброшенная провинциальность – это городки, где залежи полезных ископаемых истории уже давно присыпаны пеплом и перепаханы;

и где выныривают сецессионные дома или рыночные площади. Стены домов кое-где облупились, ажурные балконы поржавели, улочки забыли свои названия (ведь их столько раз переименовывали). А площади еще не изжили памяти о времени, когда по мостовой цокали копыта коней и каблучки женских туфель, а иногда – железные подковы сапог кайзеровских урядников – звуки тогдашней жизни, исчезающие с расписанной водяными знаками бумаги воздуха. Эти воображаемые города вызывают у меня ностальгическую грусть, во всяком случае, Чортков… Я должен был запомнить тысячи историй, которыми подкармливали мою будущую ностальгию те, кто знал Чортков «во времена Австрии». Жизнь на околицах империи, в периферийных городах, на краю имперского мира, особенно помнят они, провинциальные обитатели приграничья. Они бредят столицей, после гимназий поступают в университеты, изучают право и коммерцию, ловят пересуды кайзеровского двора, пьют венский кофе, читают столичные газеты, слушают музыку оперетт и читают новинки литературы. Они покидают провинцию, но провинция не оставляет их. А те, кто не выезжает дальше своего пространства (местечка или села), могут попасть в столицу при воинской повинности, некоторые – по коммерческим делам или так, как мой прадед Михаил Кардинал, который каждые полгода возил барина на лошадях в Вену через Львов. Им есть что посмотреть, кого послушать и к чему стремиться.

Но время империи уже иссякает, незаметные трещины разрушают изнутри карту империи Габсбургов, которая охватывает территорию, населенную неимоверным количеством славян и евреев – собственно, жителей провинции. Они одновременно обожали и ненавидели империю, под «Марш Радецкого» вытягивались во фрунт перед портретом кайзера, а вскоре плясали как шальные, на радостях – по землям, развороченным мировой войной. (Это помешательство Тракля, охватившее их, – временно.)

Откуда у меня эта ностальгия? Откуда это желание – побывать в Чорткове времен Австрии, Француза? Откуда этот трепет на чортковском вокзале перед железной дорогой, которая так или иначе связывает эти брошенные историей города и бывшие провинции империи? А может, ярмарка в Барнове – это история города, спрятанная под подкладку хаоса и кутерьмы? И ее надо распороть и пройтись по улице, просто пройтись по улице…

5.

Что связывало Карла Эмиля Францоза с украинцами? Прежде всего, совместное проживание в Чорткове, а затем и в Черновцах. Но это не вынуждало его как писателя повествовать о рутенцах. Действительно, в сборнике рассказов «Евреи из Барнова» Чортков выглядит еврейским городком. Позволю себе предположить, что еврейские писатели, представляющие в своих произведениях Галицию, репрезентуют преимущественно ее еврейский сегмент, тот, который они помнят, как запах дома. Во всяком случае, я не вижу Чорткова у Францоза, не представляю истинного Бучача у Шмуэля Агнона, и у меня есть проблемы с топографией Дрогобыча у Бруно Шульца. Говорит ли это о чем-то? Да. О закрытости, обособленности гетто, о том, что эти писатели точно уловили ностальгию и тоску своего народа, отразившуюся затем в их книгах. По улицам Чорткова ходили легенды о хасидских мудрецах, в еврейских домах Чорткова пахло традиционной еврейской кухней, евреи по-своему играли свадьбы, придерживались своего религиозного календаря. А время, согласно которому они жили в Чорткове, опережало христианское на несколько тысяч лет. Евреи обитали в параллельном мире, пересекаясь с христианским на улицах и на рынке.

Карл Эмиль Францоз словно развернул этот мир в очерке «Ярмарочный день в Барнове». Он перемешал эти миры и выставил их на всеобщее обозрение в ярмарочный день, когда все жители Чорткова и окрестностей становятся продавцами и покупателями, их роли меняются, их товар разнообразен, их язык сплетен из разных слов – украинских, польских, немецких, на идиш, – все они будто актеры на большой ярмарочной сцене. Я думаю, что Галиция, эти отдаленные просторы империи, для Францоза была не только украинской. Он писал о Тарасе Шевченко и украинской литературе, посвящал очерки Черновцам. Он любил эти щедрые земли, особенно Буковину и Галичину, но пропагандировал дух немецкой культуры. Пространство культуры было ему как писателю более близко, и потому реальное пространство Галиции казалось наполовину Азией, нуждающейся в оплодотворении немецкой философией и литературой, в обращении этого Востока глазами к Западу.

6.

В Чорткове целые столетия жителей лежат на своих кладбищах и киркутах. Теперь они перешли в пространство, которое полностью принадлежит только им и истории. Отшумели ярмарочные дни, все, что продавалось, – продано, и все, что

надобно, – куплено. Все ненадолго вернулись домой, а некоторое время спустя стали историей. А их календари и впредь отсчитывают годы и столетия, и их летосчисление не совпадает. Какими могли бы быть Галиция и Чортков, если бы империя Габсбургов просуществовала дольше? Скажем, немецкие колонисты, вытесненные австрияками, наладили бы эффективное земледелие, а их профессора наполнили бы немецким духом литературу и философию? (В более позднее время чортковское гетто вывезли в Белжец, а те, кому посчастливилось спастись, – старались забыть, куда их вели по улицам Чорткова.)

Город, пахнувший ярмарочным хлебом и вином, не всех причастил одинаково, а хасидские мудрецы и чортковские ребе не истолковали всех темных мест в своих книгах о Шоа.

Где же медовая река Серет с золотыми берегами? Где эти сладкие дожди? Где разлитая патока придорожной глины? Где это все?

7.

В Берлин я прилетел осенью. Позолоченная листва берлинских парков еще отливала золотом волос Лорелеи, а тихая Шпрее мягко катила волны. Берлин казался сонным, жухлую опавшую листву по вечерам подсвечивали парки. Из окна гостиницы открывалась узенькая улочка, по которой каждое утро родители водили детей в школу, проезжали велосипедисты, а городская служба ремонтировала ветхие трубы канализации. Берлинский воздух пахнет по-европейски, это трудно описать. (Так пахнет Чортков, это запах кофе с миндальным привкусом, может, даже пережаренного кофе.) Какой запах в Берлине напоминал Карлу Эмилю Чортков? Из-за суеты всевозможных выступлений и встреч я лишь раз вспомнил о Францозе. Интересно было бы увидеть улочку, на которой он жил, и дом. Ясное дело, дом мог и не сохраниться. Но, бредя по Курфюрстендамм, я увидел мемориальную доску Максу Герману-Нейссе. А еще – выставку Сальвадора Дали, эротический музей и берлинских попугаев в специальном вольере посреди улицы. В самом деле – в Берлине думать о Чорткове как-то непривычно, визуальная всеохватность города сбивает с толку, и, только забежав в кафе и вбирая запах, пропитанный миндальным кофе, можно перенестись на родину. Во всяком случае, обмануть себя.

8.

Я почти убежден, что отыскать в Чорткове дом, где жил Карл Эмиль Францоз, невозможно. Хотя хорошо бы попробовать узнать, в какой части центра мог проживать Генрих Францоз с семьей. Все-таки врач, а Чортков в середине XIX века – не мегаполис. Возможно, еврейские архивы сохранили какие-то записи о семье Францозов в Чорткове, тем более что линия чортковских цадиков не прервалась и сохранилась в Ливерпуле. Хотя зачем знать, где эти дома? Что они нам могут рассказать, даже если и сохранились? Еще раз свидетельствовать о месте и памяти? В ряду писателей (Францоз, Агнон, Рот, Шульц и др.), чьей родиной была Восточная Галиция, которую они, каждый по-своему, перенесли в насыщенный текст метафор, а потом поделились им, присвоив слова и место, Францоз, на мой взгляд, самый открытый с его рассказами о теплых хлебах с ярмарки в Барнове, о провинции, которую он любит, о ее недостатках и преимуществах. Повествуя о Францозе, я ищу его дом, его улицу в Чорткове, ибо там он назначил нам встречу, ибо там его сердце.

9.

Чортковские цадики прибыли из Садгоры. А Францоз, переехав в Черновцы, прикипит сердцем к Буковине. Отсюда не ближе к Вене, но Вена ближе, так как тут немецкая гимназия, немецкая культура, немецкая пресса. Буковина будет надменно смотреть на другие части империи, ведь поезд Вена – Черновцы, проходя через Краков и Львов, привозит вчерашние венские газеты, которые уже на следующее утро читают подписчики и посетители кафе. Черновцы стали переходным мостом в биографии Францоза: после провинциальности Чорткова и перед европейским пространством Вены и Берлина это была временная остановка, в которой он закрепил свои взгляды на культуру и развил вкус к простой жизни с ее подробностями, улицами и ярмарками, селами и ландшафтами, утопавшими в золоте кукурузы и бурого табака.

10.

Но я предпочел бы остаться с Францозом в Чорткове.

2012

Паунд & Лорка: поэт в пейзаже

Эзра Паунд добровольно пошел на сотрудничество с Муссолини, за что и провел свыше десяти лет в психиатрической больнице. Он автор знаменитых «The Cantos», темы для которых искал за пределами собственно американских топосов, антисемит и ненавистник черных. Хаотичные экономические проекты привели его в Италию, а случай (его внебрачной дочери Марии в американском посольстве отказали в визе) стал причиной того, что он остался в Италии до тех пор, пока не оказался в руках американских солдат перед окончанием Второй мировой. Эзра Паунд считал себя вторым поэтом после Данте. Рыжий имажист, пытавшийся реформировать в начале XX столетия мировую поэзию, бунтарь и радиокомментатор. Его передачи, как потом выяснится, слушали только итальянские цензоры и американские контрразведчики. И те и другие почти ничего не понимали из того, о чем он говорил в течение часа, за который ему платили 15 долларов.

Федерико Гарсия Лорка ни на какое сотрудничество не шел, в целом был далек от политики, хотя симпатизировал левым идеям. Он был путешественником, его интересовало искусство как богемное существование. Он любил цыган, негров, моряков, дружил с Дали, Бунюэлем, Пабло Нерудой, объездил Испанию, бывал в Аргентине, США и на Кубе, писал стихи и драмы – и внезапно был расстрелян в 1936 году сторонниками генерала Франко.

Он – жонглер испанского фольклора, любитель корриды, его испанский – это фейерверк, петарды.

Разница между ними существенная – и в поэзии, и в жизненных перипетиях; общим является, пожалуй, то обстоятельство, что на 20–30-е годы в истории Европы и мира пришлась смена эстетической и политической ситуации: Эзра Паунд и Федерико Гарсия Лорка, каждый в отдельности, сыграли свою роль на том историческом отрезке. Разница была также в следующем: Паунд убегал от Америки, считая ее средоточием капитализма, ростовщическую банковскую систему – едва ли не самым большим преступлением против человечества.

Лорка – наоборот, стремился в Америку, видя в ней некий новый и удивительный мир.

Так, меняя полюса своих предпочтений и путешествий, они (этот рыжий американец и черноволосый испанец), возможно, не зная о существовании друг друга, так или иначе побуждают нас вписать модели жизни каждого из них в нью-йоркские или

итальянские пейзажи и еще раз убедиться в изменчивости их черт и контуров – в зависимости от наполнения историей – поэтической, художественной и общественной.

1. Итальянские пейзажи Эзры Паунда

В 2001 году Энн Коновер издала книгу «Olga Rudge & Ezra Pound. “What Thou Lovest Well…”». Ничем эта книга меня бы не заинтересовала, если бы не обложка. На ней – старый Паунд в пальто, в клетчатом пиджаке, галстуке и шляпе, с тростью в руках, куда-то заглядывает, повернув голову в сторону. Рядом Ольга Радж, тоже в пальто, с двумя сумками, смотрит туда же, куда и Эзра. Очевидно, фотограф поймал мгновение, когда они одновременно повернули головы на чей-то зов или увидели нечто интересное. Эзра Паунд выглядит еще довольно энергичным, значит, фото сделано, наверное, в конце 60-х. Иного Паунда я увидел в фотоальбоме (в бродвейском книжном магазине, реклама которого сообщает, что тут 8 миль книг). Просматривая этот альбом, я наткнулся на фото Паунда 1971 года. Это был действительно другой Паунд: похожий на загнанного зверя или запуганного ребенка, он жмется к стене, словно старается втиснуться в нее; изрезанное тысячами морщин лицо обнаруживает сложные жизненные превратности итальянского периода (поэт страдал в то время депрессией, вызванной молчанием вокруг его имени). Великий бунтарь искусства XX века заканчивал свой путь, отрекаясь от некоторых мировоззренческих начал и эстетических предпочтений (в разговоре с битником Аленом Гинзбергом Паунд выразил сожаление относительно своих антисемитских высказываний и неодобрительно отозвался о своих «The Cantos»).

Начиная с 1909 года, Паунд находится за пределами Америки, преимущественно – в Европе, становится новой модой литературных салонов Лондона и Парижа, а как практик и теоретик имажизма – одним из главных сотворцов нового европейского, а позднее и мирового канона поэзии (вместе с Йейтсом, Элиотом и другими).

В 1913 году Паунд встретился с Мери Фенолозой, она прислала ему манускрипты китайской поэзии и японской драмы, принадлежавшие Эрнсту Фенолозе – одному из первых европейцев, открывших западному миру неизвестный доселе мир Востока, прежде всего – Китай и Японию.

Экономические взгляды Паунда, базировавшиеся в основном на теории британского экономиста и инженера Клифорда Дугласа

(который утверждал: система ростовщичества дает возможность небольшой группе лиц контролировать оборот денег, а это является прерогативой государства), привлекли его симпатии к режиму Муссолини, ибо тот, как и следует диктатору, установил государственный контроль не только над оборотом денег. Паунд ожидал от режима Муссолини также возрождения искусств, о котором мечтал еще перед началом Первой мировой войны.

В 1945 году Паунд попал в руки итальянских партизан. Узнав, что он американец, они его не расстреляли, а передали американским военным.

Эзра Паунд сидел в лагере для военных преступников, в клетке, куда американские солдаты бросали ему, словно зверю, какую-то пищу.

Паунду исполнилось в то время 59 лет. Его здоровье ухудшилось, он терял сознание. Поэтому попросил облегчить условия заключения, и к этому прислушались, перевели в другое место, где, собственно, он начал писать свои «Pisan Cantos».

Тринадцать лет Паунд пробыл в психиатрической больнице Св. Елизаветы в Вашингтоне. В 1958 году, благодаря многочисленным ходатайствам, его освободили, и Паунд навсегда оставил США, выехав в Италию.

Примерно в это время фотограф поймал в объектив Эзру Паунда и его спутницу Ольгу Радж.

Фантасмагория жизни Паунда обусловлена противоречием между его глубинной культурой, желанием реформировать поэзию, стать *современным Данте*, внимательным прочтением мировых традиций и полным отсутствием политического чутья. А еще – упрямым неприятием Америки, слепой верой в новейший «ренессанс от Муссолини».

Выбор Паунда трактуется как отступничество. Но отступничество от чего?

Паунд – поэт слишком противоречивый, менее целостный, чем может показаться на первый взгляд. Его ранние стихи создали ему репутацию главного реформатора поэзии в начале XX века, хотя имажизм – не совсем его изобретение.

Паунд, так же как и Элиот, расширял возможности модернистского способа поэтического мышления, в то время как авангардисты изыскивали в формальных и языковых экспериментах новые виды коммуникативности. Они словно разрывали поэтические полотна Паунда и Элиота, расщепляя ядра смысла и семантику слов до их первичной сути.

Англоязычные поэты XX столетия чаще всего пребывали в несколько ином эстетическом поле, чем, скажем, поэты славянского мира. Первые, внимательно перечитывая

предшественников, все время реформировали поэтическую традицию своего языка или бунтовали против нее. Их меньше всего интересовало то, что происходило на обочинах (вне английской, немецкой, французской культур, т. е. все прочее – обочины?). Творцы иной, не слишком хорошо развившейся культурной традиции вследствие определенных исторических обстоятельств вынуждены были это преодолевать и усваивать традицию западную.

Эзра Паунд – едва ли не первый западный тип поэта, который не только обратил свой взгляд в прошлое, но и выразил это прошлое при помощи разных топосов: китайского, итальянского, провансальского. В его лице Запад получил поэта, который применял модернистское мышление, используя не совсем современные топосы, сиречь топосы не главных, почти маргинальных культурных пространств. Кто-то должен был их увидеть и использовать, придать им другое значение и звучание. И это был Эзра Паунд.

Кун шел,
храм династический минуя,
сквозь кедровую рощу
и вышел к нижней речке,
Его сопровождали Цю, Чи
и тихо говоривший Дянь,
И Кун сказал: «Никто не знает нас».
«Возничим колесницы станешь?
Тогда придет известность».

(«Canto XIII», перевод Яна Пробштейна)

Ален Гинзберг посетил Паунда в октябре 1967 года. Этот визит короля битников описали Петер Рассел и Майкл Рек в статье в «The Evergreen Review». Это была встреча *современного* и *прошлого*: Гинзберг привез записи «Битлз» и Боба Дилана, говорил о том, как повлиял Паунд на Эшбери и битников, – а 82-летний Паунд, довольно прохладно отнесясь к новой музыке, обронил, что его поэзия вообще не имеет никакого смысла, а «The Cantos» – *абсурд* и *невежество*.

Говорят, что Гинзберг, прощаясь, поцеловал Эзре Паунду руку.

Известно около 50 писем Эзры Паунда к Бенито Муссолини, сохраненных в архивах ФБР (в 1945 году американцы изъяли их из архивов итальянского правительства). Все они написаны на итальянском языке. Поэт делится с дуче соображениями по

поводу финансовых и монетарных проблем: что стоит исправить и что упредить. Принимал ли их Муссолини во внимание – точно неизвестно.

В 1969 году состоялось его последнее путешествие в Нью-Йорк. Паунд посетил Академию американских поэтов, побывал в Нью-Йоркской публичной библиотеке (тут как раз выставлялась «Бесплодная земля» Элиота с правками Паунда), на выставке Джин Арп. Его спросили о впечатлениях от Нью-Йорка. «Много шума, много людей», – ответил поэт.

У Паунда нет пейзажа, зато есть текст, перенасыщенный историческими, политическими, временными, культурными, эстетическими аллюзиями и иллюзиями, цитацией, происходящей, собственно, от *перенасыщенности культурой*. Культура – и ничто другое – создала поэзию Паунда, он как будто хочет поймать мгновение, в котором зафиксировались самые главные вехи культурного прогресса человечества. Паунд – салонный поэт культурологического пространства, прежде всего – европейского (в то время как Лорка, находясь в мадридских, нью-йоркских или буэнос-айресских салонах, обращался к феерическим боям быков, цыганским мифам, гарлемским джаз-клубам). В некотором смысле трагедию Паунда-поэта спровоцировала поставленная себе самому сверхзадача: *быть вторым Данте*. Паунд не учел того, что другие времена и задачи искусства, стоящие перед поэтом уже в иных обстоятельствах, требуют от него реальной оценки своего потенциала и возможностей художественного языка эпохи, в которой ему выпало жить. Размах эстетической сверхзадачи Паунда до сих пор обуславливает разнообразные прочтения его поэтического творчества, не говоря уже о философских, социальных, экономических или литературно-критических высказываниях в статьях или письмах, которые кишат противоречиями, самоотрицаниями, несоответствующими оценками или же просто сногсшибательными ошибками.

Именно из этих несоответствий и противоречий соткан *феномен Эзры Паунда.* Именно эта безумная энергия пронизывает его текст, – не имеет значения – поэтический или прозаический.

2. Federico Garcia Lorca: нью-йоркские пейзажи

Тексты «Поэта в Нью-Йорке» настолько отличаются от всего творчества Лорки, что можно подумать, будто их написал совсем другой человек. Наслоение американских впечатлений на ранее полученный культурный опыт коренным образом изменило

поэтику и поэтическое высказывание.

Лорка был гомосексуалистом, поэтому большинство эротических и сексуальных топосов его творчества никак невозможно уяснить, не учитывая этих обстоятельств, а то, что они существенны и наличествуют, – никакого сомнения уже не вызывает.

Размышляешь о судьбе поэта в большом городе, словно о судьбе средневекового святого в пустыне, то есть среди *проявлений бытия* перед возможными *искушениями* места, которое стимулирует выбор: не важно, клетка ли это Паунда в итальянской Пизе, или безграничный простор островного Нью-Йорка. И потому на фоне нью-йоркских пейзажей мифологический поэт Лорка лишен ореола какой бы то ни было политической ориентации, только сексуальной.

Лорка – приятель Сальвадора Дали или Луиса Бунюэля, Лорка – представитель мадридской богемы, человек театра, кафе, гомосексуальных отношений.

Когда 26 июня 1929 года Федерико Гарсия Лорка увидел Манхэттен, первое, что его поразило, – это архитектура и ритм американского города.

В то время 31-летний Лорка был уже достаточно известен в Испании как автор стихотворений и нескольких драм. Вращаясь в художественных кругах Мадрида, он приобрел славу человека богемы.

В Америке *малоизвестного* поэта опекали местные профессора из Колумбийского университета. В Нью-Йорке и в его окрестностях Лорка пробыл почти девять месяцев, достаточно для европейского неофита, который хотел увидеть и почувствовать Америку (хотя Нью-Йорк – это не только Америка или не совсем Америка). Первое, что сделал Лорка, – записался на курсы английского языка. Но за шесть недель, в течение которых он его изучал, ничего практически не достиг и впредь отказался от идеи заниматься английским (заметим, что это станет существенным фактором во время его пребывания в Америке, то есть закроет перед Лоркой возможность свободно и активно общаться с американцами без посторонней помощи и, безусловно, ограничит шансы войти в американский интеллектуальный мир). Он смог только прочесть по-испански несколько лекций в колледжах.

Однако Лорка приехал на время, он не планировал ни оставаться, ни делать себе какое-то паблисити в англоязычном мире. А Южная Америка, которая почти вся пребывала в поле испанского языка, давала не меньшие возможности для самореализации. Позднее Лорка использует их, посетив две страны латиноамериканского мира – Кубу и Аргентину.

Однако ни один город из числа тех, где довелось ему проживать подолгу или побывать мимоходом, – Барселона, Мадрид, Гавана, Монтевидео, Буэнос-Айрес (не говоря уже о маленьких испанских городках, о которых его биографы даже не вспоминают), не стал столь значимым пространством поэтических рефлексий, каким стал Нью-Йорк.

У Лорки в Нью-Йорке было время на все: посещать кофейни и культурные мероприятия, писать стихи, читать лекции, встречаться с друзьями, ходить в театры и просто бродить по городу. Денег было достаточно, семья щедро оплачивала ему пребывание в США. Он довольно часто писал из Нью-Йорка, рассказывая родным о своих впечатлениях от Америки и тамошних событиях.

На первых порах он познакомился с американским поэтом Гартом Крейном и пуэрториканцем Аджелем Флоресом, который, кстати, опубликовал статью о Лорке в испаноязычном журнале «Alhambra». Спорадически общался с американцем мексиканского происхождения, кинорежиссером Эмилио Амеро – они вместе работали над сценарием «Путешествие на Луну».

Какие места чаще всего вспоминают его биографы и он сам в американских стихах? Columbia University, Chinatown, Brooklyn Bridge, Harlem…

Колумбийский университет находится в верхней части Манхэттена, слева от Центрального парка. Сегодня это довольно престижный район, упорядоченный и дорогой. Его постройки расположены между Бродвеем и Амстердам-авеню. Не знаю, перестраивалось ли что-то с 1929 года, думаю, что существенно вряд ли…

Не уверен также, что значительно изменился с тех пор и Чайна-таун. Конечно, теперешних магазинчиков и ресторанчиков не было, однако были другие, наверное чем-то похожие. Этот квартал почти полностью заселен китайцами или же выходцами из азиатского региона. Тут достаточно шумно; между домами вместе с рекламой натянуты красные бумажные драконы, надписи на двух языках, красный цвет иероглифов преобладает. Магазинчики жмутся один к другому, много рыбных лавок; воздух пропитан запахом рыбы, морепродуктов и голосами. Переливы гортанной речи и разные уровни вокализмов создают диковинную мелодику. Ясное дело, праправнуки тех, кто создавал этот квартал в тогдашнем Нью-Йорке, – уже стопроцентные американцы, говорят на английском. И не уверен, что они живут в этом квартале. Те, кто тут сегодня работает или снимает жилье, – эмигранты не из Китая. Это в основном китайцы из разных регионов Юго-Восточной Азии, которые вследствие

сногсшибательных перипетий попали в Америку в конце 80-х и в течение 90-х прошлого уже века.

Понятно, что Лорка не мог не уделить внимание американскому театру. Вместе с американскими друзьями хотел осуществить в английских версиях какие-то театральные проекты (ни один не был воплощен по разным причинам). В то же время Лорка активно принимал новые тенденции американского театра, дух его экспериментаторства и свободы, инспирированный также и рынком. А вот банкротство нью-йоркской биржи 29 октября 1929 года воспринял достаточно спокойно, поскольку в экономике и финансах ничего не смыслил. 4 марта 1930 года Лорка поездом отправился во Флориду и, пробыв один день в Майями, отплыл на Кубу.

Между пейзажем Нью-Йорка и текстами из книги «Поэт в Нью-Йорке», то есть между внутренними пейзажами Лорки и их реальными соответствиями в пространстве, сходства нет. Реальные места нью-йоркских пейзажей в текстах поэта полностью переиначены. Для Лорки лабиринты Нью-Йорка лишь обозначали некоторые формальные признаки урбанистического пейзажа со своеобразным наполнением (то есть это символы, переиначенные в своей функциональной сущности – предметы и вещи). *Моряки* или *еврец, парни, мужчины* или *женщины, ассирийский пес* или *Уитмен* – это всегда мистификации, сюрреалистическая смесь его воображения и предметного мира. Чувствуется также, что Лорка постоянно балансировал между новыми возможностями языка, который открыл ему Нью-Йорк и которого не находим в других его книгах. (Возможно, нечто подобное показал нам Б.-И. Антонич в «Ротациях». Правда, у Антонича значительно более узкие масштабы урбанистического топоса, поскольку Львов – не Нью-Йорк, ни тогда, в 30-х, ни теперь).

Нью-Йорк помог Лорке войти в принципиально новое гравитационное пространство, и эту гравитационную новизну Лорка сумел использовать на свой лад. Испанская литература во времена Лорки не принадлежала к тем, что задавали тон. Несомненно, в ней были хорошие поэты и хорошие прозаики, но все, принадлежавшее к мировому канону, создавалось на английском, немецком или французском. Модернизм усилил позиции испанского культурного пространства, но не за счет литературы, а, скорее, за счет живописи: испанский элемент в мировой канон ввели Пикассо и Дали, таким образом утвердив испанскую модель.

а) Ода королю Гарлема

В каком бы то ни было смысле Гарлем – это граница реального и ирреального.

Гарлем, в частности афро-американцы, напоминали Лорке цыган, которых он ввел в свои тексты, мифологизируя их. Гарлем – это дискурс мировой культуры, в котором переплелись африканские ритмы, мелодии, энергетика американского пространства, где возникли интересные религиозно-духовные спиричуэлс, джаз. Гарлем – не просто черный квартал Нью-Йорка с настоящими и выдуманными историями криминального мира. С безработными, наркотиками, полупустыми, словно после эпидемии, домами, с окнами, закрытыми фанерой или картоном вместо стекол, множеством подростков, которым просто нечем заняться. За внешне спокойным ритмом современного Гарлема спрятана напряженная ночная жизнь его обитателей с воистину удивительными историями. Что в «Оде королю Гарлема» сказал нам Лорка? Наивный вопрос – да ничего он не сказал, Лорка преподнес свою модель Гарлема, увиденную через поэтическую фикцию.

Надо убить белобрысого торговца водкой
и всех любителей яблок и пляжей
и ударить кулаком по фасоли,

пузырящейся в клубах пара,
для того чтоб король Гарлема пел со своей свитой,
пока в песке мягком спят крокодилы
под асбестовой массой лунного света…

(Перевод Инны Тыняновой)

Недавно я услышал весьма интересную в этом смысле историю: будто американца, путешествовавшего по Индии, в одном селе подростки засыпали вопросами об Америке. И тот, не найдя ничего лучшего, чтобы объяснить, что такое Америка, бросил, на первый взгляд, банальную фразу: *Harlem, baby, Harlem.*

Гарлем в конце 20-х годов считался афро-американским Парижем, тут возникали джаз-клубы, кабаре, где создавалась своеобразная музыкальная культура, собиралась богема, гомосексуалисты. Для Лорки Гарлем был самым интересным местом Нью-Йорка, именно после нескольких недель пребывания в городе он написал «Оду королю Гарлема».

Где сегодня король Гарлема? И был ли он? Почему король Гарлема Лорки в одежде швейцара (*«с королем твоим пленным* в *одежде швейцара»*)?

б) Панорама толпы, которую рвет
(Сумерки на Кони-Айленд)

Сегодня на Кони-Айленд можно добраться поездами W и Q, F, N, проезжая разные кварталы, в основном двух- и трехэтажные дома из коричневого кирпича, построенные по крайней мере 70 или даже 100 лет тому назад, стандартные, вперемешку с частными двухэтажными деревянными. Станция «Стилвел авеню» – конечная, тут уже слышно соленое дыхание океана, тут городские пляжи с деревянным *boardwalk'ом*, по которому при хорошей погоде прохаживаются тысячи людей, соседствуют с игровыми аттракционами с обязательной американской горкой и десятками забегаловок, где на скорую руку вам приготовят *hotdog, popcorn*, а также кварталом двадцатиэтажных трамповских домов – образчиков урбанистической безликости и стандарта.

Самое интересное место, которое удалось тут найти, – стихийный *flee market*, где благодаря всевозможным никчемным вещам (от одежды до диковинных приспособлений) можно проследить историю моды или развитие бытовой техники начиная с 70-х годов.

Возле старого, совсем поржавевшего *вэна* сидит и курит его хозяин, заросший и, должно быть, давно не мывшийся. Его машина облеплена велосипедами разных цветов и форм: женских, мужских, детских, с антикварными деталями к ним – рулями, колесами, пластиковыми ручками к рулю, педалями.

Узнав, что я из Украины, хозяин возбужденно рассказывает мне, что он – заслуженный тренер СССР по велоспорту и завтра (по моему желанию) соберет такой велосипед, какого никто никогда не имел и какого не купишь в самом крупном супермагазине. Глядя на старые велосипеды и запасные части к ним, хаотично разбросанные вокруг его *вэна*, я вполне уверен, что свое обещание этот тренер выполнит.

Наверное, Кони-Айленд во времена Лорки производил гнетущее впечатление. Тогда он считался бруклинской околицей, поэт увидел здесь *«панораму толпы, которую рвет (сумерки на Кони-Айленд)»*.

Это трупы, я знаю, трупы
и останки слезящихся кухонь, в песок зарытых,
мертвецы, и фазаны, и яблоки канувших лет —
они-то и хлынули горлом.

(Перевод Анатолия Гелескула)

в) Бессонный город

(Ноктюрн Бруклинского моста)

Сегодня также можно повторить за Лоркой, что Нью-Йорк – это город без сна, город, двигающий своим телом 24 часа в сутки: метро работает круглосуточно, некоторые лавки, кофейни или ресторации – тоже, естественно, как и работники разных городских служб, туристы околачиваются всегда.

С некоторых пор топонимику городов сопровождают знаки, без которых эти города теперь не имеют смысла (как Париж без Эйфелевой башни или Нью-Йорк без Бруклинского моста). Обращаясь к поэтике Лорки, Бруклинский мост можно было бы сравнить с огромным крокодилом, который соединяет Манхэттен с Бруклином или Бруклин с Манхэттеном. На самом деле – это не крокодил и даже не монстр, а довольно интересное архитектурное сооружение, которое в свое время было едва ли не самым оригинальным словом в мостостроительстве (впредь без Бруклинского моста не обходилось никакое мифотворчество Нью-Йорка). Он врос в нью-йоркский пейзаж, словно сережка в ухо современного панка или «металлиста».

Собственно, в тексте Лорки «Бессонный город (Ноктюрн Бруклинского моста)» даже намека на Бруклинский мост нет, в тексте его словно не существует, поскольку сам текст – это эмоциональный стресс, выброс, выхрип поэта при виде зависшего между двух берегов металлического ящера – Бруклинского моста.

Погасшие огни большого города

(Лирическое отступление)

В последнее время Нью-Йорк напоминал многим его жителям прифронтовой город. Правда, никто так и не определил эту линию фронта, которую начертили два самолета, вошедшие в пике на глазах всего утреннего мегаполиса. (А может, те линии чертились на горячем песке какой-то азиатской пустыни автоматом Калашникова?) В конце концов, представить Нью-Йорк городом, в который заползает незримое ощущение ужаса, просто невозможно…

Внезапно погасший компьютер…

Автополоса в направлении Бруклина на Бруклинском мосту

перекрыта для машин и освобождена от пешеходов. Тысячи людей идут по мосту. Жара, близится вечер, садится солнце.

Надвигается темнота. Даунтаун почти не освещен. Со стороны Манхэттенского моста тоже видны потоки людей и машин (подсвечивая фарами, машины разрежают таким образом тьму). Слышно, как многотысячная толпа медленно бредет по мосту: люди топчут пластиковые бутылки, тяжело дышат.

Постоянно пьют воду. Посреди моста какие-то чудаки оживленно продают, рекламируя, CD. Много беременных женщин, детей, пожилых… Порой ловишь себя на мысли, что это похоже на эвакуацию, какое-то великое переселение народов, принимая во внимание нью-йоркскую этническую пестроту…

Коп сидит на мотоцикле, включив свет мощной фары, разговаривает по рации. Двое 80-летних стариков дальше идти уже не могут, нуждаются в помощи. Коп начинает быстро переговариваться, похоже, вскоре придется заказывать уже погребальную службу…

На выходе с моста кто-то с мегафоном в руке, став на бетонированный парапет, успокаивает толпу, мол, это только временная энергетическая проблема, не связанная с терроризмом…

Сходим с моста. Людей не становится меньше. Повсюду полицейские. Работники метро, волонтеры, регулирующие движение. Светофоры, ясное дело, не работают.

Поток людей не уменьшается, направляется к главной улице, там едут машины, а это хоть какой-то свет. Некоторые останавливаются, предлагают подвезти за 20 долларов.

Кое-где работают частные лавочки, они заполнены свечками или фонариками. Тут можно купить воду или какой-нибудь напиток, бутылки выглядывают, словно рыбы из теплой воды. Продается разная еда.

Повсюду фонарики, а еще – выставленные для отдыха кресла и табуретки. Все угнетены общим несчастьем. (Позднее я вполне законно купил футболку с надписью: «Я пережил историческое затмение», как только она появилась на лотках мелких нью-йоркских торговцев.)

Парадоксальным образом Лорка и Нью-Йорк продлили свою взаимную симпатию: в 1940 году родители Федерико Гарсии Лорки, его брат, две сестры, племянники и племянницы, оставив Испанию, некоторое время жили в Нью-Йорке. Отец дон Федерико Гарсия Родригес умер в Америке в 1945 году, а семья Лорки вернулась в Испанию только в 1951-м.

Что общего между Паундом и Лоркой? Кое-кто считает, что

этим общим знаменателем был имажизм. На этом, наверное, и заканчивается сходство и начинаются существенные отличия.

Если для Лорки Америка и Нью-Йорк были прежде всего другим пространством, то для Паунда, рожденного в Америке, эта страна стала скорее мачехой, а он – ее пасынком. Отличия состоят, однако, не только в мифологизации жизни одного и другого, в определении некой имманентной связи со своим временем, вне творчества и творческой деятельности, что привлекает и другие, сугубо человеческие страсти и склонности.

Нью-Йорк Лорки всегда можно обнаружить за названиями нью-йоркских кварталов, джазовых клубов и ресторанов.

В то время как Паунд вносит больше европейского шарма: то ли с английских зеленых холмов, то ли из французских художественных салонов, в которых перемешались масляные краски художников, выпитое вино, итальянские приморские пейзажи Рапалло, скрежет металлической клетки в Пизе.

Имя Паунда всегда будет сопровождать скрежет металлической клетки.

2005

Венецианский лев

Об Иосифе Бродском

Начну с того, что холодной весной 2008 года, сидя на веранде итальянского ресторана в манхэттенской Малой Италии с Евой Гофман, мы разговаривали о разных мелочах.

Ева попивала джин с тоником, а я – пиво. Ева – бывший редактор «The New York Times», писательница и эссеистка, тринадцатилетней девочкой выехала с семьей из Кракова в Ванкувер, что впоследствии отразилось на ее опытах в новом языке. И как оказалось, она некоторым образом связана с Тернопольщиной.

Заговорили об Иосифе Бродском. Случайно или нет, но мы обменялись парой слов о поэте, который, кстати, жил неподалеку – на Мортон-стрит, 44. Неподалеку – ясное дело, метафора, хотя не такая уж и гиперболизированная, поскольку Малая Италия соседствует с Сохо, а тот, в свою очередь, соседствует с Гринвич-Виллидж, а это действительно через несколько кварталов.

Ева, между прочим, вспомнила недавний случай со своими студентами из Хантерского колледжа, где она преподает как приглашенный профессор. К одному занятию она раздала тексты, которые, по ее мнению, могли бы лучше всего иллюстрировать тему памяти. Среди них было и эссе Бродского «Полторы комнаты», написанное в свое время по-английски. К большому Евиному изумлению, оказалось, что часть ее студентов о Бродском ничего не слышала. После этого мы, сетуя, поговорили о времени и памяти или о чем-то подобном. Официант принес счет. И, распрощавшись, мы отправились кто куда (совершенно нью-йоркское завершение встреч: раствориться, как сахар в кофе).

Часто бывая в «Cornelia Street Cafè», я однажды решил-таки посмотреть, где ж эта Мортон-стрит, на которой длительное время жил поэт. (Не могу сказать, что получаю особое удовольствие от посещения мест, связанных с громкими именами.) Удержаться от искушения увидеть Мортон-стрит после семи лет моих постоянных выступлений в «Cornelia Street Cafè» я не смог. Выяснилось, что от «Cornelia» до Мортон-стрит не больше пяти минут. Надо перейти Бликер-стрит и Седьмую авеню – и сразу попадаешь в изогнутое колено Мортон-стрит.

Дом номер 44 на этой улице – четырехэтажный, из красного кирпича. Ко входу ведет крутая лестница, бросается в глаза псевдогреческий стиль свежеокрашенных парадных дверей.

Никакой мемориальной доски нет, а случайные прохожие (улочка действительно тихая и пустынная), не задерживаясь, идут себе дальше.

Трудно сейчас выяснить, что привело Бродского именно сюда: случай или чей-то совет. Возможно, выбирая себе нью-йоркское жилье, он учитывал и цены, и удобства – центр Манхэттена, множество кафе и ресторанов, рядом – Гудзон. А еще пейзаж – что-то европейское, незримо европейское тут все-таки есть. Или, может, это всего лишь самовнушение европейцев, чтобы оправдать свой выбор Америки?

В «Русском самоваре» на 52-й улице в Манхэттене – ресторане, владельцами которого в свое время были Иосиф Бродский, Михаил Барышников и Роман Каплан, – время от времени на втором этаже происходят поэтические чтения.

На первом – сам ресторан. Слева – гардероб, справа – стойка бара лягушачьи-зеленого цвета. (И – что привлекает наибольшее внимание – колоннада огромных бутылей с водкой разных сортов.) Затем – белый рояль, за которым играет Саша Избицер. Справа – кирпичная стена с фотографиями знаменитостей, посетивших этот ресторан, – от Беллы Ахмадулиной до Милоша Формана.

Так вот, на втором этаже, в прямоугольном зале, где нью-йоркская русскоязычная публика собирается для чтений, в углу, слева на столике под самоварами – бронзовая статуэтка Иосифа Бродского. Собственно говоря, это повторение известной фотографии – когда Бродского застигли посреди улицы, с портфелем под мышкой, обмотанного шарфиком, трепещущим на ветру, как и полы длинного плаща. Динамика фигуры поэта довольно точно передает его поспешность и, наверное, несколько нервное настроение.

Я люблю устроиться вечером возле этой статуэтки в мягком кожаном кресле, которое скрипит сухим деревом.

Запрещенный Бродский

Возможно, имя Бродского мое поколение услышало в начале перестройки, когда московский журналист Генрих Боровик показывал по ЦТ фильм о еврейской эмиграции в Израиль и Америку. Фильм был явно пропагандистский: одна семья из Израиля со слезами на глазах умоляла советское правительство вернуть им гражданство, уверяя, что они бы пешком возвратились назад. В Америке, как показывалось в этом фильме, пенсионеры пересматривают советское кино на видике, а богемная молодежь,

читая заголовок газеты «Правда», прикалывается: «Прав-да-да-да». Журналист комментировал: мол, посмотрите, что за подонки покинули нашу славную страну. Но один из этих «подонков» сказал: «Собственно говоря, кому тут в Америке нужна русская литература? Ну Солженицын, ну Бродский…» Так впервые, во всяком случае для меня, прозвучало имя поэта. Тогда, естественно, я не мог знать ни о его судебном процессе, ни о ссылке в деревню Норенскую, ни об обстоятельствах выезда в Америку, ни об Одене, ни о его стихах или эссе.

Запрещение Бродского полностью оправдывало систему, которая на всех, кто ей так или иначе не покорялся, накладывала табу. Такое табу было и на имени Иосифа Бродского.

Изгнанник, которого вынудили выехать из СССР, навечно, казалось, был вычеркнут из русской культуры. Со временем, после присуждения Бродскому Нобелевской премии, в Советском Союзе началось увлечение поэтом. Иосиф Бродский становился фигурой, не отделимой от нобелевского ореола.

Позднее, когда были опубликованы записи его процесса 1964 года, воспоминания о ленинградском периоде его жизни, материалы о непростых любовных отношениях с Марианной Басмановой, общении с Ахматовой, когда стало известно его отношение как поэта к Мандельштаму и Цветаевой, а также о встрече с Оденом и некоторые фрагменты его американской жизни, – все это углубило мое убеждение, что вне текстов существует другой Бродский, интертекстуальный, который, хочешь не хочешь, дополняет Бродского-поэта, а утверждение, будто бы вся биография какого-либо поэта – в его стихах, все-таки правда лишь наполовину, а то и на четверть.

Справедливости ради следует сказать: отсутствие публикаций Бродского в Советском Союзе компенсировалось тем, что на Западе, который особенно следил за неофициальной литературой, стихи и книги поэта появлялись в переводах.

Да и в самом деле: на что, по мнению советского обывателя, мог рассчитывать поэт, который отбыл ссылку, некоторое время принудительно находился в психушке, фактически нигде не работал, общался с иностранцами и вращался в сомнительных кругах ленинградской богемы, за которой пристально следил КГБ (хотя диссидентом Бродский не был).

Если искать какие-то аналогии, то первым приходит в голову Василь Стус. Почему? Ну вследствие определенных совпадений и отличий. Хотя Стус совсем не похож на Бродского, они – люди одного поколения; кроме прочего, моральные установки и поэтика Бродского и Стуса похожи тем, что оба отказались от какого бы то ни было заигрывания с властью, отбросили идею

компромисса, погрузились в глубинные слои поэтического слова. Поэтому во многих стихотворениях Стуса и Бродского преобладает культурологический элемент, абстрактные и экзистенциальные понятия, ощутима склонность к философскому препарированию действительности, проблемам выбора пути, взаимоотношения поэта и власти… Сходство просматривается и в том, что как Бродский, так и Стус вели диалог с Р.-М. Рильке – поэтом, который и для европейского модернизма, и для них обоих является фигурой знаковой. Бродский написал эссе «Девяносто лет спустя», проанализировав стихотворение Рильке «Орфей, Эвридика, Гермес», а Стус переводил Рильке.

А что же их разъединяло? Во-первых, у одного – ленинградское, у другого – донбасское детство, интеллигентское и крестьянское происхождение, еврейство и украинскость в обстоятельствах истории и империи. Взгляд на историю у Бродского – это фрагментарная еврейская история или намек на нее («Еврейское кладбище», «Еврейская птица ворона…»), ветхозаветные темы («Бегство в Египет»), персонифицированная эллинская и римская эпоха, культура исчезнувших империй, современность («На смерть Жукова», «Стихи о зимней кампании 1980-го года»).

В то время как Стус историю часто выводит из поражений («Столетье, как погибла Сечь…» («Сто років, як сконала Січ…»), «По летописи Самовидца» («За літописом Самовидця»), «Трены Н. Г. Чернышевского» («Трени М. Г. Чернишевського»)), и этим объясняется его отношение к империи. Поэтому их стихи, в которых прямо или опосредованно звучали «имперские» мотивы, разводят обоих поэтов по разные стороны баррикад. Еврей Бродский и украинец Стус по-разному видели империю, свое отношение к ней и в конце концов – ее будущее. Для Бродского трансформация империи из СССР в постсоветскую Россию – абсолютно естественна. В случае Стуса все гораздо сложнее. Я не уверен, что он склонялся к отторжению Украины от России, но он считал, что исторические «полюбовные» отношения России и Украины на каком-то этапе должны были прерваться до того момента, пока Украина не освободится от этой навязанной «любви». Поэтому империя, хоть и отвергала поэтическую позицию Бродского, при посредничестве русского языка и культуры воспринимала поэта как «своего» преступника (того, кто сбился с правильного пути). Стуса же, при любых обстоятельствах, империя считала преступником-чужаком, посягнувшим на святая святых ее существования. Таким образом, исходя из вышесказанного, никакая возможность изгнания за пределы империи Стусу не светила, он был обречен на

уничтожение.

В том, что Бродскому «повезло», у меня нет никакого сомнения. Повезло со ссылкой, потому, что о нем узнал Запад, повезло с окружением, так как оно в определенной степени повлияло на него (Ленинград, Ахматова), повезло с Америкой (опять-таки круг знакомых и окружение – Оден, Милош, Пас, Зонтаг, Стренд, Хект, Уолкотт). Понятно, что все эти элементы «везения» ломаного гроша не стоили бы, если бы не его поэзия.

Бродский-поэт

После первого прочтения нескольких стихотворений Бродского мне показалось, будто меня обожгло электрическим током. Его поэтика не походила ни на одну из предлагаемых российскими шестидесятниками – это не был мелос Ахмадулиной, или футуризм/авангардизм Вознесенского, или евтушенковская публицистика. Природа поэзии Бродского определенно отличалась от устоявшихся и признанных поэтик его современников. Ныне целые трактаты посвящены влиянию на Бродского Евгения Баратынского и Джона Донна, отмечено, как его творчество развивало российские традиции ритмики и мелодики. Важным, по моему убеждению, у Бродского является чувство идеи в поэзии – ее метафизический сплав с иудейской и христианской основами. Кстати, показательная примета идиостиля Бродского – его концептуальный подход к составлению собственных книг: иногда возникает впечатление, что он не подбирал отдельные стихи в сборник, так или иначе перетасовывая их, как карты в колоде, а, наоборот, писал эти стихи, исходя из конкретной концепции и общей идеи.

Вот почему Бродский – поэт иного звучания, тембра и мелоса, поэт города и экзистенции человека и природы, поэт персонализированной истории с культурологическим подтекстом. Это в конце концов роднит его с современниками – россиянами или такими славянскими поэтами, как Милош, Херберт, Шимборская, Стус, и англоязычными поэтами – прежде всего маргинальных территорий, где история (империя и колония) до сих пор занимает почетное место в коллективной и индивидуальной памяти (к примеру – с Дереком Уолкоттом или, в несколько меньшей степени, с Шеймусом Хини). Роднит с ними и в то же время противопоставляет им.

О своих ленинградских пейзажах Бродский рассказал в известном эссе «Полторы комнаты». Выбор языка был совершенно осознанным – по Бродскому, именно английский способен

сохранить текст от эрозии времени. Полторы комнаты – это то пространство, которое выделила советская власть семье фронтовика Александра Бродского и в котором вырастал и формировался будущий поэт. Правда, эссе Бродского скорее посвящено памяти, чем пространству. В тексте он усиливает нерв вины – перед родителями (которых так никогда и не выпустили в Америку к сыну) и мускул памяти – на предметы, которые окружали его в этих комнатах, на запах коммуналок, их жильцов, пространства улиц, архитектуру церквей, напрягая этот мускул, как тетиву, на теперешнее свое состояние жителя Америки, испытывая его на прочность.

Город, в котором Бродскому выпало взрослеть, – город империи, что в первую очередь проявляется в архитектуре, этой визуальной интервенции городского пейзажа, чье величие и мощь влияют на подсознание, минуя советские пролетарские стереотипы. Это не могло не отразиться на симпатиях Бродского.

Для Бродского в поэзии было важно не так самовыражение, как нечто другое. Форма его текстов достаточно традиционная, хотя он новаторски расшатывал ее в самой конструкции строфы, пользуясь анжамбманами, возможностями звуковых регистров русского языка, перетасовывая пейзажи, ощущения, интеллектуальные раздражители. Бродский творил в эпоху, когда самые крупные славянские поэты, прежде всего поляки (Милош, Херберт, Ружевич, Шимборская), не отягощенные ни рифмой, ни ритмом, краеугольным камнем своей поэтики также считали историю – память – время. Их персонифицированная история отличалась от русской, хотя нация, которую они олицетворяли, пережила не меньшие катаклизмы.

Империя по Бродскому

Одной из причин написания этого эссе было не только желание еще раз перечитать Бродского вслед за Иреной Грудзинской-Гросс и Львом Лосевым, которые почти одновременно издали книги о Бродском, написанные на польском и русском языках. И не только желание привнести что-то свое в бродсковедение, но и проблема, которой упомянутые авторы не избегают, но и не до конца ее решают, – стихотворение Бродского «На независимость Украины».

А побудила меня к этим заметкам совсем простая вещь: в Интернете я наткнулся на статью «Шок от Бродского», опубликованную на сайте Sem40, в которой автор Соня Т. описывает скорее всего последнее публичное чтение Бродского в

Нью-Йорке в 1995 году. Делится своими впечатлениями о вечере и рассказывает, что, когда поэт прочел это стихотворение, она в знак протеста встала и вышла из зала.

Грудзинская-Гросс отмечает, что «о его российском патриотизме свидетельствуют также <…> стихотворение “Народ” и другое стихотворение, которое атакует Украину с имперских и великорусских позиций. <…> Это стихотворение он читал Томасу Венцлове, который сообщил мне в беседе, что посоветовал не печатать его».

По моему мнению, мировоззрение Бродского слишком противоречиво и сложно, чтобы сгоряча расставить исчерпывающие акценты, которые бы удовлетворили всех. Речь идет в первую очередь не о его поэтических и эстетических симпатиях и антипатиях, не о сугубо человеческих недостатках или достоинствах, а о мировоззрении, с позиций которого он обозревал мир, комментировал политические и ежедневные события. Тут кроется сложная проблема: как можно отделить у Бродского или у кого-либо другого собственно эстетические ориентиры от общественных, сугубо человеческие симпатии от привычных и общепринятых политкорректных взглядов?

Казалось бы, для Бродского, пострадавшего от империи, которая «запихнула» его в ссылку, не давала возможности ощущать себя поэтом и позднее не желала поступаться своими принципами, не позволяя родителям посетить в Америке единственного сына, – любое поражение этой империи, ее развал, ее смерть должны были вызвать восхищение или хотя бы чувство личной победы, а не желание эту империю защищать.

Независимость Украины действительно стала смертью империи (как бы последняя ни пыталась ее остановить).

С каких позиций Бродский старается взглянуть на Украину? С позиций русского интеллигента-патриота? Западника/ славянофила? Космополита?

И еще одна проблема, которую тоже непросто прояснить, но относительно легко очертить. Находясь в Америке, где все так политкорректно, общаясь с друзьями, которые приехали с комплексом жертв коммунизма (Милош) или колониализма (Уолкотт), Иосиф Бродский в стихотворении «На независимость Украины», по сути, пренебрегает всеми правилами этикета.

Он производит текст, который в случае авторской публикации четко определил бы его позицию не только относительно Украины, но и Литвы и Польши – стран, которые он действительно любил и с представителями культур которых дружил.

С одной стороны, Бродского, как носителя русского языка и

культуры, ничто не обязывало любить Украину (хотя, как свидетельствует его фамилия, предки Бродского со стороны отца были выходцами из города Броды). Таким образом, некоторый сантимент он мог бы иметь, но – не имел. Поскольку, как он сам свидетельствует, в его семье почти не вспоминали о жизни до революции – ясно, почему. Наверняка и никаких семейных преданий о далеких пращурах на Волыни (в составе Польской Короны) Бродский не слышал, хотя об украинско-еврейских взаимоотношениях на протяжении нескольких столетий был достаточно информирован. Допускаю, у Збигнева Херберта было больше оснований написать об украинцах и Львове, в котором он вырос и пережил Вторую мировую войну, – фактически Херберта можно было бы считать поэтом пограничья с надломленной идеей Кресов и комплексом поражения.

Возможно, и Чеслав Милош, другой поэт другого пограничья, имел не меньше оснований обвинить Литву в желании отделиться от Союза и не присоединяться к Польше (но это похоже на нелепую шутку).

Собственно говоря, на конференции 1988 года в Лиссабоне, будучи приглашен туда вместе с Милошем, Рушди, Зонтаг, Бродский прежде всего стоял за Россию не просто как за империю культуры, а как за политическую империю, плохо разбираясь в проблемах Центральной Европы и ее исторической и духовной роли, – позиция, которая вызвала у его коллег резкое неприятие. Конфликт старался сгладить Дерек Уолкотт, однако о европейских делах он был не очень хорошо осведомлен. (Таким образом, поэты бывших империй и пограничья не совпадали в оценках тогдашней ситуации.)

Понятие империи в стихах Бродского довольно часто фигурирует в греко-римском контексте. Эта классическая модель вызывает у поэта если не восторг, то, во всяком случае, уважение (допускаю, что не из-за завоевательных походов, бесконечных войн и захвата новых территорий, а благодаря культуре, которой может гордиться любая империя).

Советская империя гибнет, откалывается значительная ее часть – Украина, и это вызывает у Бродского соответственную реакцию. Еще раньше, в 1985 году, он вступил в полемику с Миланом Кундерой. И что бы ни писали о ней (в частности, российские интерпретаторы), очевидно и бесспорно одно: сошлись в поединке две противоположные мировоззренческие системы, олицетворенные Кундерой и Бродским, – Европа и Азия, рациональная европейская мысль и азиатская эмоциональная расхристанность с ее мистикой и погружением в тайные закоулки человеческой души. У Кундеры самая мысль о России вызывает

ощущение угрозы: Россия ассоциируется у него с агрессивностью и воинственностью. И если центральным объектом полемики Бродский избрал Достоевского и на нем строил свои аргументы против Кундеры, то это свидетельствовало лишь о наименее удачном способе свести счеты с историей и культурой. А если бы Кундера начал в ответ защищаться Кафкой?

Можно согласиться с мыслью Ирены Грудзинской-Гросс, которая считает, что Бродский родился и вырос в одной империи (СССР), жил в другой (Америка) и нашел вечный покой в третьей (Римская). Это не отменяет того, что Бродский по-человечески мог симпатизировать бывшим имперским околицам – Польше или Литве, а другие не воспринимать, скажем, как в нашем случае – Украину.

Поэты Бродского

Бродский часто говорил о поэзии и творил свой канон из имен поэтов, важных для него (тем самым он был причастен к распространению мировой славы Цветаевой и Мандельштама), внимательно следил за качеством переводов поэзии Ахматовой на английский, резко выступал против убогих интерпретаций ее творчества.

Конечно, Пушкин, Баратынский, Пастернак, Заболоцкий и вышеназванные поэты составляли основу его поэтических предпочтений, как и Джон Донн, Оден, Фрост. Нигде, ни одним словом он не упомянул о нью-йоркской школе – Аллене Гинзберге, Лоуренсе Ферлингетти – это было явно не его.

Интересна для меня и кое в чем показательна строфа, в которой Бродский противопоставляет «строчку из Александра» и «брехню Тараса», главных поэтов двух наций, которые тоже пострадали от империи. Пушкин отбыл южную ссылку, а Шевченко досталось более суровое наказание – солдатчина в оренбургских степях. Бродский, который сам отбыл ссылку в Архангельской области, а перед тем – заключение, не мог не сравнивать (если вообще об этом думал) своих ощущений периода заключения и ссылки с шевченковскими. Как поэт, Бродский мог бы интуитивно, даже не читая цикла «В каземате», понять, что в определенном смысле повторяет судьбу Шевченко столетие спустя. В то же время у Бродского неприятие Шевченко не просто выкроено из клише о «революционере-демократе» или «народном самородке» – тут, наверное, все гораздо глубже. К слову, Пушкин тоже был против независимости Польши, хотя и приятельствовал с Мицкевичем.

Так в чем же «брехня Тараса»?

Мы договорились встретиться с Мариной Тёмкиной на одном из чтений в «Русском самоваре». Собственно говоря, из этого ничего не получилось, потому что кто-то привел студентов, зал был неимоверно переполнен, и мы с Мариной, лишь кивнув друг другу, перенесли наш разговор в другое место и на другое время.

Из нашей с Мариной электронной переписки следовало, что она была близко знакома с Бродским, переводила на английский его эссе, была в курсе подробностей жизни поэта в Нью-Йорке. Марина пригласила к себе. Она жила в районе Челси, поэтому я перешел от 14-й улицы, специально повернув на 23-ю, чтобы увидеть отель «Челси», фасад которого обвешан мемориальными досками, как ветеран – медалями и орденами.

Марина, поставив на стол приборы и тарелки, быстро приготовила ужин, а сыр, бутылка французского вина и подсвечники со свечами занимали свое почетное место на столе еще до моего прихода. Тихая нью-йоркская улочка, казалось, отворачивалась от шума, который слышался с Седьмой авеню.

От Марины я узнал о приезде сына Бродского в Нью-Йорк, о смерти Бродского в Бруклине, в районе Проспект-Хайтс, в доме, который он купил и куда переехал с семьей, – опять-таки, случайно или нет, но тут в свое время обитали Уолт Уитмен, Томас Вульф, У. Х. Оден, Артур Миллер, Трумен Капоте, Норман Мейлер.

И когда я спросил Марину, что она думает о стихотворении «На независимость Украины», она со свойственной ей какой-то просветленной тоской сказала, что эта антиукраинскость объясняется травмами еврейства в постхолокостовский период (дескать, Польше и Литве Иосиф простил).

Мне тогда припомнился эпизод из разговоров Соломона Волкова с Бродским, когда речь шла об Италии. Бродский вспомнил Эзру Паунда в связи с посещением Ольги Радж. Бродский находился на каком-то фестивале вместе со Сьюзен Зонтаг, которая случайно встретила пожилую подругу Паунда и попросила Бродского составить ей компанию. В беседе, как вспоминает Бродский, Радж весь вечер опровергала недоразумение, будто бы Паунд был фашистом и антисемитом, и наконец Зонтаг резонно заметила, что не может с этим согласиться, поскольку тогда Паунд становится похожим на Токио Ровз – коллаборационистку и авантюристку, которая тоже вела пропагандистские радиопередачи (правда, из Токио), нацеленные на американских солдат, воевавших с японцами.

На запись передачи на «НТВ-Америка» я ехал сквозь шквальный дождь и ветер вдоль Гудзона. Дорога была пустынна,

одинокие машины, обгоняя, обливали до самых окон мою «тойоту». В студии, когда камеры зажгли свои красные глазки, мы с ведущим Михаилом Гусевым побеседовали о многом и дошли до Бродского. Ведущий решил спросить меня о его стихотворении, оговорившись сразу, что если бы такое написал не Бродский, то, дескать, об этом и вспоминать не следовало бы (возможно, и не следовало бы).

Почему Бродский несправедлив к Шевченко?

Шевченко не принадлежал к числу любимых поэтов Бродского.

Биография Шевченко, если и была известна русскому поэту, то, наверное, в общих чертах. Хотя, как это ни парадоксально, Шевченко и Бродский косвенно связаны, по крайней мере несколькими аспектами: оппозиционной парадигмой «поэт и власть», арестом, ссылкой, притеснениями властей, запретом (для одного – писать, для другого – печататься) и местом (во времена Шевченко это – Санкт-Петербург, во времена Бродского – Ленинград). В некоторой степени их также связывает язык: ведь и Шевченко писал по-русски стихи и прозу.

В стихотворении «*На независимость Украины*» Бродский в последней строке, наряду с длинной тирадой, изобилующей историческими реминисценциями, обращается к поэзии как наивысшему приговору истории и обозначает его двумя именами – Пушкина и Шевченко. Для Бродского это абсолютно характерное и оправданное завершение: считая поэзию высшей формой искусства, а язык – высшей формой поэзии, он никак не может ограничиться всего лишь историей или собственными эмоциональными оценками. Пушкин и Шевченко – те личности, с помощью которых Бродский обосновывает свое опровержение независимости Украины, измеряет ее целесообразность. Не потому ли нейтрально-позитивное высказывание о Пушкине и крайне негативное – о Шевченко экстраполируется на весь ряд, который стоит за этими именами? Бродский расценивает «брехню Тараса» не только с позиций поэтических либо же эстетических симпатий или антипатий (ведь неизвестно, какие произведения Шевченко он читал и читал ли вообще). Возможно, он представлял его творчество в целом, может, читал что-то из советской прессы о праздновании сотой годовщины со дня смерти в 1961 году, мог знать какие-то хрестоматийные стихотворения Шевченко. Достаточно ли этого, чтобы сказать, что всё у Шевченко – ложь, что его украинская история или украинский

взгляд на историю – миф, что бинарная оппозиция шевченковским играм с историей и мифологией («Сон» или «Кавказ») – это пушкинская «Полтава»?

«У материала, которым поэт пользуется, своя собственная история – он, материал, если хотите, и есть история».

Пушкин, к слову, принадлежал к «списку» Бродского. В ахматовском окружении Пушкину, как правило, предоставляли почетное место, к тому же Царское Село, Петербург, Мойка – все это усиливало пушкинское присутствие в разговорах о стихах и поэтах. На нью-йоркской фотографии, сделанной Марианной Волковой, – Бродский, словари, печатная машинка и бюст Пушкина.

Бродский в разговоре об Ахматовой формулирует такую модель: Рейн – это Пушкин, Бобышев – Дельвиг, Найман – Вяземский, а он, Бродский, – Баратынский. Вышеупомянутая Ирена Грудзинская-Гросс находит пушкинские мотивы у Бродского, указывая в первую очередь на мотив Овидия и империи кишиневских стихов Пушкина, на пушкинские аллюзии в поэме «Зофья». Она вспоминает, что, по мнению Бродского, у поляков было врожденное стремление к независимости. Почему он не видел этого стремления у украинцев? Не хотел? Не мог?

Статья Бродского в «The New York Times», вызванная публикацией Милана Кундеры о природе тоталитаризма, о пражских событиях 1968 года, о Достоевском, пронизанная антирусскими настроениями, имела полемический заголовок «Почему Милан Кундера несправедлив к Достоевскому?». Понятно, что таким образом поставленный вопрос был направлен на поиск аргументов через контраргументы. Кундера не нападал на русскую культуру, он только выразил свои чувства – центральноевропейца, который ощущает экспансию русской культуры и воспринимает ее как смертельную угрозу (даже если эта культура освящена именами Достоевского и Толстого). Реакция Бродского как представителя этой культуры, имперской по своей сути, которая вторгается танками на улицы Праги, была направлена прежде всего на защиту себя как поэта, комфортного ощущения этой культуры и ее содержания. Это – защита индивидуального комфорта.

Стихотворение, ясное дело, – не статья, а природа поэтического текста аккумулирует иные интеллектуальные и эмоциональные раздражители. Поэтому «На независимость Украины» – это всего лишь эпизод в сведении счетов Бродского с его жизненными реалиями и политическими убеждениями, которые он выводит на уровень эстетических. Шевченко и Украина, Кундера и Чехия вызывают у него сопротивление,

поскольку содержание этих понятий не соответствует содержанию *его* истории. Полемика в Лиссабоне между Милошем и Бродским относительно Центральной Европы – еще одно подтверждение того, что Бродский не был приверженцем следования правилам хорошего тона (иногда его эмоции доминировали над здравым смыслом).

Наконец, надо заметить, что стихотворение Бродского, в сущности, является провокативным, а не полемическим (полемизировать тут с Бродским не приходится даже потому, что он закрывает за собой на все замки саму возможность полемики). Если это так, то поэт выразил *коллективное бессознательное* определенной части российской интеллигенции, которая занимает относительно Украины подобную позицию. К тому же реанимация таких настроений в теперешней России вышла на государственный уровень благодаря поражению и слабости европоцентричных украинских сил.

Частые посещения Италии открывали перед Иосифом Бродским панораму имперских артефактов травмированной истории с щербатым ртом Колизея, а также панораму Вечного, которое лишь отчасти заглядывает в Нью-Йорк, но постоянно прописано в Венеции с ее наводнениями, с ее стихией, кораблями, пирсами, портовыми кранами, запахами водорослей и криками чаек. Поэт, рожденный в Ленинграде, умерший в Нью-Йорке, нашедший вечный покой в Венеции, как-то причудливо нанизал эти города на нить своей биографии, ассоциируемой с архитектурой и водой, которая раскачивает не только причалившие яхты, но и ритмы истории, волнообразные синусоиды времени, судьбы поэтов и поплавки местных рыбаков.

Иосиф Бродский соткан из противоречий и в поэзии, и в жизни с ее поэтическими мифами, прощаниями и возвращениями, улицами и городами, русским словом и еврейской судьбой. «Меня упрекали во всем, окромя погоды» (я не стремлюсь обвинять поэта Бродского – лишь понять).

Когда его сын гостил в Нью-Йорке, Бродский перед тем, как повести всю компанию ужинать в китайский ресторан в Чайна-тауне (что было совсем близко от его Мортон-стрит), долго решал, ехать на машине или пройтись. Наконец, решили ехать. Но Бродский захотел сделать сыну прощальный подарок и, зайдя в магазин военной одежды, купил дорогую кожаную куртку американского летчика. И сын, и компания были весьма удивлены такой причудой (поскольку на те деньги можно было накупить ворох джинсов, кроссовок и футболок, чего, собственно, хотел и о чем просил сын). Однако Бродский, вручая фирменный пакет с курткой, сказал: «У меня такой куртки никогда не было,

но я о ней мечтал».

Поэты склонны жестоко оскорбляться, ошибаться, не воспринимать очевидные истины, когда их историю заслоняет история других.

После смерти Бродского его любимые венецианские львы становятся немыми свидетелями и хранителями его поэзии. Каналы при лунном свете, словно перстни, поблескивают на старческих руках Венеции, приливы захлестывают Сан-Микеле, и бронзовые львиные крылья отражают приливы, грозящие городу.

Иногда мне кажется, что поэзия все-таки превыше вод, которые надвигаются, как варвары, на бывшую Римскую империю.

2010

Свадебная капуста

От зеленого цвета режет в глазах, а хребты гор пронзают густой, как масло, воздух, и стадо низких туч тянется до самой Черногории.

Прошло уже два дня с тех пор, как мы выехали из Белграда на джипе Еремии и петляем по горным дорогам Западной Сербии. Только Еремия знает, куда мы едем по этим горным дорогам и перевалам. А Радомир Андрич знает, где мы будем ночевать и что будем есть. «В Прилипаце, – говорит Радомир, – нам приготовят свадебную капусту».

На карте автомобильных дорог, которую я приобрел в книжном магазине «Просвета», никак не удается найти этот Прилипац. (Я просто недосмотрел – это, оказывается, карта автомобильных дорог Сербии и Черногории, с окраинами Боснии и Герцеговины, Хорватии, Македонии и Болгарии.) Даже если бы я когда-нибудь взял напрокат машину и захотел проехаться по Сербии, так, наобум, то эта карта мне не помогла бы, поскольку давно уже привык к GPS.

Джип «хюндай» преодолевает километры горных дорог. Ночью приезжаем в какой-то город (оказывается, это Пожега) и селимся в гостинице, долго ужинаем с вином и кофе.

Потом в огромном, пустом, прохладном зале ресторана сидим за полночь с бывшим директором белградского издательства и мэром города. Он спрашивает меня, знаю ли я, что такое *дуня*. «Не знаю», – отвечаю (хотя подозреваю, что это какая-то своеобразная сербская шутка. Какая еще *дуня*?). Директор приглашает посетить его летний дом. Он уже давно на пенсии, а тут, среди гор Западной Сербии, живет летом, выращивая овощи и фрукты для ракии, а виноград – для вина. После нескольких фужеров красного вина директор, вытирая турецкие усы, снова меня о чем-то расспрашивает, на этот раз о Киевской Руси, о православии; сознается, что не видит разницы между украинцами и русскими, а когда я попробовал растолковать ему, в чем же таки эта разница, он обозвал меня хорватом. Я сказал, что не знаю, как смотрят хорваты на эту проблему – различия между украинцами и русскими, но видно было, что вино подействовало на бывшего директора. В горном ресторане мы с ним вроде бы должны были упразднить все исторические обиды и утвердить всемирную

дружбу славян (но, видите ли, без хорватов).

Мы читали стихи и пили вино, жена бывшего издателя курила, а Радомир, словно князь Лазарь, следил за мной и директором, чтобы мы снова не начали словесную перепалку. Радомир, когда тот спросил о *дуне*, оживленно поддержал эту тему, рассказав еще три анекдота, и все мы решили непременно заехать завтра к директору, чтобы увидеть дерево, на котором растет загадочная *дуня*.

Местный поэт приехал на встречу с нами вместе с сыном, мне кажется, его вызвал Радомир, потому что когда 80-летний поэт вынул рукопись своего новейшего сборника и положил перед Радомировой тарелкой, Радомир даже присел. На наших глазах разворачивалась очередная интрига: старый поэт захотел читать свои самые новые стихи и потому потянул рукопись к себе. Публика была как на подбор: официантка, разливавшая нам вино, мэр города, сидевший рядом с бывшим директором издательства, жена бывшего директора, которая курила и разговаривала с владелицей пансионата, Радомир в черном костюме и черной шляпе, молчаливый Еремия, сын старого поэта и я со Светланой.

Я был в наиболее выгодном положении, так как понимал только половину из того, что читал старый поэт, а все остальные за столом понимали всё и молча пили вино. Когда поэт схватил фужер с вином и выпил его, возникла небольшая пауза; кто-то должен был взять инициативу, и это прокуренным голосом сделала хозяйка пансионата. «Не сезон, – сказала она, словно оправдываясь, оглядывая продолговатый зал ресторана. – Надо ждать первых морозов и снега». Поэт поставил на стол пустой фужер, и стихи, которые он читал, перекочевали в портфель Радомира. Разговор за столом снова оживился, – и все (во всяком случае, мне так показалось) с благодарностью посмотрели на хозяйку пансионата.

Но мыслями я находился еще в Белграде. Городу удалось примоститься на холмах и реках, а обнимают его две руки: одна – Дунай, а вторая – Сава. И руки эти водяные, а сердце города – воздушное. Даже если бы я прилетал в Белград каждый год, то никогда бы не смог побывать одновременно на Аде Цыганлии и Скадарлии, или проехаться по всем белградским мостам – Газела, Бранковому, Старому Савскому, Старому и Новому железнодорожным мостам или посетить ресторан «Стенка» на Савском венаци, возле моста Ада, и бар «Муха» на улице короля Петра. Не говорю уж об улочках и переулках старого города, в

которых можно заблудиться.

Для меня незыблемой остается улица Французская, по которой возвращался домой в своем рассказе «Лютня и шрамы» Данило Киш из ресторана Клуба писателей. Как свидетельствует белградская мифология (а она, должно быть, самый достоверный источник информации), Киш в этом клубе в свое время сцепился с писателем Бранимиром Щепановичем.

Тут пили вино Самуэль Беккет, Жан-Поль Сартр, Чеслав Милош, Гюнтер Грасс, американские режиссеры, итальянские и французские актеры; известные на весь мир красавицы и их кавалеры тратили время, свою молодость, воспринимая Белград как запасной аэродром перед Парижем или после его посещения. Вообще *кафана* означает нечто большее, нежели место, где можно перекусить, промочить горло несколькими глотками вина, запивая крепким кофе, подаваемым с водой. Кафана, особенно если сходится вся эта творческая братия, из которой в Белграде можно насобирать целую армию, превращает каждый вечер в смесь разговоров, споров, сигаретного дыма, народных песен.

Эти сербы научились «плавать» по своим Дунаю и Саве с криками, объятиями, поцелуями, при этом постоянно держа ракию или вино в правой руке, а левой размахивая в такт мелодии или обнимая такого же хмельного друга или подругу. Они вспоминают своих князей, свои битвы и поражения, ревниво посматривают в сторону Нью-Йорка или Парижа, превращая жизнь лишь в неуловимую тень, которая прошмыгнет по белградской улице, когда далеко за полночь они разойдутся или разъедутся на такси.

Возможно, именно поэтому ночью, оставшись с несколькими поэтами, увиденными первый раз в жизни, – заваливаешься в ресторан «Стенка» возле моста Ада, напротив острова Ады Цыганлии, от которого отделяет нас сонная Сава. Тьмутаракань рядом с автострадой. Этот ресторан – пристанище белградской богемы; кажется, что его воздух настолько густ от вина и ракии, что сквозь него тяжело прорваться, если захочешь убежать отсюда. Тут играет музыка и читают стихи. В течение нескольких часов вино «Вранац», смешиваясь с воздухом, к которому добавляются клубы сигаретного дыма, превращается в воздушный коктейль с ароматом жареного мяса и форели. За каждым столиком поют, возле каждого – танцуют. Подруги престарелых поэтов, сбросив туфли, ходят по столам под громкий смех,

аплодисменты и сальные комментарии. Обнажая плотные икры, они пытаются соблазнить этих облысевших, с толстыми животами, кавалеров. Общее оживление: заходят несколько цыган из оркестра Горана Бреговича. Неизвестно, где в этот момент находится Горан, но эти зашли, напевая *Месецина, месецина, ой-йой,* – и неистовство продолжается, все вскакивают с мест, танцуют, поют, запихивают музыкантам бумажные динары в карманы, за пояса, бросают в широкое горло бас-трубы.

На этот раз, в сентябре 2013-го, я жил в гостинице на улице Косовской, в два предыдущих приезда – на Теразии (это почти параллельные улицы). Косовская похожа на ученический пенал. Рядом с гостиницей – национальная Кинотека, о которой вспоминает Момо Капор в «Зеленом сукне Монтенегро». Да, в этот раз была Косовская, более узкая, чем Теразия, с серыми домами, но с точно такими же водостоками и воркованием голубей. Правда, окна сейчас выходили не на улицу, а во внутренний дворик, – и противоположная стена с высокими окнами была за каких-то два метра от моих. Улица князя Михаила с галереями и магазинами – это почтовая открытка, блестящая и ламинированная, праздничная конфета, которую предлагает тебе уличный продавец, или фокус, которым тебя заманивает уличный клоун. Направо – поворот на Калемегдан, налево – спуск по крутым улицам. Тебе хочется иметь тысячи глаз и тысячи ушей, чтобы увидеть и услышать этот Белград, и тысячи сердец, чтобы почувствовать его ритм и пульс. И безбрежную память, чтобы запомнить всех поэтов и князей, чьи имена стали именами белградских улиц, и даже тех, которые таковыми не стали.

На улице князя Михаила меня всегда подстерегают неожиданности. На этот раз – в галерее УЛУС выставка Момо Капора и его дочери Ани. Я зашел с «Зеленым сукном Монтенегро» в кармане (начал его читать вчера в гостинице, практикуясь в сербском языке). Лежал в гостинице и читал вслух Капора, параллельно прислушиваясь к произношению телеведущей. По телевизору транслировали утреннюю развлекательную программу. Мне начинает казаться, что там, на высотах Западной Сербии, я увижу то самое черногорское сукно, сотканное из синего воздуха, зеленой хвои и зелено-серых пятен полонин.

Я снимал очки и пристально всматривался в безграничные просторы сине-зеленого воздуха, представляя, что где-то там,

покрытая точно таким же зеленым сукном, лежит Волчья Долина. Может, именно теперь черногорцы перешли в наступление, и Лука Филипов уже ведет пленного Осман-пашу к королю Петру Петровичу Негошу.

В одном из последних интервью – «Моя Россия» – Момо Капор признался, что искусство для его поколения приходило все-таки с Запада, но Россия – вечная любовь сербов. Ничего удивительного, на мой взгляд, все по-сербски.

Это было мое третье посещение Сербии. Со времени предыдущих прошло одиннадцать лет. Одиннадцать раз расцветал тут виноград, и одиннадцать раз бродило молодое вино. Пришли сюда одиннадцать весен, лет, осеней и зим; и дожди смывали пепел войны, который глубоко оседал, как и фундамент, в землю. А сколько раз тушили *свадбарски купус*, никто и не считал.

Свадебная капуста (или *свадбарски купус*) тушилась в большом глиняном горшке, черном от огня, в Прилипаце – небольшом селе Западной Сербии, возле церкви Пресвятой Богородицы. Я смотрел, как тушится свадебная капуста, и боролся с судорожным голодом. Дым пропитанной овечьим мясом капусты уже щекотал мои ноздри и дразнил желудок, подобно коту, который когтем царапал воздух, – он забавлялся паутинкой на пороге дома. Несколько часов назад в горшок – слой за слоем – положили белую сладковатую капусту, а на каждый слой положили слой овечьего мяса. Овцу привез крестьянин, ее вытащили из кузова грузовика. Перед хозяйственными постройками на приготовленном столе сцеживали из нее кровь и разделывали специальными ножами (как раз перед самым нашим приездом).

И Эмир Кустурица ловил ноздрями дым *свадбарски купус* вперемешку с кислым запахом ракии и овечьего сыра, порезанного полосками на белых тарелках. Перед дверями дома, где размещалась колония художников, висела фотография Кустурицы – в рыжей дубленке с кубинской сигарой в зубах, в компании с отцом Миланом Поповичем, который навалился на Эмирово плечо. Этот наэлектризованный батя основал здесь галерею и творческую резиденцию. И потому сигаретный дым и дым от свадебной капусты путается в бородах художников точно так же, как их языки, развязанные ракией. Компания живописцев и мэр города, Радомир Андрич с Еремией и я со Светланой

ждали, когда молодые повара из местной кулинарной школы занесут черный горшок в столовую и начнут накладывать на тарелки, двумя рядами выстроенные на продолговатом столе, слой капусты и слой овечьего мяса; и весь длинный стол начнет трапезу, стуча вилками о тарелки, выстукивая общую мелодию.

В церковном саду вместе с Радомиром я собирал орехи.

Мы нашли подходящую полусгнившую палку возле деревянного тына и колотили ею по ореховому стволу.

Пологий холм порос виноградом, а сад усеян яблоками, грушами и орехами. А под гору, вся в черном – от юбки до платка, – неспешно шла старая сербка. Может, она возвращалась домой, а может, наоборот – шла к кому-то. С клюкой и котомкой. Какая-то неспешная сербская поступь, словно старушка забрала с собой и тот холм в котомку.

Орехи сыпались нам на головы, на спины и катились по холму в долину, к дороге, по которой только что прошла сербка.

Вербас, улица маршала Тито, 87

В вербасовском супермаркете я стоял в очереди, положив в тележку несколько бутылок вина. Возле кассы меня встретила продавщица, на бейджике фамилия – Киш. «Местная венгерка», – подумал я. По-венгерски это слово означает *малый*. Наверное, во всех странах мира можно найти носителей такой фамилии, только звучать она будет по-разному. Может, именно в Воеводине писатель с венгерской фамилией, к тому же полученной от еврейских предков по отцовской линии, чувствовал себя изначально на перекрестке путей и границ. Он выезжал из страны и возвращался, чтобы наконец вернуться в эту землю навечно, завещав похоронить себя по православному христианскому обряду. Речь, конечно же, о Даниле Кише.

На одной из главных улиц Вербаса – библиотека имени Данилы Киша. Почти рядом – Суботица, по-венгерски – Шабадка, город, в котором он родился. Воеводина пронизана воздухом, приходящим, как дожди и снега, из Венгрии и Румынии. Тут две протестантские немецкие кирхи и одна синагога. И кирхи, и синагога – заброшенные, на реставрации. Пологие холмы, теплый климат и плодоносные земли. Немцы, евреи, венгры, хорваты,

буневцы, румыны, украинцы, русины называют этот город по-своему и пишут его название по-своему: *Вербас, Verbász, Werbass, Verbas*. Воеводина, Бачка, словно специально брошенная кость между Венгрией и Сербией, чтобы каждая из стран ревниво смотрела на эту землю, чтобы сошлись эти народы возводить свои храмы и усадьбы на таком малом придунайском пространстве, чтобы сошлись жить, а не умирать. Как объяснить, что земля, которую они обрабатывают с деда-прадеда, принадлежит им, но также и другим? Разве кому-то еще она может принадлежать? Как пояснить немцам, что их села и их кирхи после Второй мировой войны надо было оставить, ведь сюда вместо них придут черногорцы?

Как объяснить евреям и сербам, почему в 1942 году в Новом Саде венгерские нацисты учинили массовые убийства, бросая тела несчастных жертв в Дунай? После войны швабы, которые жили в этих селах почти триста лет, сполна заплатят за политику нацистской Германии: часть окажется в так называемых трудовых лагерях Советского Союза, часть – в югославских. Черногорцы оставят свою страну под небом и придут на эти равнины. А потом немногочисленные албанцы убегут с воеводинских равнин в свои горы. Точно так же, как хорваты.

В 1991 году через Вербас тяжелые танки югославской армии ехали по улице Данила Боёвича, параллельной центральной улице маршала Тито, в направлении Вуковара… Запах крови и дыма доносился и до Вербаса, он вообще был запахом из сумасшедшего дома. Пуль и снарядов было достаточно, чтобы убивать людей и разрушать их жилища. Запах крови созывал авантюристов и искателей приключений со всей Европы. Давние обиды, кровная месть, распад еще недавно внешне спокойной и счастливой страны – превращали балканские холмы и долины в страну смерти и плача. За плечами Европы продолжалась война – Париж и Лондон нервно наблюдали за событиями. Равнинная Воеводина, бывшая окраина Австро-Венгрии, – многонациональная, спокойная провинция – становилась театром военных действий. Круг сужался. Наиболее нестойкое явление на Балканах – это границы и мир.

Вот еще картинка из девяностых годов: женщина, сын которой служит на южной границе с Албанией, это Косово. Они с будущей невесткой выбрались проведать сына и жениха.

Ехали поездом, еле нашли ту воинскую часть. Сначала никак не удавалось узнать, где их солдат (говорили им, что на задании,

что перевели в другое место). Наконец, всего 10 минут свидания – и назад до Воеводины поездом. Вагон был пуст, на одной из станций зашел албанец и был страшно удивлен, что две сербки в это неспокойное время так беспечно путешествуют. Он кричал на них, так как, очевидно, понимал, что эта поездка могла стать последней в их жизни.

Сегодня в Вербасе, возле немецкой кальвинистской кирхи, на скамейках сидят пожилые люди. Они ловят последние лучи сентябрьского солнца, мирно разговаривают о своих делах и жизни. Подолгу стоят, читая бумажные клепсидры, которые вывешивают здесь на деревьях. Ищут знакомые имена и крестятся.

Шевелюра Киша напоминала гриву льва, но взгляд оливковых глаз был грустный и углубленный, с печатью вины, словно он был виноват, что по отцу – еврей, а по матери – черногорец. Уже от рождения Киша это был шрам. Может, предчувствуя что-то, его мама, Милица Драгочевич, окрестит сына Данилу 4 января 1939 года в церкви Пресвятой Богородицы, в Новом Саде. А его отца, Эдварда Киша, в 1944 году отправят из венгерского села Керкабарабаш в Аушвиц – и это останется незарубцевавшимся шрамом на сердце сына.

Я хорошо помнил рассказ Киша «Лютня и шрамы», потому что он – обо всем. Мне врезались в память улицы и площади, по которым Киш возвращался из ресторана Клуба писателей, что на Французской, 7. Этот путь, по которому проходит Киш, как автор и герой повествования, – достаточно короткий по белградским меркам, и наконец он выводит его к гостинице «Москва» на Теразии. Далее Киш, похоже, теряет интерес к белградским улицам, перенося нас, читателей, сначала в жилище русских эмигрантов, у которых он когда-то жил на квартире, потом в Россию, куда едет с театром, и наконец – снова в Белград. Шрамы – это знаки истории, а лютня – музыка истории. В каждой строке писатель словно проводит пальцем по рубцам, и эти рубцы – как струны.

Белоэмигранты учили Киша русскому языку в гимназии черногорского города Цетине. С потомком украинского белоэмигранта Леонидом Шейкой Киш будет дружить. Шейка – удивительный художник и теоретик искусства, сооснователь группы «*Медиала*». Данило Киш в 1970 году в «Политике» напишет несколько прощальных слов на раннюю смерть Леонида

Шейки, назовет его учеником Бердяева и экзистенциалистом. Творческая группа, к которой принадлежал Шейка, возникнет именно тогда, когда в Югославии сталинизм начнет сдавать свои позиции. Молодое поколение Киша и Шейки станет срывать заржавевшие замки и открывать двери для себя и своего искусства так громко, что их услышат не только в Белграде, но и в Париже. Правда, вызовы останутся – исторические, политические, социальные и этнические. На каждый вопрос надо будет отвечать книгами или картинами, иногда – ценой собственной судьбы.

Конечно, Кишу ставили на вид его еврейство. Странно было бы, если бы этого не происходило, ведь еврейство в центрально- и восточноевропейских этносах вызывало чувство инаковости, несвоего, даже враждебности. Киш в то же время говорил о национализме как губительном для тех же европейских наций.

Балканская пороховая бочка ждала своей искры. Партизаны и четники, партизаны и усташи, православные и католики, христиане и мусульмане – все ждали какого-то *времени икс*. Поджигание пороховой бочки произошло одновременно снаружи и изнутри. С одной стороны, Европа снова менялась после падения Берлинской стены, а с другой – в Югославии начинали активизироваться нациоцентрические силы. Ощущение распада Югославии давало, как представлялось, всем *carte blanche.* Сербам – воплотить идею Великой Сербии и не развалить страну, которую лепили с 1928 года. Другим – добыть независимость, включительно с албанским большинством в Косово. Данило Киш не доживет до распада Югославии и окончания войны, но своей писательской интуицией он чувствовал сложность всего, что было завязано в балканский узел. На протяжении всей жизни он высказывался на тему национализма, борясь с сербскими, венгерскими и черногорскими национальными мифами.

Когда была опубликована «Могила для Бориса Давидовича», тема русской революции в прозе Данилы Киша вышла на поверхность особенным пластом. Эту книгу из семи частей Киш начал писать во Франции, будучи там лектором сербскохорватского языка. Во Франции процветали левацкие идеи, и студенческая молодежь увлекалась ими. Писатель, который хорошо помнил югославский сталинизм, читал «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, «Колымские рассказы» Варлама Шаламова и, возможно, верил в теорию *вечного возвращения* Борхеса, рассказывая о русской революции 1917 года

и ее последствиях, конструировал свой «каркас зла».

Белград, улица Французская, 7

В 1991 году «Нью-Йорк Таймс» опубликовала сообщение о смерти Миодрага Булатовича, чьими романами зачитывался и восхищался Запад.

«Миодраг Булатович, югославский писатель, […] умер в четверг, в возрасте 68 лет. Информационное агентство Танюг сообщило, что господин Булатович, чьи произведения широко переведены на Западе, умер от сердечного приступа в кардиологическом центре Игало, в Черногории. […] Он был известен своим жестким национализмом, […] и состоял в Социалистической партии Сербии».

Все, что связано с Милошевичем, с его партией и идеей сохранить Великую Сербию, переросшей в бойню, на Западе воспринимают однозначно негативно. И даже в сообщении о смерти Миодрага Булатовича одно из самых влиятельных изданий в мире сделало акцент на жестком национализме, который в западных глазах имеет только одно измерение – массовые убийства, концентрационные лагеря, бегство гражданских лиц из своих сел и городов, снайперские выстрелы, изнасилования. И постоянный вопрос: кто начал первый?

Если же говорить о Булатовиче, то он никак не вписывался в национальное клише, то есть его проза была явлением вненациональным, иначе как бы ее читали в западном мире? И если любой писатель сербохорватского языка мог считать именно язык домом своего бытия, то как бы реагировал Булатович на то, что дом этот поделен на сербский, хорватский, черногорский и боснийский закутки? Патриотизм и национализм в своей сути разделены тонкой мембраной. Малейшая царапина или, не приведи Господи, ее разрыв – смертельны.

Именно после «Могилы для Бориса Давидовича» Киша, которой был спровоцирован литературный скандал (суды, атаки журналистов и писателей), стало понятно, что отношение к коммунизму, сталинизму и национализму у каждого югославского интеллектуала имеет индивидуальное измерение, а порой это переплетение уже невозможно точно классифицировать. Наслоение балканской истории навалилось на

плечи югославского общества непомерной ношей, которую невозможно избыть и с которой невозможно двигаться дальше. Данило Киш сыграл роль *своего среди чужих* и *чужого среди своих,* вызывая своими произведениями и взглядами на общественные процессы, с одной стороны – реакцию Миодрага Булатовича, а с другой, например, – Филиппа Рота, в издательской серии которого «Могила» была опубликована на английском.

Из Нью-Йорка можно увидеть все исторические просчеты Белграда. Но как это увидеть в Белграде, если, кроме горького и сладкого перца, воздух всегда пропитан дымом и порохом войн? Как позабыть всех князей, их церкви, битвы, слова, передаваемые из поколения в поколение в песнях и семейных преданиях?

Как понять слова Юлии Кристевой, адресованные болгарам (балканцам/восточноевропейцам): *«Вы страдаете от хаоса, вандализма, насилия. Вы страдаете от коррупции, отсутствия инициативы, анархии, от всего того, что удваивает невиданную жестокость людей, наглость мафии и бесчестность нуворишей»?* И если их понять, то в чем и где искать причины: в истории, национальном менталитете, неразрывной привязанности к этой земле, в патриотизме, в национализме, в литературе, в фольклоре? Где эта мембрана между общечеловеческим и национальным?

Момо Капор написал в своей газетной колонке о том, что Булатовича подслушивали даже в ресторане Клуба писателей, передавая соответствующим службам его критику экономической реформы Тито. Безусловно, даже в таком немалом городе, как Белград, сплетни и анекдоты из ресторана Клуба писателей распространялись, словно микробы в благоприятной среде.

А в книге Мирко Ковача «Писание или ностальгия», раздел которой посвящен Миодрагу Булатовичу, узнаем, что Булатович в одиннадцатилетнем возрасте пережил убийство своего отца, которое совершили его тетя и ее муж Федор Архипов – эмигрант из России. Когда, по черногорскому неписаному закону, сын убитого должен был учинить то же самое с убийцами, то мать Булатовича сказала, что не хочет, чтобы ее ребенок носил грех убийства на душе. Но то, что одиннадцатилетний Миодраг, увидев на пороге убитого отца, бил в отчаянии себя камнем по голове, возможно, стало причиной его эпилепсии. Это убийство не прошло для него бесследно. Шрамы остались.

Не обнаруживается ли подобная связь *отец-сын* и в случае с Кишем? Правда, у Киша отца не убивали дома, и Киш-сын вообще не знает, когда точно это произошло. И Кишу никто не предлагал заряженное ружье, чтобы отомстить убийцам. Однако все равно потеря отца в подростковом возрасте оставляет шрамы и рубцы

на сердце и в сознании (думаю, что так было с обоими писателями).

Из Франции Данило Киш в 1975 году присылает Булатовичу на люблянский адрес открытку-поздравление с наградой журнала НИН. А уже в 1979 году, выступая на литературном вечере, Киш на вопрос о М. Булатовиче скажет: *«Он писатель, у которого есть две-три книги. Я знаю, что значит иметь две-три книги. Вы как читатели имеете право прощать ему как писателю что угодно, в то время как я – не прощаю».*

Романом «Красный петух летит прямо в небо», который вышел в Загребе в 1959 году, Миодраг Булатович спровоцировал шквал рецензий, в которых писали, что это *притча о добре и зле, пернатая абстракция и поэзия, огненная птица, славянская фантазия, дикая свадьба.*

Булатович так закрутил фольклор, воспоминания детства, поэзию и реальность, что задал все вопросы, которые можно задать, когда тебе под тридцатник. Как бы это ни выглядело странным, у Булатовича в этом романе тоже главные вопросы, как и в «Могиле» Киша, возникают из человеческих несовершенств, то есть природы зла и греховности. Но, в отличие от прозы Киша, ощутимее сосредоточенной на социально-историческом измерении, в *Красном петухе* – больше метафизики и абстрактности, больше брутальности и цинизма, больше поэзии.

В Белграде на улице князя Михаила, зайдя в книжный магазин «Просвета», я спросил о Булатовиче. Мне ответили, что изданий этого писателя у них нет. Позднее, в Вербасе, маленьком городке, в котором все магазины расположены по обе стороны улицы маршала Тито, случайно оказавшись в одном из них, наткнулся на небольшую полку с книжками. Среди прочих было новосадовское издание романа Миодрага Булатовича «Красный петух летит прямо в небо» 2000 года. Таким образом, почти тринадцать лет книга пролежала в этом магазине. Роман напечатан на латинице, с обширным послесловием, библиографией переводов и рецензий в югославской и зарубежной прессе. Ответ на это я нашел у того-таки Мирко Ковача, который сказал, что *Буле* (так называли Булатовича) прошел свой путь от славы до забвения, что никто его теперь не переиздает, не цитирует, не называет его именем улиц.

Допускаю, что сейчас что-то изменилось, и время становится на защиту Булатовича-писателя, чьи романы, в принципе, содержат в себе то, что есть в настоящей литературе: кое-что от жизни, кое-что от поэзии, то есть от вечного спора добра и зла.

Куда же полетел красный петух Миодрага Булатовича?

Цвет тыкв белградских околиц

Три поезда: *Прага – Москва, Будапешт – Москва* и *Белград – Москва* привозили запах заграницы. Они останавливались на железнодорожной станции Тернополь (как правило, с несколькими прицепными спальными вагонами). Из этих вагонов на станции Тернополь никто не выходил, и двери проводники никогда не открывали, но в вагонных окнах стояли пассажиры и смотрели на нас, а мы – на них. Самым далеким от Тернополя был Белград – город, увиденный на фотографиях в энциклопедии, и он казался самым таинственным. Когда заканчивались уроки в школе, я садился на троллейбус и ехал, чтобы успеть к белградскому поезду, который прибывал в Тернополь примерно в два часа дня. Вагоны с табличками *Чоп – Москва* меня не интересовали. Я выбирал место напротив спальных белградских вагонов и рассматривал вагонные окна. На перроне, как всегда, торчали заместитель дежурного в железнодорожной униформе, два милиционера, а толпа пассажиров двигалась к чопским вагонам. Поезд Белград – Москва задерживался (по расписанию) не больше пяти минут. За эти пять минут я пересматривал все вагонные окна, всех пассажиров в этих окнах: видел джинсовые куртки, бутылочки *CocaCola* в руках, кое-кто курил *Marlboro* или темно-коричневые трубки из вишневого дерева. Лица этих пассажиров из спальных вагонов были другими, и их жизнь мне казалась тоже другой. И город Белград я впервые увидел как табличку на спальном вагоне поезда, который дважды в неделю задерживался в Тернополе на пять минут – только на пять минут.

На венгерско-югославской границе я смотрел из вагонного окна поезда Москва – Белград на приграничную станцию. Между венгерской Келебией и югославской Суботицей – граница. До Белграда оставалось не больше пяти часов. Все пассажиры моего вагона ожидали паспортного контроля. Мимо моего окна за югославским пограничником шла молодая пара, держа в руках паспорта, а пограничник повторял: *пасош, пасош*. Наверное, у этой пары были какие-то проблемы с паспортами, и поэтому их вывели из вагона. В спальном вагоне я ехал один – с билетом в одну сторону и ста долларами в кармане, за которые должен был купить обратный билет. Приближаясь к Белграду, поезд пустел, я въезжал в страну, опаленную войной, и в город, полный одичавших от войны собак.

Тогда я еще курил и, выйдя утром из гостиницы «Casino», забыл зажигалку, а спичек в газетных киосках Белграда не

продавали. Решил, что стрельну у прохожих. С Теразии без проблем попал на улицу князя Михаила. Было примерно восемь утра, и среди редких прохожих никто не курил. Странно для Белграда. Поравнявшись с рестораном «Руски цар», я увидел, что мужчина, который прогуливается с двумя псами (он вчера выступал на открытии писательской встречи), курит. Я начал вспоминать его имя и фамилию. Это был Драгослав Михайлович. Я на тот момент не прочитал ни одной книги Михайловича, но подошел за огоньком, и мы разговорились. Помню, что когда я назвал свою фамилию, Михайлович усмехнулся (он, очевидно, слышал о Несторе Махно) и сказал мне, что мы с ним в чем-то похожи, потому что Михайлович – фамилия главного четника. Пока его собаки вертелись вокруг нас, Михайлович, извинившись, подошел к ближайшему киоску и купил утренние газеты.

Я не уверен, что Михайлович запомнил нашу встречу. Мне же она запомнилась. Во-первых, потому, что, прикурив, человек, который долго искал огня для сигареты, чувствует безграничную благодарность к тому, кто с огнем оказался рядом. Это чувство заядлого курильщика, которому кто-то протянул спасительную соломинку огня, запоминается в мельчайших подробностях. Во-вторых, этот спаситель был тоже писателем (каким и что он писал – для меня тогда было не важно). В-третьих, размышлял я, идя по улице князя Михаила, в этих сербах сокрыто нечто особенное, чего мне не понять за несколько белградских дней, а может, и никогда. Это было время, когда псы из разрушенных городов и сел пробирались в Белград – бездомные собаки, чьи хозяева или бежали спасаясь, или перестали быть их хозяевами. Эти псы войны грелись, вылеживаясь, на площади Республики.

Болгарский журналист выспрашивал Михайловича, приводя примеры Борислава Пекича и Данилы Киша, о вероятности эмиграции, выезда на Запад, по крайней мере во Францию, где тот прожил несколько месяцев. Михайлович ответил, что его не отпускает язык. «Язык всегда будет преследовать меня», – признался писатель. А оснований покинуть Югославию у Михайловича было предостаточно. В молодости он находился в заключении на острове Голи Оток, который называют югославским ГУЛАГом. А когда вышел его первый роман «Когда цвели тыквы», то театральную постановку этого произведения запретил сам Тито. Находясь во Франции, в городе Бордо, Михайлович встретился с Кишем в какой-то кофейне, и тут между ними произошел разговор, содержание которого привел Марк Томпсон в биографической книге о Даниле Кише. За столом кафе

разговаривают два писателя, они – давние знакомые, знают, кто и что написал, и знают цену тому, что написано. Это 1974 год, а поскольку они оба – югославские писатели, то беседа их вращается вокруг самых острых тем политики и литературы. В какое-то мгновение в их разговоре возникает тема интервью Киша, в котором тот обстоятельно говорит о национализме. Киш спрашивает у Михайловича, что он думает по этому поводу. Михайлович отвечает, что не воспринимает соображений Киша, потому что они могут спровоцировать репрессии коммунистической югославской власти против свободомыслящих писателей, что это толкает литературу в русло политики.

Киш не соглашается, говорит, что он выступает также против провластных писателей – продукта коммунистических идей. «Так почему ты не атакуешь Оскара Давичо?» – спрашивает Михайлович. Киш резко отвечает: «Почему Давичо? Потому, что он еврей?» – «Нет, – поясняет Михайлович, – потому что он прокоммунистический писатель».

С момента разговора Михайловича с Кишем прошло сорок лет, а политика и литература по-прежнему ведут свой диалог. Он не прекращается ни на улицах Белграда, ни в помещениях Клуба писателей, ни в уютных кафе. Он настиг даже меня, в лице бывшего директора издательства, и, ужиная, мы тонули с ним в поэтическом воздухе слова *дуня,* в душистых ароматах его семантики. А еще – в наслоениях свадебной капусты, похожих на метафору сербской истории. Воздух этой земли сшит из слов Священного Писания, из слов поэзии, из слов, которые обронил белый ангел, одетый в белый хитон из Милешевского монастыря. И когда смотришь на зеленые горы, на это каменное молчание, кажется, что именно на этой земле слова становятся камнями, чтобы сохраниться надолго.

* * *

На следующий день бывший директор издательства встречает нас возле ворот своего дома, мы заходим во двор. Жена директора с сигаретой стоит на пороге. Несколько айвовых деревьев, арки из виноградной лозы. Он подводит меня к айвовым деревьям и говорит: *дуня.* Ну вот, тайна открыта, дуня – это айва. Значит, и другие сербские слова мне когда-нибудь станут известны. В доме, куда мы зашли на несколько минут, на столе – несколько желтых, похожих на яблоки, плодов, от которых поднимается густой аромат, мохнатый, почти шмелиный – это

разрезанные пополам айвовые плоды и миска с виноградом. Посреди стола царицей стоит литровая бутылка айвовой ракии, а рядом – семь почти наперсточных рюмочек из грубого стекла.

Мы пьем за счастливую дорогу и едем дальше.

2013

IV

Письма и воздух

Всякая встреча мужчины и женщины происходит так, будто это первая встреча на свете. Словно не было со времен Адама и Евы и до наших дней миллиардов таких встреч. И опыт любви не передается. Это очень плохо, но в этом и большое счастье. Так устроил Бог.

Данило Киш. «Лютня и шрамы»

Если бы не май 2013-го, я бы не знал, что мои письма хранятся в бумажной коробочке из плотной бумаги. Там их не больше двадцати, вместе с открытками и фотографиями. Еще, пожалуй, несколько стихов начала 1980-х. Пожелтевшие рукописи, похожие на высохших насекомых… То есть я занимаю в чужой квартире совсем не много места (столь же мало, как и в чужой жизни). Я даже не уверен, что и столько заслужил.

Если бы я хотел соорудить из писем мосты – их бы оказалось недостаточно; если бы я хотел касаться их воздуха, как перил, – они опасны и ненадежны, как и все, что связано с памятью. Памятью бумаги и памятью воздуха. Когда я их писал, то еще верил в их предназначение, и верил, что они помогут. Они помогли, но не тогда, а теперь, когда стоять в воздухе можно только в одиночку.

1.

Весна была действительно поздней: и здесь, в Америке, и там – в Европе.

Каждый раз, когда я перелетал Атлантический океан, мне всегда хотелось почувствовать в легких щекотание европейского воздуха вместе с сигаретным дымом аэропортов или смешанным запахом, который удерживают выгоревшие под солнцем полосы трав, или же, если пройдет дождь, размокшие глина с черноземом.

И если в Европе непрерывно шли дожди, то в Украине майское тепло уже нагревало землю.

За неделю до своего отлета я забрел в мастерскую Антона Кандинского на 23-й улице возле Flatiron Building. Гостей, как всегда, набилось немало: шведский фотограф с норвежской приятельницей, которая живет в Испании, американский актер со своей агенткой и, очевидно, любовницей. Еще несколько нью-йоркцев, которым европейская погода была *по барабану*. Со шведом говорили о поэзии. Так случилось, что этот фотограф вспомнил Тумаса Транстрёмера, который оказался его соседом. Живут в одном доме в Стокгольме. В общем, что-то пили, о чем-то говорили – обычная вечеринка. Актер с агенткой, попрощавшись, поехали в ночной клуб. Зажглись огни Эмпайр-Стейт-Билдинг, их свет стал заливать приоткрытое окно мастерской, а с 23-й улицы доносились звуки вечернего Нью-Йорка, совсем не похожего на Европу, о которой каждый из нас, кто еще остался за столом, что-то говорил, словно хотел перекричать Нью-Йорк и докричаться до Парижа. Хотя Нью-Йорку Париж тоже *по барабану*.

В последний момент, когда рубашки и джинсы были упакованы, я бросил в сумку, предназначенную для ручного багажа, февральский номер «Нью-Йоркера», лондонское издание Рейнальдо Аренаса «Тот, кто поет в колодце» и переписку Ингеборг Бахман и Пауля Целана. Книга Рейнальдо – о детстве, о тяжелом воздухе детства, Бахман с Целаном – о любви и смерти любви. По сути, все об одном и том же. О воздухе, о любви и о ее смерти. Во время перелетов нужно как-то убивать время: сначала я летел в Киев, на три дня. Еще три дня решил посвятить Тернополю, а пять – приберег для Парижа. Ну не все же время рассматривать стюардесс или бродить по магазинам duty free?

Я летел в Украину после полугодичного перерыва.

Полгода – это примерно та доза, которой хватает, чтобы почувствовать потребность в новом путешествии. Именно полгода назад, насытившись Украиной, я так и не успел написать что-либо о Тернополе, Черновцах, Дрогобыче или Львове, между которыми мотался почти три недели. Наверное, потому, что среди моих планов было дописать другую книгу – «Вдоль океана на велосипеде» – сплошной нью-йоркский текст. С ним немного продвинулся, но не настолько, чтобы предлагать какому-нибудь издательству. Вот почему Украина, Галичина с Буковиной как-то отступили на задний план, а береговая линия, которая доходит с

волнами к Си-Гейт, становилась моим главным текстом. Вообще, эта постоянная борьба Америки с Европой происходит по своим правилам, словно бой без победителей.

Тогда, полгода назад, в Украине сентябрьские поля ждали копания картошки. И они сопровождали меня вдоль дорог, просто неотступно за мной путешествовали. Не потому ли копание картошки на огородах или на участках вдоль железной дороги – заслоняло города, стихи Пауля Целана и прозу Бруно Шульца? Вообще, это переплетение жизни и метафизики, простого со сложным, мне нравилось, это напоминало прозу и стихи… Я понимал, глядя из окна поезда, что стихи Целана могут быть такими же простыми, как копание картошки вдоль железнодорожного полотна, или такими же прозрачными, как железнодорожник с флажком на переезде. Они могли быть такими же простыми, как черновицкие улицы. Как дом, где родился Целан, как ошибочно прикрепленная мемориальная доска (оказалось, что совсем не там и не в том месте). Как покосившийся рельеф Дрогобыча и метафизика прозы Шульца, которая непривычным образом высказывается запахом корицы, как вечные дожди Львова и голодное сердце Тернополя, точнее, мое голодное сердце, вмурованное в плотный тернопольский воздух, в кирпич его домов.

Все эти приближения и неточности составляют, по сути, все мое время в Украине.

2.

Год назад, в Тернополе, когда я читал в «БункереМуз», то даже не догадывался, что мой вечер заполнит *воздух тридцатилетней давности*. Придет – в платье и туфлях на высоких каблуках, что было почти вызовом джинсам и футболкам навыпуск.

Я смотрел на этот воздух, я касался глазами этих тонких черт, этого лица, преисполненного своего внутреннего совершенства. Не хотел его спугнуть или испачкать пылью своих нынешних стихов. Я подбирал, что читать и как читать. Вечер продолжался больше часа, и все это время воздух на высоких каблуках, эти предельно откровенные глаза следили за мной (я это чувствовал как физическое перевоплощение, как прикосновения глазами к глазам).

Потом меня окружили молодые студентки, после – несколько фотографов повели нас с женой в облезлую, но чудом сохранившуюся арку, чтобы выбрать наилучший ракурс для фотографий.

Высокие каблуки и платье вместе с воздухом тридцатилетней давности оставили нас, веселых и довольных.

Я думал, что навсегда.

Понимал, что этот почти безмолвный приход все же что-то значил.

3.

В скором поезде, который прорывался сквозь ночь, узловые станции и области Украины с востока на запад, я ехал в Тернополь. Поезд дергало, а на ночных станциях обходчики стучали по металлическим колесам. На перегонах я слышал разговоры диспетчеров. Пахло железной дорогой – такой знакомой с детства. Мне не спалось, и я, отодвинув фирменную занавеску, смотрел в окно. Пил чай. Поезд качало, качался мой остывший чай, качались станции и пассажиры. Примерно около пяти утра, когда осторожный свет приоткрыл туманы на полях и околицах сел, – я увидел, что зелень, словно дождь, тронула полевые обочины. Шел пар от озер и рек, темное серебро тумана грубыми нитками вплеталось в черные полосы дорог.

«Эта полевая зелень, – думал я, – лучшая метафора временности». И вспомнил помидоры в своем внутреннем дворике, которые, должно быть, уже окрепшими стеблями устремились вверх и зацвели желтым цветом.

На железнодорожном вокзале Тернополя я снова стал рыбой этого города, разве что плавники мои теперь были предназначены не для воды, а для воздуха, но все равно они были поэтическими и прозрачными, я мог черпать ими и небесную эмаль, и пыль этой земли.

Когда в «Козе» мы с «Неймлесами» отчитали и отпели стихи из книги «Я хочу быть джазом и рок-н-роллом», издатель Юрий Завадский и «Коза» устроили нам небольшой фуршет с вином и сыром. Я вытащил литровую бутылку «Мартини», которую привез

из Нью-Йорка, считая, что даже в украинских супермаркетах торгуют поддельными напитками. А компания наша, сдвинувшая два стола, была пестрой, и разговаривали после первых бокалов уже группками. Мне нужно было увидеться с кем-то, с кем мы почти тридцать лет назад дышали тернопольским воздухом.

И она снова пришла, так же как в прошлом году. В белых туфлях на каблуках и платье (в других, конечно, туфлях и другом платье).

Эти каштановые волосы, гриф удлиненной шеи и малахит зеленых глаз – все было рядом и все было со мной. Бутылки пустели быстро.

Воздух кафе становился зелеными глазами, словно этот стол был заказан только для двоих.

Тридцать лет назад это были глаза моей музы. Теперь она запрокидывала голову, будто ловила струи воздуха того времени, в которое мы с ней каждый раз возвращаемся, но в котором не можем встретить друг друга.

Воздух нас придавливает, он чересчур тяжелый, он плотнее воды.

4.

Мы жили в провинциальном городе и учились в провинциальном университете.

Я чувствовал этот город, как рыба, выброшенная в траву, которую просто поймали и выбросили. Нас накачивали воздухом, который потом, а может, даже и сегодня, мы будем извергать прямо посреди улиц этого города. Нам говорили, что жизнь ничего не стоит, а герои умирают молодыми. И никто нас не учил, что тело – это все, что с тобой, что легкие твои предназначены для воздуха, что рыбьи жабры похожи на сережку в ухе, ведь они серебряные (то есть чернеют, когда рыба в траве захлебывается от воздуха).

Я знал, что можно найти кого-то прямо на улице, кто ходит с такой же сережкой рыбьей жабры и так же задыхается не от кислородного голода, а от воздуха. Но когда воздух превращается в слова, он становится поэзией. Воздух становился нашими

прозрачными телами, и мы могли перелетать улицы. Для чего это нам? – мы не знали, и только теперь, когда в воздухе можно стоять в одиночку, погрузившись по самые жабры, я подозреваю, что высокие каблуки приносили мне сережку из рыбьей жабры, чтобы мы не разминулись ни в городе, ни в воздухе.

Для того, чтобы мы узнали друг друга.

Было всего лишь несколько кофеен, куда набивались студенты, чтобы с кофе и мятным ликером посидеть компанией. Здесь появлялись пары, назначившие свидание, ну и несколько местных пьяниц, без которых колорит таких заведений невнятен. Однажды я смотрел на ее ладони и разгадывал, что записано в паутине ее линий. Она почему-то прятала руки под стол. Наш скромный студенческий заказ: два кофе, два ликера по сто и два горячих бутерброда с колбасой и сыром – лишь раздражали наши молодые желудки и усиливали голод. Ликер и кофе несколько его утоляли, не проходил только голод тела, который на ощупь был сшит из шелка ее белых ладоней, пронзительных воздушных глаз и влажных губ, которые я искал на ее лице. И коленей, которые я искал под юбкой, а она каждый раз прикрывала, натягивая ее. Таких, как мы, в разных уголках кафе сидело много, это было место свиданий. Но для нас с ней это было место предназначения (только теперь понимаю, что нашим предназначением было проломить стены воздуха, обменяться жабрами для дыхания, но что-то помешало).

Может, потому, что мы не были типичной парой, которая ходит держась за руки и каждый вечер заваливается в одну из дешевых кофеен, а потом целуется в темных местах. У нас были длинные периоды невстреч, разлада и выяснения отношений, налаживания, прощения и моих стихов, которые я дарил ей после каждого такого разлада. Иногда мне попадались другие девушки, иногда ее преследовали разведенные или вдовцы.

Для всех ее преследователей я жаждал расправы (всех моих девушек она как-то терпела). Все знали, что мы встречаемся или же когда-то встречались, то есть как-то связаны если не будущим, то прошлым.

Напротив железнодорожного вокзала во времена моего студенчества небольшой букинистический магазин был наполнен воздухом голода. Сюда сходились подпольные торговцы редкими изданиями и мы, обычные читатели, которых пригнала нехватка дефицитных книг. Две продавщицы, привыкшие к тому, что книжный голод в городе постоянен, как запах в рыбном отделе гастронома, и его ничем не перешибешь, заполняли различные

формуляры заказчиков, которые и были сигналом для книжных спекулянтов. Спекулянты передавали эти заказы по междугородным телефонам в Москву или Киев, и через некоторое время пачки с книгами в купе проводников прибывали на станцию назначения. За такие книги платили немилосердные деньги. Иногда случались зарубежные издания – польские детективы, немецкие издания русской поэзии и художественные альбомы. В магазине можно было спокойно поговорить об Андрее Белом или Анне Ахматовой, помечтать, что когда-то повезет пробежать глазами таинственные строки «Петербурга» или «Поэмы без героя». Я заходил в эту лавку, гонимый точно таким же голодом, который можно было почувствовать только среди книжных полок, среди пыли старых изданий. Я ощущал, полностью принимал на веру, что книги, которые нам не позволяют читать и которые невозможно встретить в обычных книжных магазинах, спрятаны именно здесь, в этих букинистических закоулках. А эти две пергаментные тетки не говорят мне всей правды. В подвалах магазина они прячут от меня этот свежий воздух слов так, что их не могут напугать никакие проверки. Каждый раз, приходя сюда, я изучал не только состав полок, но также и продавщиц, которые смотрели на меня рыбьими глазами, пустыми, без воздуха. Бумажные копии запрещенных романов и стихов, перепечатанные на машинках, требовали от нас держать язык за зубами. Чаще всего их печатали под синюю копирку, закладывая пять белых листов бумаги и четыре копировальных. Последняя копия расплывалась подобно воздушным потокам. Из таких машинописей я прочитал булгаковский роман «Мастер и Маргарита», стихи Высоцкого и стихи незнакомого мне поэта и музыканта, кажется, Золотарева. Каждая же книга, которую прочитал, была из воздуха, и каждая купленная книга уменьшала воздух в квартире. Город и страна тоже уменьшались пропорционально количеству книг, которые я глотал, как мармелад, пересыпанный сахаром, думая, что когда-нибудь город исчезнет в книгах.

Перед своим отъездом в США я зашел в университетскую библиотеку. Знал, что книги теперь освобождаются от бумаги и переходят в другое пространство, в другой воздух, названный Интернетом. И поэтому привычка посетителя букинистической лавки и библиотечного зала, эта привязанность к бумаге, даже к размытой копии текста, никогда не оставляла меня. Я помню, что ничего читать не заказывал, просто зашел, чтобы попрощаться не с библиотекарями, а с книгами. Знал, что книги, которые прочитал здесь, будут помнить меня. В читальном зале шуршали,

как мыши, газетами студенты, смеясь, листали какие-то издания. А вдали, за последним столом, я увидел свою бывшую музу, которая теперь писала диссертацию. Мы с ней выкарабкивались из помойной ямы 90-х каждый по-своему. У меня не было для нее слов, и тем более я уже не ощущал общего воздуха, которым мы обменивались, когда я читал ее ладонь, как роман. Я лишь молча посмотрел на нее и вышел из библиотеки – словно чувствовал бремя воздушных потоков Нью-Йорка, которые ждали меня через несколько дней, чтобы навалиться, как февральский снег, и засыпать все вокруг. Засыпать жабры, которыми еще можно дышать.

Мы оба принесли на своих крыльях тяжелый воздух, когда на следующий день в той же «Козе» сидели и пили белое итальянское вино. «Итальянцам можно доверять», – думал я, заказывая для нас вино и какую-то закуску. Я почти ничего не знал о ее теперешней жизни (ну, какие-то отрывочные отголоски чужих разговоров). В принципе, знал, где она живет, в каком доме, с кем. Я сам там бываю, когда приезжаю в Тернополь, там моя пустая квартира на 9-м этаже. Но в этом доме мы никогда не встречались, ни в самом здании, ни в лифте, ни во дворе.

Это пустой дом в пустом городе.

Я не знаю, что и о чем думала она. Возможно, о том, что если сложить наши счастливые с ней студенческие дни, то их наберется не больше двадцати или тридцати, а может, и того меньше. Несколько походов в кино. Несколько поцелуев. Один приход ко мне домой (но спугнула мама, которая пришла из школы раньше, потому что приболела).

Может, еще несколько встреч, о которых я уже забыл?

5.

Лейтенант позволил мне написать письмо за своим столом. Он был молод, но очко перед начальством не рвал, благодаря чему я спокойно курил и писал.

Было три часа утра. Моя караульная смена, которую нужно было развести на сторожевые посты, еще спала. В комнате отдыха скрипели деревянные топчаны, на которых переворачивались во сне тяжелые молодые солдатские тела. Я писал медленно, обдумывая каждое предложение.

Лейтенант тоже курил в открытую форточку, мы с ним были почти ровесники.

– Кому письмо? – поинтересовался летёха.
– Да… одной даме.
– А что так долго пишешь?
– Подбираю слова, чтобы не ошибиться, к тому же… она уже замужем…
– А зачем ей пишешь?
– Не знаю…

Лейтенант еще не был женат, видно, и на его сердце была такая же рана. Он смотрел на меня, как на брата.

– Ты только не стреляйся, – пошутил он.
– Ясен май, дембель – в мае.

Лейтенант знал (и я знал), что месяц назад полк отправил в Башкирию в цинковом гробу парня, который, получив из дома сообщение, что его девушка выходит замуж, спрятался за караульным помещением, снял предохранитель и автоматной очередью скосил себе полчерепа. Место его смерти засыпали мартовские снега. А мы его забыли через несколько недель.

Это караульное письмо я писал несколько раз (то есть оно должно иметь несколько вариантов). В линованной тетради этими украденными у сна ночами я выводил скверным и нечитаемым почерком слова, которые теперь в моей армейской жизни отвечали сами за себя.

В армии особое уважение к письмам. И если тебе приходит несколько в месяц, это привязывает тебя к другому миру, находящемуся за оградой воинской части. И это также значит, что тебе пересылают тонкие полоски воздуха, который не пахнет *кирзой*.

Она сказала, что из армии было прислано 6 писем, на которые она не ответила. Пять я прислал по почте, а одно передал с Татьяной Сергеевной, нашей преподавательницей, которая, зная, что служу в Житомире, вызвала меня в гостиницу, устроив мне через своего знакомого майора несколькочасовое увольнение среди буднего дня. Зачем-то она была тогда в Житомире. Я пришел в гостиницу и там написал письмо. Письмо

было передано адресату, но ответа я не получил ни одного (да и в конце концов на ответ не рассчитывал).

А это караульное письмо я передал с дружком (так теперь его называю). Дружок почему-то продержал это письмо тридцать лет – и только за месяц до моего нынешнего приезда принес и вручил ей. Пожелтевший конверт с выцветшим именем и фамилией корреспондентки.

Я писал в пустоту и поэтому не отвечал ни за содержание написанного, ни за свой почерк.

Почти каждую ночь к известному многим солдатам нашей части месту приходили житомирские *шалавы*. Их перетаскивали через высокую бетонную ограду и заводили в кочегарку. Их тела на протухших солдатских матрасах пахли углем и дымом.

6.

Во время майского перелета я листал переписку Бахман и Целана, встречая полные страсти места их писем, в которых тоска, невозможность, несовпадение. Упреки и прощение.

Все, что составляет драму двух молодых людей, которые живут в разных странах и городах.

Находясь несколько лет назад в Берлине, я заметил в окне одного из книжных магазинов на Курфюрстендамм рекламу издания этой переписки на немецком языке. К книге почему-то был прикреплен плакат с изображением Черновцов. Наверное, ради Целана. Я смотрел на фотографии двух молодых людей, чью эпистолярную книгу рекламировали немецкие издатели, – посмертную книгу. Это было издание, к которому Ингеборг и Пауль имели прямое и опосредованное отношение (собранные под одной обложкой письма писали они, но опубликовать все это пришло в голову другим людям). Уже после смерти этих любовников и адресатов. Так случается часто. И комментарии, которыми, как правило, обрамлены такие издания, сводятся к выяснению дат, некоторых фамилий и лиц, мест, бегло упомянутых.

Но никогда и никто из комментаторов не берется истолковать тот или иной поворот судьбы адресатов.

7.

В августе 1986-го я вытащил из почтового ящика в доме на Киевской конверт с приглашением на свадьбу. Адрес она, видимо, нашла в альбомном списке выпускников, вряд ли его помнила. Просто полистала этот альбом – и нашла. Девичьим округлым почерком выписала все детали свадьбы и подписала именами молодоженов.

Третий день у меня начинался одинаково: пивом из бочки, синдромом похмелья и тяжелой головой с притупленным взглядом. В первый же день у бочки, в центре, узнав, что этот помятый чувак, которому не хватает шесть копеек до третьей кружки пива, – бульдозерист, я попытался с ним поговорить.

– Тут такая лажа, чувак…

– А что?

– Ну, надо приехать через неделю на одну свадьбу и раздавить ее на хер…

– Чем раздавить?

– Бульдозером.

– Бульдозером, ясен май, самое лучшее… а на хера давить?

– Не знаю…

– Кентуха, – говорил он, – все пройдет.

«Я ожидала, что ты меня украдешь из-под загса, просто заберешь от всей этой свадьбы».

Я это услышал, когда облако накрыло собой полгорода и начало заливать даже столики в «Козе». И не успел ответить, потому что мы спешно перебрались в зал этого бара, мокрые и возбужденные. Я услышал это за день до Парижа, с билетами на руках, небритый, с седой щетиной, когда мы приканчивали первую бутылку итальянского вина. Я услышал о ее желании тридцатилетней давности, которое никак не мог выполнить ни тогда, ни теперь.

Я понял, что прошла вечность.

Что я мог ответить?..

8.

Один из мостов над Сеной – это мост влюбленных. *Pont des Art.* К его ажурной ограде прикреплены тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч замков, простых амбарных, на которые запирают двери или цепи от потенциальных похитителей велосипедов. Сюда приходят влюбленные, закрывают на ключ свой замок, а ключ выбрасывают в Сену.

Дочь привела нас с женой на Монмартр около двух ночи.

Я сказал, что хотел бы пройтись по этим улочкам днем, а не ночью. Но услышал в ответ, что именно сейчас – максимальный кайф.

В одном из писем Ингеборг написала Паулю в Париж: *Это лето не имеет конца, и я спрашиваю сама себя, что наступит после всего этого?* А в другом: *Кому мы можем быть благодарны за все?*

«Эти отношения тоже не имеют конца, что будет с нами?» – подумалось мне, но я ничего не сказал вслух, только в который раз попросил официанта принести бутылку белого вина.

«Наверное, нам нужно было жениться, даже если бы мы со временем и расстались – было бы что вспомнить», – сказала она.

В Париже можно вспоминать кого угодно из мировых писателей, и безошибочно встретишь в их биографии Париж. Для Бахман и Целана Париж существовал просто как почтовый адрес жилища Пауля, как гостиничный адрес Ингеборг, как город, в котором они планировали встречи, в котором встречались и который станет смертью Пауля. А Рим станет местом смерти Бахман и какого-то непогашенного окурка. В их письмах Вена превращается в Париж, Париж в Цюрих, ну и, конечно, в Берлин, Мюнхен, Штутгарт. Воздух всех этих европейских городов одинаковый и разный, как небо. Я поднимал глаза вверх, словно под купол собора то ли в Париже, то ли в то Берлине, и не чувствовал воздуха, провисавшего над этими городами. И только в Черновцах, во дворике дома Целана, воздух пах чем-то, что можно назвать жизнью, запахом прошлого, которое помнят стены домов. Был ли это запах квашеной капусты, переспелых помидоров, давно не ремонтированной канализации или запах земли, политой дождями?

В письмах Бахман радуется дождливому дню в Париже, когда

она нашла Пауля, поддерживает его в том, что он *все* рассказал жене. Впоследствии у них выстраивается треугольник (третьим становится швейцарский писатель Макс Фриш, с которым Ингеборг проживет около пяти лет). Целан в то время также не одинок – женат на французской художнице Жизель Лестранж. И если письма и сохраняют нечто, то есть что-то, кроме слов и предложений, что еще можно почувствовать, то это воздух городов и мест. Листочки, где фрагменты человеческой жизни, из плоти и крови, следят за пальцами, которые держали ручки, за ладонями, которые разглаживали эти листочки, за воздушными губами, которые держали какое-то мгновение воздушные слова, лепили их только из воздуха. И если бы их не напечатали, то они со временем превратились бы в архивный воздух с лишаями и грибком.

Мост Мирабо, с которого в последний свой полет с глазами безумца и с жабрами рыбы прыгнул Пауль Целан, благодаря аполлинеровскому стихотворению давно стал поэзией любви, а со смертью Целана этот мост стал местом смерти. Собственно, переписка Бахман и Целана – не только подступы к гармонии, но и хирургия смерти, которую они, словно рецепты, прописывали в письмах, каждый откладывая это состояние перехода и осознание временности. Целан, разгребая плавниками водоросли Сены, а Бахман – задыхаясь от дыма, который заполнил ее римское прибежище.

9.

В 1985 году мы встретились в «Уюте», предварительно списавшись и договорившись обо всем. Она – в новом голубом плаще, а я притащился со своим дружком, с которым не был ни в малейших приятельских отношениях. Зачем он мне был нужен, этот дружок? Просто он попался мне в тот день на глаза, и мы, уже «поддатые», сидели в этом «Уюте».

Разговор между мной и ею не клеился с самого начала.

Не помогал ни ликер, который она пригубила, ни новый плащ, который она специально надела, ни наша относительная свобода, полученная вместе с дипломами.

Примерно в августе, простудившись в поезде, она попадет в больницу.

Я об этом ничего не знал, как не знал, где она и что с ней.

В том же году она переселилась на съемную квартиру и начала самостоятельную жизнь.

Я выехал из Тернополя в провинциальный маленький городок над Днестром.

В тогдашнем Тернополе найти квартиру было непросто. Агентств не было, какие-то объявления вывешивались на телефонных будках, столбах и городских фонарях. А в целом договаривались «по знакомству». Ее приняла семья, внешне вполне приличная и добропорядочная. Ей выделили отдельную комнату и договорились о помесячной оплате.

В городок над Днестром также приходили зимы и выпадал снег.

Приближался новый 1986-й – год, когда она выскочит замуж, а я пойду в армию. Но пока что – она обустраивается в тернопольской квартире, я смотрю на снег, который засыпает старинный парк в имении графа Бадене. Снега этой зимой было много.

Мне одиноко в этой провинции, среди этого парка и пологих берегов Днестра. Пока шел снег, ее едва не добился хозяин квартиры, которого потянуло на молодость. Затем он вместе со своей женой станет просить ее не раздувать этот скандал, за что можно было «схавать» несколько лет зоны, а насильников сразу – без базара – пускали по кругу, то есть *петушили.*

10.

Я знал, что когда-нибудь мы сможем поговорить, хотя, кроме «Уюта», мы делали это несколько раз, и, как правило, неудачно. Что же нам мешало просто посидеть и поговорить за столом?

Я не смог бы ответить на этот вопрос.

Стена, высокая воздушная стена.

Она опаздывала, а я ходил по Театральной площади и высматривал, угадывая, откуда она появится? И появится ли

вообще?

Нам принесли тогда красное вино и телятину с черносливом. Местная газетка жаловалась, что я читал стихи о лесе драк, и мы как-то вяло это обсуждали. Рассказывая об Индии, я путался в запахах этой страны и ее цветах, а свои слова наряжал в кашемировые кашне и золотые украшения. В Индии я купил себе серебряный перстень с темно-красным обработанным камнем на рынке в городе Каликате, куда меня привез рикша накануне моего отъезда из Каликата в Бомбей.

Именно в «Ретро» она попросила меня показать перстень, который я почти не снимал со среднего пальца левой руки. Я снял перстень и положил перед ней на стол. Она осторожно взяла его и положила себе на ладонь, а потом крепко сжала ладонь – и посмотрела на меня. Глубоко заглянула в глаза, держа сжатой свою ладонь несколько минут. Смотрела, не раскрывая ладони и не закрывая глаз. А после – так же осторожно – положила перстень передо мной.

И я подумал, что опыт женщины и опыт мужчины должен отличаться.

11.

В одном раннем юношеском стихотворении я сравнивал ее с ангелом, почерневшим от печали. Вряд ли, сочиняя эти стихи, я как-то предрекал будущий женский опыт ее жизни, то есть какие-то важные события, которые затем произойдут с ней.

Я населял тогда свои стихи ангелами только потому, чтобы не населить их работницами хлопчатобумажного комбината; это было, по моему тогдашнему глубокому убеждению, проявлением сопротивления. Эти ангелы роднили мое время с эпохой Серебряного века русской поэзии, в которой мы искали себя и ответы на наши вопросы. И блоковская девочка, которая пела в хоре о кораблях, ушедших в море и не вернувшихся; и ахматовская веревочка, на которую нанизывались любовные стихи; и цветаевская убежденность во времени, которое наступит для ее стихов; и мандельштамовские звуки, которые кошачьим когтем царапают воздух времени… Все знаменитые любовные треугольники Серебряного века: Мережковский – Зинаида Гиппиус – Философов, Блок – Люба Менделеева – Белый,

Маяковский – Лиля Брик – Осип Брик – перепутывались в наших юношеских представлениях о жизни. Все наши главные вопросы вращались вокруг поэзии, словно главными вопросами нашей жизни должны были заниматься другие, а не мы. Я вел себя так, будто только мои стихи к ней и мои письма из провинциального городка над Днестром (а впоследствии письма из армии) – были главными текстами, которыми мы писали свои судьбы.

Жизнь под огненными дождями звездопадов, мчащихся с космической скоростью над нашими головами, одинаково непонятна и тогда, когда тебе двадцать, и теперь, когда вот-вот стукнет пятьдесят. Не верится, что ангелы из корявых юношеских стихов способны были жить с нашими лицами и наблюдать за нами нашими глазами.

12.

«Опыт – это заваленное хламом жилье, хозяева которого хотели бы избавиться от него», – думал я, выходя из подъезда на улице Киевской. В Тернополе я останавливаюсь у мамы и брата, то есть в доме моей юности. Этот дом состарился, а между этажами, там, где я курил, – та самая краска и тот же запах от мусоропровода. Больше половины жителей уже нет, полно студенток-квартиранток. Даже сосед Алеша приходит сюда только собирать месячную плату, возьмет деньги – и уходит. Опыт – это нечто, что говорит тебе: действуй так, а не иначе, – и то, что сомневается в этом.

Я специально сажусь в троллейбус, который едва служит пассажирам. Он старый, но хочу увидеть этих пассажиров, с которыми ездил на таких троллейбусах десятки лет. Помню, как ждал последний троллейбус в центре – высматривая: приедет или придется тащиться пешком? Я проезжаю все эти остановки – 11-я школа, Универсам, Текстильщик, Шестой магазин, чтобы, проехав под железнодорожным мостом, выйти на остановке напротив железнодорожного вокзала, то есть уже в центре. В центре, который ближе к Европе, благодаря домам и улочкам. Я знаю, что там – другой воздух.

11-я школа – однажды мы всем классом сбежали с нескольких уроков и завалились в квартиру к Светке (ее родители железно до семи будут на комбайновом заводе). Купив несколько бутылок вина, мы радовались свободе, охватившей наши молодые и

ветреные головы, в двух комнатах и на кухне разместилось нас примерно тридцать. «Smokie» пели нам со Светкиного проигрывателя *I'll meet you at midnight*. А в это время в школе, сбившись с ног, нас искали классная руководительница, учительница украинского языка и литературы и завуч. Наше бегство станет предметом классных собраний с родителями. Девушки будут сидеть с высоко поднятыми накрахмаленными белыми воротничками, закрывая коричневые места поцелуев, *засосов* на шее. А мы, парни, будем слушать всех выступающих – от учителей до родителей – с откровенной иронией, ведь это клево – почувствовать свободу и спелый запах молодого, как и твое, девичьего тела. Это так клево – пить вино, целовать такую же подвыпившую одноклассницу и чувствовать ее сопротивление и заливистый смех, который еще больше тебя заводит.

В одну из осенних ночей, когда я притащился откуда-то и был почти рядом со своим домом, из сумерек вынырнул некто, приставивший к моей шее нож. Я помню холодное острие лезвия возле сонной артерии и непонятное молчание этого уёбка. Мы с ним простояли, может, минут пять, может, меньше. Что ему помешало чиркнуть по моей шее лезвием ножа? Чья рука схватила его руку, чтобы он не смог сделать то самое резкое движение, которое отделяет жизнь от смерти?

13.

В молодости хочется обнять всех и раздать свое сердце, разорвать его, потому что впереди так много всего. И кажется – хватит надолго и на всех.

Потом немилосердные годы подтачивают эту наивную веру и это безумное желание. И тех, с кем ты делил эту молодость, как хлеб, разбрасывался ею, словно бриллиантами, не зная им цены, – становится все меньше. Нет-нет, вы все еще живы и здоровы, но тот воздух, который ты зачерпываешь широкими плавниками, – другой. Их и твое одиночество подтвердит человеческое предназначение. Может, подтвердит и что-то другое.

История письма, написанного в караулке в ноябре 1987 года, не заканчивается в этой караулке. Я еще год носил его в карманах солдатской формы, время от времени пряча под подушкой, в ящике тумбочки, потому что офицеры иногда устраивали *шмон.* Все запрещенные вещи забирали, а за невыполнение можно было

заработать и несколько суток *губы*. Это было письмо, которое всегда, когда выпадала свободная минута, я перечитывал, особенно когда зимой стоял в карауле и, чтобы не заснуть, вслух, в морозный житомирский воздух читал строки этого письма, проговаривал его, словно хотел, чтобы каким-то образом воздушные слова долетели до Тернополя.

Дембельнувшись весной 1988 года, я попросил своего (как мне казалось) ближайшего друга передать ей это письмо. Наверное, мне хотелось, чтобы она поняла, что в армии она была со мной: ходила в караул, жевала солдатскую пайку, прятала сахар в кармане, получала под дых, была свидетелем, как в котельную заводят житомирских шалав, продавала антифриз, пила спирт, мечтала о дембеле и знала, что солдатский воздух спрятан в запахах камеры на гауптвахте или параши в караульном помещении. А может, мне хотелось напомнить о себе. И я передал это письмо, даже не подозревая, в чьи руки. Что бы это изменило? На самом деле – ничего.

На перекрестке улиц нашего микрорайона, он (этот так называемый друг) сообщил, что ездил к ней и она сказала, будто мне ничего не светит, а светит ему. Сегодня я знаю, что это была заведомая ложь.

Слишком тяжелый воздух меня тогда придавил.

Слишком много он знал обо мне.

Держал это мое письмо как заложника. Зачем?

И если так долго держал, то почему наконец отдал? Почему не уничтожил?

Она вышла замуж за другого: ни за меня, ни за дружка. В 1991 году потеряла трехлетнего сына, теперь говорит, что ангелы с открыток и картин живут в ее доме. В этом же 1991 году обвенчалась с мужем. Дружок приходит к ней в гости, приносит какие-то биодобавки и говорит, что это полезно, иногда – свои безголосые песни, иногда заходит просто поговорить. Делает это бесцеремонно, входя в чужое пространство и в не свой воздух с убедительным бескультурьем, с неким правом вечного соглядатая. Иногда они вспоминают прошлое – перебирают студенческие годы. Тогда в каждой студенческой группе было по несколько *стукачей*, за нами подглядывали, нас подслушивали. Теперь, думаю, только Бог нас подслушивает. Что это у дружка –

обычный интерес, такая неразрывная дружба или привычка со студенческих лет? Баба, с которой он жил, прогнала его и вслед пустила слух, что он – *гомик*.

Когда прилетаю из Америки, он, проходя мимо моего дома, смотрит, как вор, на окна маминой квартиры. Я не сторож ему и не судья. Помню, как после очередного чтения стихов в моей комнате он, развалившись на диване, советовал мне писать о партии и комсомоле, чтобы напечатали хотя бы в районке. (Сам такое придумал или кто-то ему шепнул?) Всегда *косил* от студотрядов то в Джанкой, то в колхозы. Кто подписывал ему эти липовые справки? Отец его был, кажется, сержантом-охранником в районном КГБ, а потом спился и, когда его настигала *белочка*, гонял всех, с кем жил в квартире. Дружок постоянно менялся: то он был буддистом, то христианином, то курил анашу, то носился с идеей писать диссертацию. У них все время жили какие-то тетки, квартирантки, в квартире пахло лекарствами, ржавой водой из умывальника и принесенной из подвала картошкой. Вроде бы еще были поэзия и высокие идеалы, он пытался всем помочь, везде бывать, мало пить и распространять сплетни. Привязывался к женщинам старше себя. Когда-то, после того как купил в букинистической лавке несколько томов древних философов, закрылся в квартире и как будто прочитал все, а выйдя из своего добровольного заточения, заговорил как философ.

Однажды зимним днем мы шли по улице, был снег и легкий морозец, – и вдруг он снимает свои ботинки и носки и идет по снегу. Или он тогда тренировал дух и тело на манер японских самураев – один только японский бог знает. И когда все было решено (очевидно, не нами, а тем, кто чертил на наших ладонях линии судьбы), я в течение всего времени нашей дружбы чувствовал какой-то странный взгляд в спину, как дыхание. А теперь сами собой всплывают детали, которые мне говорят, что я не ошибался ни тогда, ни, думаю, сейчас. Оказывается, он предлагал ей свою квартиру, когда она только обустраивалась в Тернополе. Комнату для проживания – бесплатно. Он с мамой должен был ютиться в одной, а она – в другой. Видимо, в расчете, что в одну из ночей он окажется в нужной комнате и постели. Что мама его названивала ей, говорила, как он ее любит и прочие банальности.

Этот постоянный взгляд в спину. Присвоение несвойственного ему воздуха. Попытки взмахнуть крыльями (хотя они у него куриные). Что-то затаил он такое в обиде на алкоголика-отца, который организовывал им концерты по заказу

трудящихся, или на природу, осыпавшую его лицо прыщами, с которыми он боролся и от чего невероятно страдал, а теперь зашил их рыжей бородой. Нечто неуловимое, как постоянно бегающие глаза – перехватить этот взгляд невозможно, только чувствовать, когда он, прищурившись, смотрит тебе в спину.

Она рассказала, что дружок принес письмо за месяц до моего прилета в мае. Не утверждаю, что это письмо что-то изменило бы, но, пролежав в той квартире, где ржавая вода и подвальная картошка, – оно задыхалось от этого воздуха и корчилось от рук, которые его перекладывали все это время в разные места.

Если бы он знал, какая степень доверия у нас теперь с ней: какими словами мы простили друг друга за все, то, может, не приходил бы в ее квартиру без предупреждения и не приносил бы биодобавки и свою никому не нужную музыку. Если бы он чувствовал, какую глубокую рану он нанес нам, и что его присутствие в нашем воздухе – с каждым разом уменьшается.

И теперь делить хлеб зрелости с ним никто не станет.

14.

В мае 2013-го, после всего, должен был случиться – Париж, и он был.

В Париже я встретился со старшей дочерью Христиной, которая уже полгода там жила, учась в Десятом университете, – и с женой, которая на несколько дней специально прилетала из Нью-Йорка, чтобы мы отметили день рождения дочки.

Это была неплохая идея – семейный ужин в Париже, неподалеку от Эйфелевой башни.

Я всегда был убежден, что в молодости должен быть свой Париж и когда-нибудь должен состояться ужин в Париже. В молодости не получилось, зато – теперь.

Уже в самолете я обнаружил, что повесть Аренаса, должно быть, оставил дома, потому что в дорожной сумке этой книги не оказалось, поэтому листал «Нью-Йоркер» и рекламный журнал компании KLM. Толстый том переписки Бахман и Целана читал неспешно, после каждого письма заглядывал в конец книги, в комментарии. Эту изданную в Украине переписку я получил

перед майским путешествием. Зачем я его захватил в дорогу – даже сам себе не могу объяснить.

Читал и смотрел, как подо мной проплывает Атлантика.

В Париже мне вдобавок устроили чтения на Рю де Палестин. Христя к тому же пригласила своих американских друзей на мой вечер, и мы под открытым небом, после чтений, распили две бутылки бордо. Во Франции к алкоголю относятся либерально – пьют на улицах и в метро. Поэтому мои американские фаны быстро сбегали в ближайший магазин за выпивкой.

Кажется, на третий наш парижский день мы гуляли вдоль Сены: жена, Христина и я. Мы таки поужинали в ресторанчике поблизости от Эйфеля. В ресторанчике было пусто – пять посетителей и два официанта. А потом разъехались в разные концы на парижском метро, договорившись встретиться завтра у Лувра.

Я впервые был в Париже. Дожди часто загоняли нас в какую-нибудь кафешку. Поэтому, чтобы не промокнуть и окончательно не разочароваться в парижском ангеле погоды, который держал наизготовку наши зонты и дождевики, мы просто бродили по городу. А устав, заходили на кофе или пиво.

Подумал, что никогда не узнаю улиц, где жили американские писатели потерянного поколения, или по каким улицам Генри Миллер сопровождал Анаис Нин, или с какого моста бросился в воды Сены Пауль Целан. Даже ночная прогулка на корабле по Сене – когда огни просеивают парижскую темноту, а мосты проплывают над головами, как облака, и кварталы заполнены шумными людьми, которые бог знает откуда приехали в Париж, – еще больше запутала мои отношения с этим городом. Как все это успеть за пять дней? Ну просто не реально. И тогда я решил обойтись без Лувра или Монпарнаса, а довольствоваться только кафе, вином и случайными улицами. Праздник, который всегда с тобой, ты должен сам себе устраивать.

Мне вспомнилось несколько сцен из фильма о Генри Миллере, точнее, парижские улицы, покрытые брусчаткой, парижские мосты и страх Миллера перед приездом жены Джун, которая всегда появлялась в Париже неожиданно, привозя бедному и голодному Генри деньги. А он вместо благодарности боялся, что она испугает страсть писания или найдет рукопись и

уничтожит ее. Тогда он обхаживал молодую Анаис Нин, у которой обедал и читал ее дневники.

«Ну, Париж не такое уж и скверное место для писания стихов», – убеждал я себя.

В Париже я тоже пытался писать. Не мог упустить такой шанс – в моих карманах лежало несколько парижских стихов, написанных на салфетках шариковой ручкой, посреди города, в котором дожди приходят, как к себе домой. И в котором воздух поэзии свистит в пустых и дырявых карманах поэтов всех времен и народов.

Под Парижем, в Сарселе, майская зелень заполняла все пространство внутреннего двора, с высаженными когда-то деревьями и кустами, перед большим домом, бывшей гостиницей. Сегодня это напоминало старую виллу, пережившую нескольких владельцев и вросшую в это место. Металлические ворота, почти два метра высотой, замок, в который туго заходит металлический ключ, одиночество и пустота, которые здесь живут по праву настоящих хозяев, и дождь, к которому привыкли два кота, и этот неподвижный воздух, который кому-то надо охранять и им дышать.

Сарсельські помидоры мокли, и их плоды никак не завязывались.

15.

Мне не давала покоя фраза Ингеборг Бахман: *Это лето не имеет конца, и я спрашиваю сама себя, что наступит после всего этого?* Я и дальше читал переписку Бахман и Целана, когда выпадал удобный случай – то в самолетах, то в аэропортах. Толстый том в суперобложке, доставленный мне американской почтой, поступил с разорванным вдоль корешком. Возможно, эту переписку швыряло по всем аэродромам и странам, то есть там, где ей пришлось ожидать транзита в Нью-Йорк. Желтый конверт, в который упаковали это издание, не смог уберечь его от повреждения.

У нас точно так же начиналось лето, казалось, что оно тоже будет бесконечным. Я думал, что и слова не будут иметь завершения. Слова, сказанные на тернопольских улицах,

долетали до Парижа и до Нью-Йорка.

Как оказалось, у нее сохранились мои письма и открытки.

Все она складывала и берегла.

Я попросил скопировать одно письмо, то, которое я написал в караулке, тогда, когда мы с лейтенантом курили и делились своим опытом «насчет баб». Письмо, которое ей не передали из рук в руки, которое пролежало в чужом серванте тридцать лет.

Я уже вернулся в Нью-Йорк и почти закончил читать переписку Бахман и Целана. Оставалось несколько страниц, собственно, оставались обширные примечания и комментарии. Слова двух поэтов, написанные за столом и в поездах, в почтовых отделениях и на подоконниках гостиничных номеров, написанные для чтения друг другом, – теперь, после их смерти, стали доступны для всех, кто купит в магазине *Пору сердца*.

Ну вот пример, когда тайное становится явным.

Когда наконец она послала на мой е-мейл перефотографированное письмо, датированное 9 ноября 1987 года, я увидел, что написано оно было с обеих сторон на продолговатом листе, вырванном из альбома для заметок. В конце письма – указан военный адрес части, в которой я служил, и рисунок – четыре автопортрета: первый – в болгарской куртке, второй – в таллиннском пиджаке, третий – в свитере с шарфиком и последний – в военной солдатской форме. (Так я развлекался, зная, что ответа не будет.)

Уже немолодыми глазами я перечитываю два письма, которым почти тридцать лет. Перечитываю в Нью-Йорке (возраст письма и место имеют значение). Конечно, я помнил о самом процессе писания, о лейтенанте и караулке, о ноябрьских дождях и холодных житомирских ночах, о затхлом воздухе караулки, солдатском поте, о хлорке, рассыпанной для гигиены по исшарканной солдатскими сапогами параше. С этим письмом я возвращался в потоки воздуха, который набился в мои легкие, и его нужно было выдохнуть, просто выдохнуть.

Я шел, твердо ступая по тернопольской мостовой, только выдыхая, только выдыхая.

16.

Меня разбудила стюардесса, когда мы подлетали к Нью-Йорку. Она раздавала пассажирам таможенные декларации, их необходимо заполнить и потом, в аэропорту, после паспортного контроля, показать нью-йоркским таможенникам. Переписка Бахман и Целана валялась у меня под ногами, наверное, я заснул читая и книга выпала у меня из рук.

Пятидневный Париж лежал во внутреннем кармане моего пиджака рукописями стихов, которые я успел написать на салфетках, захваченных в ресторанчике на Елисейских Полях, где мы еще вчера втроем обедали.

Париж провожал нас солнечным днем и зелеными запахами сарсельской картошки.

Таксист привез меня к дому.

Распаковав чемоданы, я вышел во внутренний дворик. Зеленые помидоры, а между ними пригоршнями летали светлячки. Было тепло.

В Нью-Йорк пришла весна. Я присел на деревянные ступени и вдыхал запахи помидоров и океана. Под вечер направление ветра всегда меняется, – и с океана приносит прохладные воздушные потоки.

Я научился различать этот океанский воздух по цвету и запаху.

Также научился различать слова, которые я писал тридцать лет назад, потому что почти все забыл.

Видимо, я летал за ними, этими словами, так как в таможенной декларации сообщил, что ничего опасного и недозволенного в Америку не привез.

«Если ты хочешь, я могу отдать все письма тебе…»

«Не надо, они предназначены для воздуха…»

2013

notes

Примечания

1

Бамбетль, или *бамбетель* (от *нем.* Bankbettel) – раскладушка-кровать для сна, складывается и для сиденья. Одновременно выполняла также функцию сундука.

2

Крестная мать.

3

Кофта.

4

Машина Горьковского автомобильного завода.

5

Супер – тот, кто обслуживает дом (убирает мусор, делает мелкий ремонт).